Григорий Марьяновский

Книга судеб

Документальное повествование

Война
Трудная судьба
Евангелины Кашуро
Служба спасения
Судьба сестер Слуцких
Самоотверженность
Шёл солдат с фронта
Чёрная глава
Судьба
Наташи Добрыниной
Третий, особый
Чувство благодарности
сохраним на всю жизнь
Судьба
Фаины Юсуповой
Ночи 1941 года
Пусть не будет среди
нас чёрствых и
равнодушных...

ЭТА КНИГА — СЛОВО О ТЕХ, КТО В ГОДЫ ВОЙНЫ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ, ЧАС ЗА ЧАСОМ ВЕРШИЛ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПОДВИГ БЛАГОРОДСТВА И МУЖЕСТВА, ДОБРОТЫ И ГУМАННОСТИ. ОНИ ДОСТОЙНЫ ТОГО, ЧТОБЫ СОВРЕМЕННИКИ УЗНАВАЛИ О НИХ МНОГО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗНАЮТ СЕГОДНЯ, ИХ ИМЕНА НЕ МОГУТ, НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАБЫТЫ. ЭТА КНИГА — ЛИШЬ СКРОМНЫЙ ВЕНОК К ПОДНОЖИЮ ТОГО МОНУМЕНТА, ЧТО БУДЕТ ВОЗДВИГНУТ.

Григорий Марьяновский

Книга судеб

Документальное повествование

В двух частях. Часть первая написана в 1976 году. По читательским письмам и откликам на нее в 1980 году написана часть вторая. Вместе обе части на русском языке издаются впервые.

Ташкент
Издательство литературы
и искусства
имени Гафура Гуляма
1988

Художник
ВАДИМ НЕМИРОВСКИЙ

Марьяновский, Григорий.
Книга судеб: Докум. повествование.— Т.: Изд-во лит. и искусства, 1988.—288 с.

ББК 63.3(2У)∠74.24

М $\frac{4702010200-133}{М352(04)-88}$ 46—87

ISBN 5-635-00137-8

ОТ АВТОРА

В центре Европы, там, где отгремели последние залпы Великой Отечественной войны и взвилось над миром знамя нашей Победы, стоит, поправ фашистскую свастику, советский воин-освободитель — отлитая в бронзе священная народная память.

Мемориалы, гранитные обелиски и стелы, вечный огонь на площадях городов, деревень, станиц, кишлаков и аулов...

И видится мне среди множества этих величественных знаков народной любви, народного преклонения перед бессмертным подвигом героев и жертв Отечественной войны,— видится мне еще один монумент.

Он воздвигнут за тысячи верст от тех мест, где проходила когда-то линия фронта. Он высится в Азии, на зеленом холме, средь тишины и покоя одного из парков Ташкента. Это фигура женщины-матери с младенцем, прижатым к груди. Телом своим она заслоняет ребенка от смерти, от ужасов кровавой войны. Сердцем, дыханьем своим она возвращает его к жизни и радости детства.

В этой поражающей силы динамичной фигуре нашли воплощение образы тысяч и тысяч женщин республики, ценой неимоверных усилий, а случалось и собственной жизни, спасших для Родины целое поколение советских людей.

Памятник величью и щедрости материнского сердца Узбекистана.

Еще один памятник нашей Победы.

Пока он мне только привиделся. Пока его нет. Но хочется думать — он будет. Он должен быть на узбекской земле. Того ждет благодарная память спасенных. Того требует высшая справедливость, которую утверждает народная совесть: никто не забыт, ничто не забыто.

УЗБЕКИСТАН 1941 1945

Эта книга — слово о тех, кто в годы войны день за днем, час за часом вершил замечательный подвиг благородства и мужества, доброты и гуманности. Они достойны того, чтобы современники узнали о них много больше, чем знают сегодня. Их имена не могут, не должны быть забыты.

Эта книга — лишь скромный венок к подножию того монумента, что будет воздвигнут.

Не ищите на страницах ее лихих завихрений сюжета, искусственно обостренных ситуаций, рожденных фантазией образов — в ней только факты, действительно имевшие место, сцены, документально подтвержденные, герои, в большинстве своем живущие среди нас и сегодня. За редкими исключениями, всегда объяснимыми, они выступают под собственными именами. Точно так же, конкретно и четко, указаны в книге время и основное место событий: Узбекистан, 1941 — 1945 годы.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ВОЙНА

«Детские трупы на шоссе...

Из всех страшных воспоминаний о войне это — самое страшное. Дети, эвакуированные из Ленинграда. Они приехали на Северный Кавказ бледными, изможденными. Здесь они пришли в себя, поправились, поздоровели. Их увозили сейчас в более безопасное место: гитлеровские войска наступали.

Немецкий летчик не мог не видеть, что это дети. Он спустился низко и из пулемета хладнокровно расстреливал ребятишек. Когда стрельба утихла и самолет улетел, на шоссе остались детские трупы.

Когда говорят о войне, я прежде всего вспоминаю не бомбежки моей родной Одессы, не опасное путешествие по Черному морю, не страшные сводки первых месяцев, а это: теплый летний день, чистое голубое небо и на гладком асфальте — трупы детей.

Это было на Кавказе летом 1942 года...

Мы эвакуировались с матерью из осажденной Одессы в августе 1941 года. Грузовой пароход «Жан Жорес» с женщинами и детьми на борту шел в Мариуполь. Погода стояла чудесная. Трудно было поверить, что где-то идет война, что на этом же пути, которым плывем мы сейчас, несколько дней назад погиб теплоход «Ленин», на котором находились две тысячи мирных жителей Одессы.

Бомбежка на море — это еще страшней, чем на земле: бежать некуда, негде спрятаться. Вся толпа, находившаяся на палубе, бросилась в трюм. Бомбы падали в нескольких метрах от борта. Не знаю, сколько длился налет. Нам показалось — долгие часы. Зенитные пулеметы и ловкое лавирование парохода спасли нас.

Помню трагическую сцену в трюме. Мать двоих детей, надев спасательный пояс, привязала к себе малютку, а старшего, мальчика лет четырех, крепко поцеловала. Она прощалась с ним. Прощалась навсегда.

В Мариуполе, куда мы благополучно прибыли после тревожной ночи, проведенной в заминированном Керченском проливе (ночью пароход не мог идти, так как была опасность напороться на мину, а неподвижное судно в случае налета вражеских самолетов было бы прекрасной мишенью), нас поместили в пустующей школе. Спали прямо на полу, несколько семей в одной комнате.

Дальнейшее путешествие наше в Краснодарский край продолжалось в поезде. Ехали мы в товарных вагонах без нар. Привезли

нас на станцию Курганная и оттуда уже на машинах стали группами развозить в разные населенные пункты.

Летом 1942 года меня пригласили на работу в ленинградский детский дом, находившийся в станице Петропавловской на Кубани,— в это время туда один за другим прибывали эшелоны с эвакуированными ленинградцами. Через несколько месяцев, когда началось наступление врага на Кавказ, они, еще не оправившиеся от ужасов блокады, вынуждены были снова сниматься с места и уходить, уходить.

На телегах, запряженных лошадьми и быками, наш детдом добрался до Майкопа. Директор распорядилась перейти по мосту через Белую и там уже, за городом, устроить привал. Дело было под вечер. Не останавливая обоза, мы, воспитатели, стали раздавать детям еду. И тут что-то случилось: стрельба, крики, грохот. Какие-то военные, подбежавшие к нам, указали на ущелье в стороне от дороги.

В этом ущелье мы просидели всю ночь. Всю ночь рядом с нами шел бой. Я не помню, спал ли кто из ребят, не помню уже, как их звали, знаю только одно: это была самая длинная ночь в моей жизни.

На рассвете, когда грохот боя затих, в ущелье прибежал запыленный солдат. Он приказал нам сейчас же сниматься с места и идти через мост — как пройдем, мост будет взорван.

Когда взошло солнце, мы уже двигались по лесу на правом берегу Белой.

Много дней и ночей продолжался этот поход. Помню, уже совершенно истощенные, обессиленные остановились мы перед высокой горой — впереди был перевал. Не знаю, как бы мы его одолели, если бы не встречные воинские части. Чем только могли помогали нам солдаты и командиры. Особенно запомнился нам майор на белом коне. Он побалагурил с ребятами, рассказал им какую-то забавную историю и на прощанье вручил записку, написанную на клочке бумаги. Ее мы должны были вручить на перевале, где находился командный пункт.

Идти было трудно. В некоторых местах в гору вела только узкая тропа, скользкая после дождя. Приходилось хвататься за колючий кустарник. Детям было приказано: не оборачиваться, вниз не глядеть. Но всех нас, и детей и взрослых, поддерживала и вела записка, которую дал нам майор на белом коне. В ней торопливой рукой были начертаны слова совершенно волшебные: «Накормить, напоить, уложить спать. Утром отправить дальше», и неразборчиво — подпись. Когда казалось, что нет уже больше сил сделать шагу, что никогда не добраться нам до этого перевала, мы повторяли как заклинание: «Накормить... напоить... уложить спать...» И шли дальше.

В эти трудные дни встреча с нашими бойцами была большой радостью. Как бы ни торопились, какая бы усталость или тревога ни лежала на их лицах, они всегда находили несколько слов, вселявших в нас бодрость и веру в то, что скоро, теперь уже совсем-совсем скоро мы доберемся до тех мест, где не падают бомбы.

Никогда не забуду молодого военного, который разделил между нами буханку черного хлеба и отдал котелок манной крупы. Жаль,

мы не спросили тогда его имени. Как хотелось бы, если он выжил, сказать ему слова благодарности.

И опять вспоминаются встречи в дороге. Не могу забыть красавицу армянку на каком-то хуторе, которая грела воду, чтобы мы обмыли свои в кровь разбитые ноги, старика — лесного объездчика где-то около станицы Самурской, который нас накормил, подарил мне гигантских размеров ботинки и предложил нам остаться в его шалаше, так запрятанном в чаще лесной — сам черт с фонарем не сыщет.

Детей мы сдали в детприемник в Тбилиси, а сами с матерью отправились дальше. Каспийское море переплыли спокойно. Из Красноводска ехали поездом. Куда ехали, к кому, как нас там встретят — этого мы не знали. Самаркандский вокзал показался нам добрым, приветливым..»

Это воспоминания Веры Спивак, которая живет сейчас в Белой Церкви. Таких воспоминаний, писем, документов, записей личных бесед передо мною несколько сотен — эхо войны. Вот конверт со штампом Тбилиси. У Риммы Соколовой прямой, крупный почерк.

«Я родилась в Ленинграде в 1930 году в семье рабочих. Моя мама Евдокия Тимофеевна Соколова работала на «Красном треугольнике». Там же работал и мой отец. В 1941 году он ушел на фронт и в боях под Ленинградом пропал без вести. В январе 42 года мама и младший брат умерли от голода. Меня, оставшуюся в доме одну, забрала к себе соседка — Анна Цветкова. Муж ее работал на Кировском заводе, и когда началась эвакуация семей рабочих этого завода, Цветковы взяли меня с собой.

До Ладожского озера ехали поездом, потом, ночью уже, пересели в автобусы и двинулись по тонкому льду. Нас, детей, собрали в один автобус. Семья Цветковых ехала следом.

Вскоре, как отъехали, послышались крики, какой-то скрежет и треск. Я оглянулась, но автобуса, шедшего сзади, не увидела — он провалился под лед. Все, кто там был, погибли.

В конце февраля нас привезли в Ессентуки. Там меня уложили в больницу. Помню, кто-то говорил надо мной: «Очень тяжелая». К сожалению, ни фамилий, ни даже имен тех, кто меня выхаживал там, память не сохранила. Приходится адресовать свою благодарность всему коллективу больницы — врачам и медсестрам, которые меня опекали, ни на минуту не дав мне почувствовать себя сиротой, санитаркам и нянечкам, которые приносили мне фиалки и угощали чем только могли.

Затем я попала в детский распределитель в Пятигорске, а оттуда в детдом, который находился в нескольких километрах от Минвод, в селе Александровка. Галину Ивановну — директора этого детдома — я буду помнить всю жизнь.

На лето воспитанников отправили в степь, где у детдома были огороды и бахча. И вдруг — это было примерно в июле или в начале августа — прискакал к нам мальчишка из Александровки и кричит: «Бегите в село — немец идет!»

Когда мы примчались к детдому, все уже было готово к отъезду:

продукты и вещи уложены в повозки, быки накормлены и запряжены. Через несколько минут тронулись в путь.

Дорога была длинной и трудной. Мы шли через калмыцкие степи, жажда мучила нас, и мы вместе с быками пили из луж. Начались болезни. Болела и я — дизентерия. Но благодаря Галине Ивановне, ее доброте и мужеству, ее таланту быть матерью для всех и для каждого мы все до единого уцелели. Нас даже стало больше, потому что всех беспризорных, которых мы встречали в дороге, детей, потерявших родителей, одиноких сирот, Галина Ивановна забирала с собой. Нелегко, непросто было в пути накормить эту команду, сохранить порядок и дисциплину. Кое-кто из старших мальчишек стал хулиганить, воровал, когда шли через села. Галина Ивановна быстро справилась с ними.

Так мы дошли до какой-то станции, где сели в поезд. Затем — Баку, Каспийское море и снова поезд. Кто-то сказал, что везут нас в Ташкент...»

Донбасс. 14 октября 1941 года в Харцызский районный штаб по эвакуации был вызван коммунист Степан Григорьевич Гайворонский. Для него, никогда с детьми не работавшего, приказ районного штаба был неожиданным и, казалось ему, непосильным: в течение 48 часов организовать отправку в тыл двух детских домов — Зуевского имени Воровского и Нижне-Крынского. В другое время Степан Григорьевич наверняка бы стал отпираться от такого вот поручения, просить какое другое, пусть трудней, пусть даже опасней. В октябре 41 года коммунист не мог оспаривать приказ районного штаба.

Детдома, порученные заботам Степана Григорьевича, находились один в восьми, другой в двенадцати километрах от районного центра. В течение 14 — 15 октября были перевезены на железнодорожную станцию воспитанники Зуевского детдома: 90 — 95 ребят в возрасте от трех до пяти лет, 35—40— в возрасте 8—10 лет. Среди воспитанников этого дома находился и Леня Поклонский — мальчик 11 лет.

Воспитанники Нижне-Крынского детского дома — 110 — 115 ребят в возрасте 9 — 13 лет — пришли в райцентр пешком.

Начальником эшелона, а значит, и директором объединенного детдома был назначен С. Г. Гайворонский, работник Харцызского районо М. И. Мед — заместителем по воспитательной части. Эшелон сопровождали 20 воспитателей и обслуживающих работников, врач-педиатр из районной больницы.

Для эвакуации всех этих 260 человек было выделено пять двухосных вагонов, оборудованных нарами и «буржуйками». В трех вагонах разместились воспитанники, в одном — взрослые. Здесь же было отведено место для изолятора, куда помещались бы заболевшие дети. Последний вагон загрузили продуктами, теми, что смогли раздобыть: 3 тонны хлеба, 500 килограммов копченой колбасы, 500 килограммов сливочного масла и килограммов 800 сахара. Мягкого инвентаря и постельных принадлежностей почти не было — только то, что сумели с собой захватить воспитанники старшего возраста да что успели подвезти на подводах. В последний момент вспомнили о посуде: ни

кастрюль, ни тарелок, ни кружек, ни ложек из детдомов в спешке не взяли. Пришлось собирать по столовым Харцызска. На молочном заводе, услышав, что речь идет о детишках, без долгих разговоров и канцелярских формальностей выдали бидоны со сметаной и молоком, чтобы, как опорожнится посуда, использовать ее под питьевую воду.

Через двое суток после того, как Гайворонский вышел из районного штаба, эшелон из пяти теплушек отошел от станции Харцызск по направлению к Дебальцево.

Спустя 30 лет, незадолго до смерти, С. Г. Гайворонский вспоминал:

«Прибыв в Дебальцево, я решил обратиться к работникам станции с просьбой добавить нам хотя бы еще пару вагонов: в такой страшной скученности — по 80 ребятишек в двухосной теплушке — ехать за несколько тысяч километров было просто немыслимо. Работники станции осмотрели вагоны, увидели наших ребят и тут же прицепили еще три вагона, притом один из них — четырехосный. В него мы перевели малышей. Все три вагона были оборудованы нарами и все теми же знакомыми «буржуйками». Теперь нам стало свободней. Мы даже подбирали на станциях беспризорных ребят. Прибилась к нашему эшелону и одинокая женщина — учительница русского языка из Макеевки. Имя ее позабыл, фамилию помню: Сосновская. Уж такой редкий талант с детьми управляться был у этой Сосновской — позавидовать только. Так и льнули к ней ребятишки. Через несколько дней на нашем педагогическом совете решили оформить ее воспитательницей в младшую группу. Но недолго пробыла она с нами...»

Первый раз эшелон бомбили на станции Сагуны. Проскочили. Второй раз фашистские бомбардировщики настигли состав на станции Лиски. Обошлось без жертв. Третий налет оказался трагическим.

Поезд то несся, то вдруг сбавлял скорость: опытный был машинист. Бомбы рвались рядом с железнодорожным полотном. От рывков паровоза и резкого торможения, от взрывной волны вагоны качало, как лодку при шторме. Кого-то швырнуло о стену. Кто-то свалился с нар.

О том, что происходило в четырехосном вагоне с малышами, узнали потом.

От качки вагона детей кидало то в одну, то в другую сторону. А в центре теплушки стояла раскаленная докрасна чугунная печь. Сосновская прикрыла ее собой и тех, кто летел на «буржуйку», отбрасывала, отталкивала от себя...

Бомба угодила в последний вагон, прицепленный к эшелону уже где-то в пути. В нем находились девочки старшего возраста из другого детдома, тоже донбасского.

На ближайшей станции, вспоминает Максим Иванович Мед, из вагона вынесли восемнадцать девичьих трупов. Сосновскую с тяжелыми ожогами, в бессознательном состоянии отправили в больницу...

Выжила ли, оправилась ли после ожогов «учительница русского языка из Макеевки»— этого никто из воспитателей, сопровождавших тогда эшелон, узнать не сумел.

...Жизнь на колесах продолжалась около двух месяцев. Кончились продукты и не было воды. По нескольку дней простаивал эшелон на каком-нибудь пустынном разъезде. В изоляторе, который в начале пути устроили в вагоне для взрослых, нужды больше не было: болел каждый второй. А те, кого миновали болезни, до того исхудали, обессилели, поникли — узнать невозможно.

В одной из теплушек этого поезда ехал, должен был ехать Леня Поклонский.

Эшелон приближался к Ташкенту...

Тетрадь Бориса Речевского.

«Когда началась война, мне не было еще девяти. С отцом и матерью мы жили в Бессарабии, в селе Сырбешты Сынжерейского района Бельцского уезда. Отца мобилизовали на фронт. Мы с матерью и еще какими-то родственниками пешком добрались до станции Маркулешты и там в невообразимой давке, толчее и суматохе забрались в теплушку, где уже было не меньше сотни женщин, детей, стариков. Доехали до Днестра, на станции Рыбница миновали мост и тут — воздушный налет. Это было мое первое знакомство с войной.

Поезд остановился. Из теплушек, словно горох, посыпались люди. Кто-то прятался под вагоны. Другие убегали подальше, укрывались в кустарнике. Испуганно ржали кони. Ревели, метались по полю коровы.

Отчетливо помню, как в разных местах, то справа, то слева вздымались клубящиеся черные столбы. Потом они медленно оседали, рассеивались, и тогда были видны летевшие низко, почти над самой землей, немецкие самолеты. Они строчили по людям, разворачивались и снова строчили.

С открытой платформы били зенитки. Раздавались одиночные выстрелы.

Этот кошмар продолжался, наверное, с полчаса.

Второй, еще более страшный налет пришлось пережить мне в окрестностях Днепродзержинска. Впрочем, тут я помню только начало. Помню, как с матерью вместе прыгал с вагона, куда-то бежал.

Через несколько дней, когда я пришел в сознание, мне сказали, что после бомбежки санитары подобрали меня и доставили в госпиталь. Ранение в глаз и в правую ногу. Где моя мама? Что с ней? На этот вопрос никто ответить не мог. Так и до сих пор не знаю я, что с ней случилось.

После операции я пролежал еще какое-то время в госпитале, а потом вместе с детдомом, куда определили меня на постоянное жительство, через Ростов эвакуировался в Краснодарский край. Зимой, когда немцы вторично взяли Ростов, нас отвезли на станцию Отрадная и отправили в Махачкалу. Отсюда на пароходе «Жданов» мы поплыли в Красноводск.

Был декабрь. Погода стояла холодная. Но так как трюмы корабля

до отказа, до самой последней щели, были забиты малышами, нас, кто постарше, разместили на палубе.

Ночью поднялся сильнейший шторм, и капитан, не желая, наверно, рисковать своим «грузом», повернул на Баку. Там на якоре мы простояли очень долго. А когда море утихло, пошли в Красноводск.

Судно причалило, бросили трап, слышу команду: «Стройся! На берег — по одному!»— а на ноги встать не могу. Огляделся — пацаны, что рядом со мной, тоже сидят. Нас снесли — кого на носилках, кого на руках — и прямым ходом в больницу. Там, в приемном покое, попробовали было снять с нас обувку — не вышло. Пришлось разрезать. Поглядел я на ноги свои — разревелся: волдыри, как от ожогов. Какая-то сердобольная нянька утешила: «Не реви, до свадьбы далеко — заживет».

Сколько времени пролежал я в больнице — не помню. Потом вместе с другими ребятами отвели нас в детдом, а вскоре погрузили в эшелон и повезли на восток. Уже в вагоне нам объявили: везут в Самарканд...»

Рассказ Льва Гребельского:

— Эвакуировались мы вчетвером: мать, я — тогда 12-летний мальчишка — и младшие мои братья Борис и Сережа. Борису было в ту пору 7 лет, Сереже — три с половиной. Отец с первых же дней войны был на фронте.

Уже много недель ехали мы в тесной теплушке, скоро должны были кончиться казахстанские степи, а там и Ташкент, где мать решила остановиться. И может, так бы оно все и было, но случилось иначе: ночью у матери начались роды.

Нас, детвору, загнали в дальний угол теплушки. В другом углу отгородили мать занавеской. Время от времени мы слышали ее стоны. Боря плакал. Я порывался за занавеску. Меня не пускали.

На первой же крупной станции — не помню, как называлась,— мать вынесли из вагона, поручили каким-то людям в железнодорожной форме. Эшелон двинулся дальше.

В Ташкенте сказали: дальше состав не идет. Вместе с братишками я вышел на привокзальную площадь и ужаснулся: вся она, от края до края, была запружена кишащей человеческой массой.

По обе стороны от меня стояли младшие братья. Теперь я отвечал за их жизнь. Но что я мог сделать, когда мне самому только-только исполнилось двенадцать?

Через казахстанские степи и пустыни Туркмении шли на Ташкент эшелоны. В изрешеченных пулями и осколками бомб, часто с разбитыми крышами обгорелых теплушках, а то и на открытых платформах спасались от смерти и ужасов фашистского рабства мирные советские люди — старики, женщины, дети. Тысячи и тысячи детей — с матерями и бабками, в одиночку, целыми детдомами. И многих тогда не покидала тревожная мысль: как встретит их, это бездомное, голодное, изможденное множество, как примет их Узбекистан?..

«ТВОЙ НОВЫЙ ДОМ — СЧАСТЛИВЫЙ ДОМ»

Пользуясь документами, письмами, записями бесед, я мог бы написать сейчас типичную сцену встречи эвакуированных детей на узбекской земле. Но принцип документальности, заявленный мною с самого начала, побуждает к тому, чтоб говорили и свидетельствовали сами конкретные факты. И пусть из них, этих частных эпизодов и сугубо личных впечатлений, общая картина сложится в вашем воображении.

«Больше месяца мы были в пути, часто подвергались бомбежкам, и вот, наконец,— Ташкент,— вспоминает Вера Шестакова, бывшая воспитанница Бобруйского детдома №2.— В Ташкенте на вокзале нас впервые покормили горячей пищей и направили в Фергану.

По прибытии нас прямо с поезда повезли в баню, где мы прошли санобработку. А когда мы вышли из бани, увидели огромное количество тазов, которые каким-то чудом держались на головах женщин-узбечек. Женщины кинулись к нам и стали наперебой совать в руки урюк, изюм, яблоки, джиду, румяные лепешки. Ждала машина, нужно было ехать, но они никак не хотели нас отпускать, обнимали, плакали.

Поместили нас в центре города, в доме отдыха, где был огромнейший сад, а главное — большой бассейн.

Уже на следующий день на арбах с высоченными колесами — таких мы никогда еще не видали — приехала делегация из какого-то колхоза и увезла нас к себе. Уж как нас там встретили — не передать! Весь пол был устлан коврами, а на этих коврах чего только не было! Нас продержали до самого вечера, а когда провожали, каждому еще что-то дали с собой.

За месяц жизни в доме отдыха много было таких приглашений, много колхозов мы посетили, и везде нас принимали как самых родных, как собственных детей, вернувшихся под родительский кров. Встречи эти мне, да не одной только мне, запомнились на всю жизнь.

Через месяц нас перевели в помещение школы № 3, и с этого времени наш сводный бобруйско-гомельский детдом стал называться Белорусским детдомом № 3. Вскоре некоторые из наших ребят были взяты на воспитание — Тоня Ковалева, Лида Седых, Галя Рэцкая».

Валя Беликов прямо с вокзала был направлен в больницу. Оттуда через какое-то время его передали в детский приемник. Но, видно, организм ребенка подорван был основательно — через несколько дней Валя снова оказался в больнице, на этот раз — Тахтапульской.

«Я лежал с острой дизентерией, опухший, обессиленный. Стоять на ногах, сидеть я не мог — меня подымали, вели, поддерживая под мышки, или несли на носилках, кормили из рук. Я стал терять память. Не знаю, что уж мне помогло,— может, лекарства, может,

кефир, которым поили меня, а может, сердечность врачей и сестер — только я постепенно стал поправляться. Ко мне вернулись сила и память.

В начале 43 года меня, уже совершенно здорового, выписали из больницы и определили в детдом № 18».

Известный румынский публицист и писатель, автор книг «Фронтовой дневник», «Штатский в траншеях» и других, заместитель редактора журнала «Лучаферул» Харламб Зинке в годы войны был эвакуирован в Узбекистан. Он жил в Самаркандской области, в семье колхозника Абдурасула Джураева. Спустя много лет Зинке писал:

«Октябрь 1941 года... В эти тяжелые дни поезд с эвакуированными остановился на станции со странным названием Зирабулак. В этом поезде находился и я — восемнадцатилетний юноша с берегов Дымбовицы... В тот же день меня направили в кишлак Тоткент, в колхоз имени Ленина. На высокой подводе с двумя колесами приехал за мной молодой и очень симпатичный колхозник. Я ничего не понимал, но его смех выдавал в нем доброго и задушевного человека.

Поздно вечером мы въехали в Тоткент. Подвода остановилась перед побеленными домиками. К нам подошел высокий и статный мужчина, одетый по-городскому. Это был товарищ Муратов — председатель колхоза. Он начал беседовать со мной при помощи знаков. Трудно сказать, насколько мы понимали друг друга, но язык знаков развеселил нас обоих, а еще больше — окружавших нас людей. Вспоминая сейчас эту беседу, я сознаю, что председатель почувствовал главное: одиночество румынского юноши, заброшенного войной в чужие края. Он решил, что этот еще не зрелый парень должен чувствовать себя в колхозе как в своей собственной семье. И Муратов, как настоящий советский человек, достиг своей цели.

Уже через несколько дней меня направили работать на колхозную ферму. Там я и познакомился с заведующим фермой Абдурасулом Джураевым. Он обратился ко мне по-узбекски. Я ответил ему по-румынски. Мы расхохотались. В конце концов мы поняли друг друга по биению наших сердец. Он пленил меня с первого взгляда. Это был здоровый плотный мужчина с лицом, обрамленным короткой черной бородкой. Он казался мне еще красивее, когда я улавливал огоньки в его черных и глубоких глазах.

У Абдурасула Джураева была большая семья: три девочки и мальчик. Шарип — так звали мальчика — был самым старшим: ему недавно исполнилось 16 лет, но ростом он уже догнал отца.

Работа сблизила нас еще больше. Я всегда прислушивался к советам Абдурасула. Это были советы старого и умного пастуха. Со временем мы подружились по-настоящему. Я стал изучать узбекский язык. Однажды Абдурасул отозвал меня в сторону и обратился ко мне по-узбекски:

— Слушай, парень, отныне я буду твоим отцом, а ты моим сыном. Моя семья будет твоей семьей. Ты понял?

Да, я все понял. Взволнованный, я кивал головой. А потом ответил: «Катта рахмат!» С тех пор я стал его звать Абдурасул-ата, а его жену — ана, то есть мама. Так я нашел приют в узбекской семье.

Вскоре мои новые родители подарили мне халат, цветной пояс и тюбетейку. В тот же день я отправился к колхозному парикмахеру, который остриг меня наголо. В таком виде я стал больше похож на узбека. Правда, узбеком я был своеобразным, единственным в своем роде — ведь я был рыжим, с веснушками на лице.

Абдурасул-ата относился ко мне как настоящий отец. Я также относился к нему с уважением и любовью, ибо я многим ему был обязан. Это он ухаживал за мной, когда меня безжалостно трепала малярия. Абдурасул-ата подбадривал меня, когда я тосковал по родине. Это он с Шарипом в 1944 году провожали меня на фронт...»

В декабре 41 года эшелон с детьми Зуевского и Нижне-Крынского детдомов прибыл в Ташкент.

«Прямо с вокзала поехал я в Наркомпрос,— рассказывал Степан Григорьевич Гайворонский, начальник эшелона, новый директор объединенных детдомов из Донбасса.— Меня приняла женщина, фамилии которой, к сожалению, не запомнил. Я доложил ей о контингенте детей. Она тут же распорядилась: малышей 3 — 5 лет оставить в Ташкенте, с остальными ехать в Папский район Наманганской области и там размещаться.

Малышей мы выгружали на следующий день. Для их перевозки были выделены машины.

Когда мы подъехали к дому, где должны были оставить детей, я заметил у входа большую толпу. В первый момент я не понял, зачем они, эти люди, здесь собрались Оказалось — пришли взять ребенка. Что тут было, какие сцены на наших глазах разыгрывались — не передать. Помню такой случай: какие-то супруги выбрали себе мальчишку лет четырех. Он был так рад, так счастлив, что тут же стал называть их «папа» и «мама», а потом, очень гордый, повернулся к девчушке, такой же крохе, как сам, и хвастливо сказал: «Ага, за мной пришли мои папа и мама, а за тобой не пришли!» Девочка расплакалась и, чтобы «отомстить» обидчику, подойдя к другой супружеской паре, которой непременно нужен был мальчик, проронила сквозь слезы: «А вот мои папа и мама, я тоже пойду домой...» И пошла. Видно, такими горькими были ее слезы, столько надежд вложила она в слова «папа и мама», что дрогнуло сердце супругов и, отказавшись от желанья во что бы то ни стало взять мальчика, они взяли ее.

Конечно, мне бы хотелось сейчас назвать фамилии этих супругов, их адреса, имена ребятишек, которых взяли тогда на воспитание, но списка у меня не сохранилось, а по памяти не берусь — столько лет миновало...

В Пап со старшими ребятами мы прибыли 10 декабря. Оставив детей в эшелоне, я поехал в райком и райисполком. Вышло, однако, так, что мы прибыли раньше, чем наркомпросовское распоряжение о встрече и устройстве нашего детдома. Вероятно, для бюрократов это было бы достаточным основанием, чтоб такую развести волокиту —

без высоких инстанций, звонков, телеграмм, резолюций не расхлебать. К счастью, и в райкоме, и в райисполкоме были настоящие люди. Я только успел два слова сказать, с чем пришел, как тут же все завертелось. Тотчас же принято было решение отвести под детдом одну из лучших школ района. Однако нужно было хоть немного ее подготовить: убрать парты, побелить, кое-что подремонтировать. На все это райкомхозу давалось два дня. Через два дня мы переехали.

Но тут новые возникли проблемы: ни белья у нас, ни постельных принадлежностей, не говоря уже о кроватях. Тогда исполком решил обратиться к населению. И тут, я вам скажу, началось: матрацы, подушки, одеяла, детская одежда и обувь так и сыпались, так и сыпались — только успевай принимать да благодарственно кланяться.

Дети прошли через баню, переоделись во все новое, были накормлены поистине царским обедом.

С 1 января все пошли в школу. А мы с помощью районных организаций благоустраивались, налаживали нормальную жизнь.

С тех пор прошло много лет, но и сегодня с благодарностью вспоминаешь ту поддержку, которую повседневно оказывали нам районные организации Папа — и моральную и материальную».

Особенно дорого и особенно ценно свидетельство такого очевидца событий тех лет, как Корней Иванович Чуковский. Кто ж еще, как не он, тонкий знаток детской души, мог понять всю горечь трагедий этих обездоленных войной малышей, по достоинству оценить ту заботу, тепло и ласку, которые излучало узбекское сердце! Летом 42 года Чуковский писал:

«...главное, чего я не мог и предвидеть, прожив столько лет в Ленинграде, это то, что у Ленинграда окажется такой надежный и преданный друг — Узбекистан. Когда я жил на Неве, на Фонтанке, Узбекистан мне, как и многим старым петербуржцам, казался другой планетой. Я и представить себе не мог, что страна, отдаленная от Ленинграда морями, пустынями, многотысячеверстным пространством, могла бы почувствовать к нему такую братскую близость. Ведь этого действительно никогда не бывало, чтобы люди другой национальности, другого быта, другого языка, другого климата, другой части света проявили такую пылкую любовь к Ленинграду.

Это происходит впервые за всю нашу историю. Всегда я знал, какое большое значение имеет ленинская дружба народов, но должен сознаться — мне и в голову не приходило, что эта дружба может дойти до такой взволнованной, задушевной, самоотверженной нежности. Уже в январе, в феврале, когда я увидел, с каким широким гостеприимством тысячи людей Узбекистана принимают к себе в семьи — как родных, на всю жизнь — вывезенных из Ленинграда детей, я впервые ощутил, как могуча внутренняя сила социалистической дружбы советских народов.

На одном из плакатов я видел — и сразу запомнил — отличное четверостишие:

Чужую дочь, как дочь свою,
Узбечка приняла в семью.
Спи, девочка, спокойным сном:
Твой новый дом — счастливый дом.

К счастью, я видел это не только на плакате. И всякий раз по-новому изумлялся этому, хотя в Узбекистане это и стало заурядным явлением».

Чем больше беседую я с живыми участниками событий тех лет, чем глубже зарываюсь в архивы, тем настойчивей, острее встает предо мною вопрос: в чем начало начал, где истоки этой большой доброты, бескорыстия, гуманизма? В благородном порыве отдельных личностей, в самодеятельном движении масс? Или, возможно, порывы отдельных людей, широкая самодеятельность масс — следствие какого-то импульса, чьей-то изначальной инициативы?

Я листаю один за другим документы. Я ищу первотолчок.

ФОНД ХРАНЕНИЯ... ДЕЛО... ЛИСТ...

В последние дни мне везло: я обнаружил в архивах несколько документов, которые, возможно, помогут ответить на трудный вопрос о первотолчке. Прежде всего это регистрационные книги Ташкентского Дома младенца за 1941 — 42 годы.

В СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ КАБИНЕТ СТАЛИНСКОГО РАЙОНА

Гр. Х... И. Х., проживающего в г. Ташкенте по ул. 9 Января, дом № ...

ЗАЯВЛЕНИЕ

Желая взять на воспитание и усыновить ребенка из числа эвакуированных и не имеющих родителей, прошу выдать мне одного мальчика, которого обязуюсь воспитать как своего родного сына.

21 марта 1942 г.

Подпись.

Другой документ из той же старой, потрепанной книги:

ПАТРОНАТНОМУ СОВЕТУ

Гр. Ш... М. и О., проживающих в г. Ташкенте, ул. 2-я Виноградная, № ...

ЗАЯВЛЕНИЕ

Просим разрешить нам взять на усыновление ребенка В. М. Мы обязуемся воспитать его честным человеком, настоящим патриотом нашей Родины.

Усыновляя его, просим присвоить ему нашу фамилию.

21. 1—42 г.

Подписи обоих супругов, их фотографии и фотография усыновляемого младенца.

По понятным причинам я не могу назвать ни полной фамилии, ни точного адреса усыновивших: ведь, может быть, и по сегодняшний день не знает усыновленный В. М., что он не родной, а приемный сын. Открытие этой истины не сделает его более счастливым, но может обернуться трагедией для всех членов семьи. Из тех же соображений я не буду делать попыток их разыскать, не стану, пусть даже окольным путем, наводить каких-либо справок, как сложилась в дальнейшем судьба усыновленного мальчика, где и кто он сейчас.

Таких заявлений лишь по ташкентскому Дому младенца № 1 и только за январь 1942 года не два и не три — 86. Хочется сопоставить: за первые десять месяцев 1941 года из того же Дома младенца было отдано на воспитание 11 детей, за ноябрь — 32 ребенка, а уже в декабре — 79.

С фотографий, приложенных к каждому делу, глядят на меня самые разные лица — молодые и старые, сосредоточенные и с беззаботной улыбкой, узбекской колхозницы с продолговатыми глазами, излучающими доброту и тепло, русского врача в старомодном пенсне. Неторопливо, одну за другой, рассматриваю я эти пожелтевшие от времени фотокарточки, стараюсь найти в них то общее, что даст мне ответ на главный вопрос.

Но, может быть, искать его нужно в другом фонде архива? И я беру в руки папку с совсем иными делами. Здесь каждый лист проштампован официальным грифом и гербовой печатью, канцелярски занумерован, скреплен факсимильными подписями.

СОВНАРКОМ УзССР И ЦК КП(б)Уз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1758

15—26 ноября 1941 г.

г. Ташкент

ОБ УСТРОЙСТВЕ ДЕТЕЙ, ЭВАКУИРОВАННЫХ ИЗ ПРИФРОНТОВОЙ ПОЛОСЫ

В целях устройства детей, эвакуированных из прифронтовой полосы, потерявших при эвакуации родных или отставших от детдомов и учебных заведений, СНК УзССР ЦК КП(б)Уз ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Предложить Наркомпросу УзССР:

а) организовать в г. Ташкенте пункт приема несовершеннолетних, возложив на него устройство детей в детдома и учебные заведения, а подростков до 18 лет — на промпредприятия или сельскохозяйственные работы;

б) установить штат пункта в количестве 8 единиц...

2. Предложить т. Кокоибаеву в 3-дневный срок предоставить для пункта по

устройству эвакуированных детей помещение на территории Ленинского района г. Ташкента, вблизи вокзала.

3. Обязать начальника Эвакоуправления при СНК УзССР и председателя Ташгорисполкома расширить пропускную способность столовой Эвакоуправления и упорядочить обслуживание прибывающих эвакуированных детей, подростков и многодетных семей, обеспечив их питанием в первую очередь.

4. Для оказания практической помощи по устройству детей и подростков создать при пункте комиссию в составе (представителей ЦК ЛКСМУз, Наркомпроса, Наркомздрава, Главного управления милиции НКВД УзССР, Эвакоуправления при СНК УзССР, Управления трудовых резервов при СНК УзССР, Управления трудовых колоний и лагерей НКВД УзССР, Прокуратуры УзССР.— *Г. М.*).

5. Установить следующий порядок распределения несовершеннолетних:

а) детей до 15-летнего возраста направлять в детдома по путевкам Наркомпроса УзССР;

б) подростков старше 15 лет направлять на производство и сельхозработы по путевкам наркоматов или хозорганизаций;

в) бывших учеников школ ФЗО, ремесленных и железнодорожных училищ направлять в соответствующие учебные заведения по путевкам Управления трудовых резервов при СНК УзССР.

6. Предложить наркоматам и хозяйственным организациям систематически устраивать на работу несовершеннолетних подростков, обеспечивая их жильем и в необходимых случаях средствами для обмундирования. Устроить на работу до 1 апреля 1942 г. 3000 человек, в том числе... (далее следует разверстка по наркоматам.— *Г. М.*)

7. Обязать **НКВД УзССР** организовать не позже 1 декабря с. г. приемники-распределители:

дополнительный
и новые

— в г. Ташкенте	— на 150 человек,
— в г. Фергане	— на 100 человек,
в г. Ургенче	— на 50 человек,
в г. Турткуле	— на 50 человек,
в г. Намангане	— на 50 человек,
в г. Андижане	— на 75 человек.

Обязать председателей Ташкентского, Ферганского, Ургенчского, Турткульского, Наманганского и Андижанского горисполкомов предоставить в распоряжение **НКВД УзССР** помещения для организации приемников-распределителей.

8. Предложить председателям облисполкомов к 15 декабря с. г. подготовить в сельских местностях помещения для размещения 2000 воспитанников детских домов, эвакуированных из прифронтовой полосы, в том числе... (далее следует разверстка по областям.—*Г. М.*).

9. Предложить Наркомсобесу УзССР организовать детский дом для инвалидов — несовершеннолетних детей на 100 мест.

10. Обязать Наркомздрав УзССР дополнительно оборудовать 300 мест в домах младенца.

11. Поручить Госплану УзССР, Наркомторгу УзССР, Узбекбрляшу регулярно выделять для детских учреждений необходимые фонды промтоваров и продукты питания...

13. Обязать Эвакоуправление при СНК УзССР немедленно организовать централизованный учет несовершеннолетних, принятых в приемники-распределители НКВД, в детдома Наркомпроса, Наркомсобеса и др. или устроенных на производство и сельскохозяйственные работы, организовав розыск родных этих несовершеннолетних через Переселенческое управление при СНК СССР и органы милиции.

14. Предложить обкомам КП(б)Уз и облисполкомам в соответствии с данным решением разработать практические мероприятия, связанные с устройством несовершеннолетних детей и подростков в детдома, учебные заведения, на производство и сельскохозяйственные работы, привлекая к этому делу депутатов Советов трудящихся и общественные организации.

15. Обязать ЦК ЛКСМУз срочно обсудить вопрос об усилении работы среди эвакуированных детей и подростков из прифронтовой полосы и принять специальное

решение об участии комсомольских организаций в борьбе с детской безнадзорностью.

16. Обязать Наркомпрос, Наркомздрав, Наркомсобес, НКВД УзССР в 3-дневный срок представить Наркомфину УзССР сметы на содержание эвакуированных детей...

17. Учитывая, что забота о детях, эвакуированных из прифронтовой полосы и потерявших при эвакуации родных, является важным долгом каждого советского гражданина,— поручить обкомам КП(б)Уз и облисполкомам организовать среди населения индивидуальные и групповые беседы о том, чтобы материально обеспеченные и малодетные семьи брали на содержание эвакуированных детей, потерявших родителей или родственников.

СНК УзССР и ЦК КП(б) Уз считают, что в этом важном деле пример должны показать руководящие работники партийных, государственных и общественных организаций.

Зам. Председателя СНК УзССР П. КАБАНОВ	Секретарь ЦК КП(б)Уз У. ЮСУПОВ

СУДЬБА ФАИНЫ ЮСУПОВОЙ

Это была одна из первых групп ленинградских детей, прибывших на ташкентский вокзал. В теплушке без нар, без отопления вповалку лежало шестьдесят малышей — изможденные, голодные, грязные. По серым, сморщенным лицам, по вялым движениям, потухшим, ко всему безразличным глазам трудно было определить их действительный возраст — маленькие старички. Они не сдвинулись с места, не шелохнулись даже, когда со скрипом отодвинулась дверь. Лежали безмолвно, не проявляя ни беспокойства, ни радости, ни интереса.

— Вставайте, ребята, приехали!— взобравшись в теплушку, сказала Раиса Львовна Верник — одна из тех, кто пришел встречать эшелон.

Никто не откликнулся, не сдвинулся с места.

Уже, наверное, никогда не узнать, что случилось с теми, кто в дальней дороге сопровождал этот вагон, куда, отчего исчезли они, какая беда оторвала их от детей. Вместе с ребятами в теплушке оказались только две взрослые женщины — случайные попутчицы, прибившиеся к эшелону на какой-то промежуточной станции. Одна из них подсказала:

— Так они не пойдут. Вы им хлеб, хлеб покажите.

Пришлось воспользоваться этим советом:

— Кто хочет есть — выходите!

Одна за другой приподнялось несколько маленьких головок. Какое-то шевеление. На четвереньках к дверям подползла девочка лет четырех. Затем, пошатываясь, подошел того же возраста мальчик. Потянулось к дверям еще сколько-то. Остальных пришлось выносить на руках.

Казалось, вагон уже пуст. В последний момент обнаружили забившегося в угол курчавого мальчика. Он был постарше других — лет десяти, может, двенадцати. В каком-то дремотном забытьи, с полуоткрытыми глазами он сидел, опершись спиной о стенку теплушки, на руках у него был младенец.

— А ты чего же? Идем!— подошла к нему Верник.

— Встать не могу — Тонька,— ответил курчавый едва слышным голосом.

— Давай сюда свою Тоньку. Я понесу. Сестренка твоя, что ли?

— Сестренка,— подтвердил мальчуган.— Мама наказывала, никому ее не давать, чтоб от себя ни на шаг.

Раиса Львовна на мгновение растерялась — не силой же отбирать, потом дружески предложила:

— Из вагона сойдем, возьмешь свою Тоньку,— и потянулась к младенцу.— Давай.

Может, оттого, что женщина убедила его, а может, от обезволившей, притупившей сознание слабости — мальчик не стал противиться. Верник взяла у него сестренку, завернутую в тряпье, направилась к двери. Уже спустившись на землю, она откинула серый лоскут, что прикрывал лицо девочки, пригляделась, губами коснулась почерневшего лобика, в ужасе вскрикнула: ребенок был мертв.

В бане, когда детей раздевали, у одного из мальчишек обнаружили вшитую в трусы короткую записку:

ТАШКЕНТСКОМУ ГОРСОВЕТУ

Это дети ленинградских рабочих, оставшихся защищать город. Просим сохранить их в одном из ваших детдомов. Если их родители погибнут, Ленинградский горсовет позаботится об этих детях.

ЛЕНГОРСОВЕТ.

Из бани, переодетых уже во все новое, детей отвезли в детдом №18, что на территории Старого города. В полутьме, при коптилках, накормили ребят, уложили в кровати. Думали, после дороги, после бани сразу уснут. Ошиблись: в разных концах большой комнаты жалобное всхлипывание, вздохи, ворчанье.

— Что ты, малыш? Ты уже дома. Не нужно плакать, не нужно,— склонилась, ласково погладила малыша сама расстроенная до слез воспитательница. И неожиданно слышит:

— Я мальчик, а на меня девчачье платье надели...

Среди этих детей находилась и трех-четырехлетняя Фая — истощенная, хилая девочка. Тело ее сплошь было покрыто фурункулами. При осмотре врачи установили пеллагру и раннюю стадию рахита. Уже несколько дней она находилась в детдоме, начала понемногу осваиваться.

Однажды, когда после обеда группу укладывали спать, в комнату вошла черноволосая лет тридцати женщина.

— Пожалуйста. Выбирайте,— сказала сопровождавшая ее воспитательница.

Сегодня, тридцать шесть лет спустя, Фаина Усмановна не может ответить, что побудило ее вскочить, схватиться за спинку кровати и крикнуть с тревогой и радостью одновременно: «Мама, я вот! Это я, мама!» Может быть, вошедшая на самом деле была

в чем-то похожа на Фаину мать. А может, так мучительно долго, с такой горячей надеждой ждал ребенок появления матери, что обознался и принял за нее совсем чужую, незнакомую женщину? Теперь на этот вопрос уже никто не ответит.

Женщина, пришедшая в детдом за ребенком, потом вспоминала:

— Честно признаться, когда решили мы с мужем ребенка на воспитание взять, думали — мальчика. С тем и пришла я в детдом. А тут как закричит эта девчушка и ручки тянет ко мне — все и перевернулось внутри: ее, эту давайте!..

Так в конце декабря 1941 года вошла ленинградка Фаина в семью первого секретаря ЦК Компартии Узбекистана Усмана Юсупова и его жены — наркома легкой промышленности республики Юлии Леонидовны Степаненко. Судя по документам, это один из первых случаев, когда был взят на воспитание эвакуированный осиротевший ребенок,— первая капля, которая превратилась затем в могучий поток.

У каждого из членов семьи сохранились от той поры свои воспоминания.

Фаина помнит огромный белый таз, куда ее усадили, и, несмотря на протесты и вопли, терли и терли чем-то шершавым. Помнит, как безутешно рыдала, когда странным образом косички ее отделились от головы и оказались в чьих-то чужих руках. Зато сколько радости доставило ей цветастое платье, принесенное Инной — как ей объяснили, ее старшей сестрой. Да, у Фаины оказалось сразу два брата, Леонид и Владлен, и сестра, чуть постарше ее, Иннеса. Они нянчились с ней, опекали, а потом, когда в семье появились младшие — Зоя, Ульмас и Фархад, она сама уже за ними приглядывала и строго наказывала за всякие шалости.

У Юлии Леонидовны остались в памяти другие картины.

— Кто твой папа?— спрашивала она у ребенка.

— Мой папа главный на паровозе.

— А мама?

— У мамы такие длинные-длинные волосы. А еще она всегда приносила мне самые вкусные конфеты.

— Как их звали?— допытывался Усман Юсупович.

— Ну как,— искренне удивлялась Фая.— Взрослые, а не понимаете: папу звали — папа, а маму — мама. А еще брат у меня был, вместе в поезде ехали. Он большой уже — десять лет.

— Где же он?

— На станции пошел огурцы покупать. И сам не пришел, и огурцов нету.

— А имя его помнишь?

— Забыла.

Сколько усилий приложили новые родители Фаи, куда только ни обращались они, чтоб разыскать ее брата,— как в воду канул, ни следа. Так и до сегодняшних дней ничего о нем Фаина не знает.

Много хлопот прибавилось у Юсуповых с появлением в доме Фаины. Ребенок был истощен до предела, страдал от болезней, но главное даже было не это. Главное — страх, панический страх, который

долго преследовал девочку. Бывало где-то вдали загудит паровоз или в соседнем дворе грохнут ворота — Фая срывается с места, с криком мчится из дома, зарывается в куст и лежит неподвижно. По ночам ее мучали кошмары. Она металась во сне, что-то кричала, звала на помощь и плакала.

И еще одну странность заметила за Фаей Юлия Леонидовна: не может девочка уйти от стола, как бы сытно ни накормили ее, просто не в силах от него оторваться без того, чтобы тайком чего-нибудь не сунуть в карман, за пазуху или зажать в кулачке — хлеба ломоть, кусок сахару, яблоко, сушеный урюк — неважно. Все эти припасы Юлия Леонидовна обнаруживала затем у девочки под подушкой. Однажды в воспитательных целях Юлия Леонидовна решила убрать это все, пока девочка спит. Усман Юсупович остановил жену, сказал тихо:

— Пусть, не трогай. Так ей спокойней.

И все же как-то не выдержала, спросила у девочки Юлия Леонидовна:

— Зачем ты еду под подушкой прячешь? Разве это красиво?

Фаина очень серьезно, даже строго взглянула на новую маму, ответила без тени смущения:

— А фашисты подойдут к нашему дому, что тогда будем есть?

Через несколько месяцев, когда Фая поправилась, успокоилась, решено было определить ее вместе с Инной в детсад. Стали на случай чего заучивать адрес. И вдруг вместо ташкентского адреса, который она должна была твердо запомнить, Фая без запинки выпалила совсем другой, ленинградский адрес, свою фамилию, имя, отчество. Так Юсуповым стало известно, где жила до войны Фаина Николаевна Барышева.

Спустя какое-то время, будучи в Ленинграде, Юсупов нашел эту улицу. От названного Фаей дома остались только руины. Соседи сказали: Барышевы — и мать и отец — погибли.

Вернувшись в Ташкент, Усман Юсупов долго сидел с девочкой, книжку с картинками вместе разглядывали, потом неожиданно назвал ее — моя ленинградская дочка. С тех пор до конца своих дней он говорил уже только так: моя ленинградская дочка.

В те годы, вспоминает Фаина, отец редко дома бывал. Если находился в Ташкенте, приходил, когда мы уже спали, мы еще не вставали, а его уже нет. Но чаще бывал он в разъездах. Как праздника ждали дети его возвращения. И действительно, каждый раз вместе с ним в дом входил праздник. И что еще хорошо запомнилось Фае: никогда он не возвращался из поездок один — вместе с ним, держась за руку, шагал чумазый малыш. Так появились в доме Галя Шайхова и ее брат, потом Митя Анойченко, а однажды он привез с собой сразу двадцать четыре беспризорника.

— Где ты собрал эту команду?— только всплеснула руками Юлия Леонидовна.

— В Андижане. Еду, понимаешь, мимо базара — сидят, побираются. Говорю, пойдемте со мной — не хотят. У нас, говорят, свой

дворец тут имеется. Прошу: покажите. Ведут. Кибитка развалленная, ветер со всех сторон продувает. Дворец! Поедем, пропадете вы здесь. Ни в какую. На следующий вечер привез к ним Тамару Ханум — как раз в Андижане была. Ну, вместе с дойристом своим такой она им концерт показала — лучше, чем в театре. Посмотрели, послушали сорванцы, согласились: ладно, поедем, если каждый вечер такое представление будет. Вот и привез.

Беспризорников поселили на даче, где они прожили несколько месяцев. Затем одни перешли в детдома, другие, те, что постарше,— в ремесленные училища, на заводы. Митя Анойченко вскоре ушел в армию, воевал, получил «Красную Звезду» и медаль «За отвагу». Галю Шайхову устроили в техникум. Только прозанималась она год и ушла: артисткой стать захотела — голос и правда был у нее расчудесный. Теперь вот в ансамбле работает, с концертами выступает.

Помнит Фаина и то, как собралось однажды за праздничным столом все семейство Юсуповых — у кого-то из детей день рождения был. Вдруг подымается со стула отец и говорит:

— Нехорошо получается, несправедливо: каждый имеет у нас и день, и месяц рождения, а у Фаины ни того, ни другого. Себя же обкрадываем: на один праздник меньше в году... Ну, Фаина, выбирай себе день рождения — любой, кроме тех, что у нас уже за другими записаны. Говори!

— Не знаю, папа. Для меня все дни хороши.

— А самый лучший, самый счастливый?— настаивал Усман Юсупович.

— Все счастливые.

— Ну, если такая счастливая, значит, будем считать, что родилась ты 7 ноября, как раз в двадцатую годовщину Октября.

4 июля 1949 года ЗАГСом Центрального района города Ташкента было выписано свидетельство об усыновлении: отец — Юсупов Усман, мать — Степаненко Юлия Леонидовна, их дочь —Юсупова Фаина Усмановна, дата рождения — 7 ноября 1937 года. С тех пор во всех документах она значится именно так: Фаина Усмановна Юсупова.

В 1955 году Фаина закончила школу и стала студенткой агрономического факультета Ташкентского сельскохозяйственного института. По окончании института работала в Академии сельхознаук республики, затем в СоюзНИХИ. Сейчас Фаина Усмановна — старший специалист Министерства сельского хозяйства Узбекистана. У нее двое детей: Саша, пятнадцати лет, и семилетняя Оксана, а кроме того, большая родня — братья и сестры Юсуповы.

Как-то в разговоре я спросил у Фаины Усмановны:

— Многие ленинградские дети, так же как вы, были спасены в те страшные годы узбекскими семьями. Что вы могли бы сказать об этом народе?

Она усмехнулась:

— О самих себе говорить как-то неловко: я ведь узбечка.

В суровую зиму 41—42 годов дети, эвакуированные из прифронтовой полосы, были взяты на воспитание семьями А. Абдурахманова — Председателя Совнаркома УзССР, Н. Ломакина — секретаря ЦК КП(б)Уз, С. Родичева — зам. Председателя Совнаркома УзССР, И. Гагина — замнаркома внутренних дел республики и многими другими руководящими партийными и советскими работниками Узбекистана.

НОЧИ 1941 ГОДА

Великие битвы утверждаются в человеческой памяти именами рожденных ими героев.

К началу войны Наталия Павловна Крафт работала в Наркомпросе республики — заместитель начальника Управления детдомами. Четверть века спустя она признавалась Фриде Абрамовне Трнерс — другой героине великой битвы за спасение жизни и здоровья тысяч и тысяч советских детей:

«Уже несколько раз начинала писать, как была организована наша работа. Не получается. Какой-то вихрь воспоминаний: факты, лица, эпизоды — одни горше других. Пробую их записывать — выходит что-то сумбурное. Ведь это же было какое-то кровоточащее месиво из несчастий, слез и человеческого горя, безграничного, ни с чем не сравнимого детского горя. Сижу и реву...

А помните, как на Вас и Вам подобных, тоже бессменных и каких-то неутомимых тогда тружениц нашего участка фронта (для большинства, к сожалению, и по сегодняшний день незримого), «рычала» и нарочито грубовато покрикивала Раиса Львовна: «Не сметь плакать, девчонки!..»

Уверена, Вы правы: обо всем этом необходимо рассказать людям — им ведь это обязательно нужно знать...»

Представьте себе ташкентский вокзал. Не сегодняшний, с просторной площадью и вечным огнем у памятника четырнадцати погибшим комиссарам, с многоэтажными крыльями гостиницы и железнодорожного почтамта,— нет, ташкентский вокзал поздней осени 1941 года.

Тесный, мощенный булыжником пятачок, со всех сторон зажатый приземистыми постройками, отгороженный от перрона частоколом толстых железных прутьев. Еще месяца полтора-два назад он не казался таким пугающе мрачным, суровым. Наоборот: все здесь играло яркими красками юга — цветы в палисадниках, зеленые купы деревьев над красной жестью домов, фонари на старинных столбах с чугунным узором. Тихо, только трамвай завизжит на разворотном кольце, звякнет колокол на перроне, и снова по-домашнему уютно, покойно, дремотно.

Теперь здесь все по-иному. Каждые полчаса-час из-за железного частокола выплескиваются на привокзальную площадь все новые и новые потоки эвакуированных — старики, женщины, дети. А на площади, в сквериках, на прилегающих улицах уже не то чтобы сесть — стоять негде. Только узкие тропки остались между людьми, с узлами, корзинами, сумками расположившимися на тротуарах, мостовой, в вытоптанных теперь палисадниках. Ноябрьское небо сыплет на головы мокрые хлопья не то дождя, не то снега. Ночью, при полном затемнении — ни огонька, ни светящейся точки,— от этого табора веет чем-то жутким: серая шевелящаяся масса, блуждающие бесплотные тени, черные контуры оголенных деревьев с ветвями, будто вздетыми, заломленными в отчаянии руками. И над всем этим, то здесь, то там,— вскрик младенца.

Каждый день по указанию местных властей сотни эвакуированных отправляются в город, где для них уже приготовлено жилье. Других отправляют в районы. К ночи площадь заполняется снова. Эвакопункт, организованный в зале № 6, не успевает справиться с этой лавиной, захлебывается. А тут еще, в этой пучине,— дети: один потерялся в дороге, другой отстал от детсадика, третий и сам объяснить не сумеет, откуда приехал, как очутился на ташкентском вокзале.

— Детей нужно спасать. Детей — в первую очередь! — сказал, вызвав к себе на прием работников Наркомпроса республики, первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана Усман Юсупов.

ПРИКАЗ

По Народному комиссариату просвещения УзССР

25 ноября 1941 г. **№ 2410** **г. Ташкент**

---

§ 1

В соответствин с решеиием СНК УзССР н ЦК КП(б)Уз организовать с 25 ноября с. г. при вокзале г. Ташкента Цеитральный детский эвакопункт.

§ 2

Заведующим Центральным детским эвакопунктом назначнть зам. иач. Управлення детдомами Наркомпроса т. Крафт Н. П.

Считать работу иа детском звакопункте основной работой т. Крафт.

§ 3

Уполиомоченными по размещеиию и звакуацни детей н подростков назначить тт. Габашвнли М. А. н Верннк Р. Л.

§ 4

Дежуриым воспнтателем иа Цеитральном детском эвакопуикте назиачнть т. Зельцер М. Д.

§ 5

Обязать т. Крафт установить круглосуточную работу Центрального детского эвакопункта, распределив дежурства между указанными выше сотрудниками эвакопункта, привлекая для дежурства в помощь штатным сотрудникам детского эвакопункта лучших директоров детдомов.

Зам. наркома просвещения УзССР ПОРОШИН

К моменту издания приказа Центральный детский эвакопункт фактически уже действовал.

Сейчас невозможно установить, кто из ташкентских учителей, врачей, воспитателей пришел тогда первым на привокзальную площадь, пришел ли сам по себе, по велению собственной совести, или же выполняя официальный приказ, резолюцию какого-то митинга. Известно, однако, что уже в октябре 41 года в зале № 6, где размещался «взрослый» эвакопункт, появились педагоги, воспитатели детских домов и садов, врачи-педиатры. Сменяя друг друга, они круглые сутки выходили встречать эшелоны, совершали обход привокзальной площади, чтоб не пропал, не затерялся в этом бурлящем потоке ни один оказавшийся без надзора ребенок. Детей приводили в зал № 6, а утром отправляли в детдом № 18, специальным решением Наркомпроса республики превращенный в детдом для эвакуированных беспризорных детей.

Драматичные, тревожные сводки Совинформбюро осени 41 года: наши войска оставили Киев, Харьков, Смоленск, блокирован Ленинград, ведутся бои на подступах к Москве... И как отзвук — новые потоки эвакуированных, а среди них — дети, дети, дети...

К середине ноября стало понятно, что теми средствами, которыми велась работа дотоле, проблему спасения одиноких детей не решить. Вот тогда и появился приказ Наркомпроса об организации на ташкентском вокзале специального Детского эвакопункта. Он был издан 25 ноября 1941 года. 26 ноября, через сутки, ЦДЭП открылся.

Диву даешься: как можно было за 24 часа все наладить, собрать, подготовить? Объяснение, говорят участники этого аврала, только одно: всякий, причастный к открытию ЦДЭПа, без принуждений, напоминаний, попыток свалить порученное ему дело на кого-то другого сделал все, что должен был сделать, и сверх того — что сам, без приказа, придумал, нашел, привнес от себя.

В тот же день, 25 ноября, приказом начальника ташкентского вокзала было освобождено помещение одной из товарных контор, примыкавшее к залу № 6. Нужно было вынести, убрать оборудование, и грузчики, служащие этой товарной конторы, работники будущего ЦДЭПа не стали между собой выяснять, кому это положено делать,— все вместе в течение часа они перенесли оборудование в новое помещение. Нужно было убрать, продезинфицировать, приспособить освободившийся зал для приема детей, и сотрудники ЦДЭПа вместе с женщинами, которые по ими же самими строго расписанному графику, минута в минуту, являлись на ночные дежурства, драили цементный пол, мыли окна, вносили и расставляли кроватки и тяжелые деревянные скамьи, по первой просьбе Натальи Павловны

выделенные вокзальной администрацией. Большую помощь оказал и коллега — начальник «взрослого» эвакопункта Федотов. Но больше всех старался и больше всех был полезен живой, как ртуть, везде и всюду поспевавший, умевший достать, сделать то, что казалось просто немыслимым, молодой грузин Габашвили.

К утру у касс и справочных бюро, на стенах хлебных ларьков и киосков, на кипятильниках и баках с водой, на всех дверях и чуть не на каждой стенке вокзала и площади висели яркие указатели с крупными буквами: Детский эвакопункт. Эти указатели-стрелы были сделаны и развешаны школьниками Ташкента и тоже в одну, в ту же ночь. По договоренности с вокзальной администрацией радиоузел, работавший круглые сутки, через каждые 15—20 минут повторял объявление: «Детей, потерявших родителей или сопровождающих, отставших от группы, просим зайти в Детский эвакопункт, который находится на вокзале, рядом с залом № 6».

Через 24 часа после издания приказа ЦДЭП был готов к приему эвакуированных детей. За столом, покрытым старенькой скатертью, кем-то, видно, принесенной из дому, сидела женщина-регистратор. Перед ней стоял телефон, по которому из диспетчерской железной дороги предупреждали о прибытии эшелона с детьми, как только тот выходил из Арыси или Урсатьевской. В зашторенном зале горели неяркие лампочки, чугунная печь распространяла тепло, за наспех сколоченной перегородкой — аккуратно застеленные кроватки: изолятор для больных, температурящих.

В эту первую ночь, когда ЦДЭП еще только готовился к приему детей, среди общего хаоса неожиданно появился Председатель Президиума Верховного Совета республики, узбекский староста, как его называли в народе, Юлдаш Ахунбабаев. Вместе с ним приехал первый секретарь Ташкентского горкома партии Сергей Константинович Емцов. Нет, это были не почетные гости — это явилась живая, конкретная помощь. Здесь же, на месте, решался трудный вопрос снабжения ЦДЭПа. По только что установленному телефону Сергей Константинович звонил на станцию Скорой помощи и договаривался о постоянном дежурстве одной машины у входа в Детский эвакопункт. Ахунбабаев давал указания железнодорожному ОРСу об организации питания детей и подростков, выделении фондов на приобретение детской одежды, советовал женщинам, как лучше наладить работу.

С тех пор Сергей Константинович появлялся на ЦДЭПе каждую ночь, каждую ночь в течение года. Очень часто, как вспоминают сотрудники, приезжал и Юлдаш Ахунбабаев. Дежурные уже знали: сначала он тихо, осторожно ступая пройдет меж рядами спящих ребят, зайдет в изолятор, постоит над кроватками самых маленьких — при этом, кто-то заметил, подоткнет одеяло, поправит подушку,— и только потом начнется деловой разговор.

Эшелоны, как правило, прибывали ночью. Звонок из диспетчерской: «Из Арыси вышел поезд №... В четвертом, седьмом, девятом вагонах — дети. Прибытие в Ташкент — 2 часа 40 минут на второй путь». Или: «Поезд из Урсатьевской прибудет в 5 часов 15 минут на

седьмой путь. В эшелоне имеются дети». И тогда из дверей ЦДЭПа на перрон выходила бригада — кто с носилками, кто с аптечкой или детским пальтишком — и шла встречать поезд.

В том, как подходил паровоз — медленно, со сбитым, неровным дыханием, весь погруженный во тьму,— было что-то скорбно-щемящее. А может, это только казалось впечатлительным женщинам. Со скрежетом отходили двери теплушек, и кто-то из членов бригады первым забирался в вагон.

«У каждого из тех, кто прибывал к нам в этих вагонах, была уже своя тяжелая, а порой и трагическая судьба,— рассказывала впоследствии Наталья Павловна Крафт.— Но что удивляло: на первый взгляд все они выглядели одинаково — одинаково испуганными, измученными, ободранными, молчаливыми и малоподвижными. На этом сером, вернее, жутко-сером фоне помнятся и видятся только ребячьи глаза — глаза полные ужаса, горя, усталости и... надежды. Эти глаза не описать, не забыть...»

Со временем выработались свои приемы. Та, что первой подымалась в вагон, насколько могла бодрым голосом возвещала:

— Здравствуйте, дети! С приездом! Кто хочет каши — выходи. Вещи с собой.

Эти слова обладали магической силой. Дети — те, что могли, кто держался еще на ногах,— сыпались из теплушки.

Поначалу, когда работники ЦДЭПа еще только разрабатывали свой устав, было решено в соответствии с санитарными нормами: сначала — баня и санобработка, а затем уж столовая. Но в тот момент и в той ситуации это бесспорно разумное правило оборачивалось, по мнению женщин, дополнительной пыткой, жестокостью по отношению к детям. Только раз попытались дежурные действовать по этой программе. Сами не выдержали. Отказались.

Теперь воспитательницы гурьбой вели детвору от вагонов прямо в столовую, специально для них открытую ОРСом железной дороги. Изголодавшиеся, неделями не видевшие горячего, дети набрасываются на еду. Воспитательницы, официантки, повара, судомойки кормят с рук малышей. А врач над душой: «Не обкормите — погубите!»

Мария Кузьминична Дианова, чьим заботам администрация железной дороги доверила детей и подростков, прибывающих на ташкентский вокзал, до сих пор утверждает, что большего горя и радости выше, чем в те военные дни, испытать ей уже не довелось никогда. Горя — при виде этих голодных, истощенных, полуживых малышей. Радости — оттого что вместе с другими могла накормить, согреть, обласкать этих крох, обездоленных фашистским нашествием.

Да, кто мог, выскочил, выбрался из вагона, вслед за дежурной потопал в столовую. Но не все: больные, раненые, обессиленные остались в теплушке. Теперь дело за теми, кто с носилками и аптечкой стоял в стороне. Одного за другим они вынесут, бережно уложат больных на носилки и по путям, в кромешной тьме ноябрьской ночи двинутся к стоящей у входа на привокзальную площадь машине

Скорой помощи. Этих детей уже ждут врачи и сестры детских больниц.

Полчаса отводилось на кормление детей в железнодорожной столовой. Через полчаса ровно нужно было их оторвать от стола — дело нелегкое, выстроить парами и вести на улицу Полторацкого в баню и санпропускник.

Сколько нужно было заботливых женских рук, чтобы помочь малышам раздеться, связать в узелок одежду, вложить в этот узел записку с фамилией, постричь, помыть и снова одеть в уже обработанную, в течение часа прожаренную одежду! Где было взять эти руки, если весь штат Детского эвакопункта состоял поначалу из пяти, затем из четырнадцати человек — заведующей, ответственных дежурных и дежурных воспитательниц, завхоза, двух уборщиц и сторожа? Но такой вопрос перед ЦДЭПом никогда не вставал. Не было такого вопроса. Женотделы райкомов партии города, партийные и комсомольские организации наркоматов, заводов, институтов и школ, райздравотделы и поликлиники каждый вечер слали на вокзал своих представителей. В первый раз они являлись, выполняя общественное поручение. На следующий день и во многие другие недели и месяцы они приходили уже без всяких наказов — по собственной воле и совести. Так, на одну только ночь были присланы и остались здесь до конца Валя Муштакова — блондинка с ясными голубыми глазами, обладавшая каким-то удивительным даром располагать к себе ребячьи сердца, ее подруга студентка Тася Шпигель, молодой биолог Вера Федулова, учитель Николай Григорьевич Беляев, библиотекарь из Минска Софья Гуревич, педагог Елизавета Прохоровна Жигула, и десятки, сотни других добровольцев. Это они вместе с дежурными воспитателями встречали на путях эшелоны, отводили здоровых в столовую, больных выносили к карете, мыли, стригли, раздевали и одевали.

Нет, это было не филантропическое прекраснодушие — это была тяжелая, опасная работа. Опасная, потому что дети, неделями находившиеся в дороге, были завшивлены, потому что среди них уже свирепствовали тиф, дизентерия, различного рода кожные болезни. Знали об этом те, кто каждый вечер по долгу службы или по доброй воле приходили на вокзал? Знали. Они отдавали себе ясный отчет, какому риску подвергают себя, свои семьи и близких. И каждый вечер в положенный час являлись в ЦДЭП снова. Что ж, не думали они об опасности, надеялись — пронесет? Не пронесло. Одна за другой восемь работниц Детского эвакопункта, восемь из четырнадцати, несших эту вахту добра, оказались на больничной койке. Сыпняк. А скольких нештатных помощниц скосил тиф, уложила в постель дизентерия — не сосчитать.

«В 1941 году я работала учительницей начальных классов в школе № 50,— пишет ташкентская пенсионерка В. М. Евстигнеева.— Однажды меня вызвал к себе директор и предложил пойти дежурным воспитателем в только что созданный на ташкентском вокзале Детский эвакопункт. Я, не задумываясь, согласилась.

Трудно было без слез смотреть на маленькие, обтянутые кожей скелетики, на заросшие, изъеденные вшами головки.

Дети, с которыми я там работала, наверно, помнят меня — тетя Вера.

Но работать там пришлось мне не долго: как и большинство сотрудников ЦДЭПа, заболела сыпным тифом. После больницы меня перевели на инвалидность».

Но многие, отлежавшись, поправившись, через несколько недель появлялись на эвакопункте опять. Не все. Светловолосая Валя Муштакова, сторож ЦДЭПа Курбатов, завхоз Люба Гукасова не появились уже никогда. Их хоронили без воинских почестей. Но каждый, кто стоял над могилой, думал в тот час: хоронят бойца, который честно, мужественно выполнил свой гражданский и человеческий долг.

И так же, как это было на фронте, на смену павшим вставали новые бойцы.

Добровольные банщицы, парикмахеры, санитарки обретали сноровку и опыт. То, что на первых порах ставило их в тупик, превращалось затем в привычное, повседневное. Много хлопот доставляла дежурным детская обувь — модные тогда лакированные сапожки. Девочки их не снимали по нескольку дней, а то и недель дороги. Одни — чтоб сапожки не пропали, другие по малолетству просто не умели их снять. Теперь приходилось разрезать голенища — иначе никак не разуть. Но это, пусть даже заливалась слезами трехлетняя модница, это было не самое страшное. Много страшней было то, что, разрезав сапог, женщина вдруг обнаруживала явные признаки обморожения или — хуже — гангрены.

Обратный путь из бани в эвакопункт всегда бывал еще трудней, чем путь туда. Отяжелевшие от непривычно сытного горячего обеда, разморенные купанием, многие из детей до того ослабевали, что передвигаться самостоятельно уже не могли. Приходилось нести на руках, так же как тех, у кого обнаружили обморожение или гангрену. Эти, последние, тут же подвергались осмотру врачей дорздравотдела и, если диагноз подтверждался, усаживались или укладывались в успевшую уже к этому времени возвратиться на вокзал машину Скорой помощи.

А в зале ЦДЭПа, куда привели и принесли остальных, только начиналась работа. Нужно было каждого зарегистрировать в специальный журнал учета (а это бывало подчас сопряжено с немалыми трудностями: малыш никак не мог вспомнить своей фамилии, сколько лет ему, откуда приехал), нужно было определить, куда ему дальше следовать, и, записав на бумажке пункт назначения, ребятам постарше дать ее в руки, малышам — сунуть в карман или пришить к левому плечику. После этого дети могли, расположившись на скамьях, уснуть. И засыпали они мгновенно, быть может, впервые за несколько месяцев сном спокойным и сладким: под потолком горела самая настоящая лампочка, напоминавшая дом, семью и такую далекую уже мирную жизнь, в желудке не было

привычного чувства голода, а главное — им сказали, что больше нечего бояться бомбежек и утром их снова покормят. Сон был глубоким и тихим.

Дежурные воспитатели обходили зал, выгородку с кроватями для самых маленьких, изолятор. Раиса Львовна Верник резала хлеб, который утром раздадут детворе. (Этим в течение многих месяцев занималась только она — знак самого высокого и полного доверия.) Ответственный дежурный по спискам разбивал ребят на отдельные группы, которые завтра в соответствии с разнарядками Наркомпроса республики отправятся к месту своего нового жительства. Подростки старше 14 лет — в ремесленные и железнодорожные училища, на предприятия и в колхозы, дети школьного возраста — в детдома Ташкента и других городов Узбекистана, самые маленькие останутся в Ташкенте.

Евгения Валерьяновна Рачинская, заместитель наркома просвещения республики, человек, большому уму, организаторскому таланту и щедрому материнскому сердцу которого своим спасением в годы войны обязаны многие тысячи детей и подростков, эвакуированных в Узбекистан из прифронтовой полосы, впоследствии вспоминала:

— В 1942 году на территории нашей республики и поблизости скопилось сразу несколько эшелонов с детдомами, эвакуированными из Центральной полосы России и с Украины. Один из них, направлявшийся в Барнаул, уже несколько дней стоял в Арыси, другой, следовавший в Ош, застрял в Андижане: станции назначения не принимали. Узнав об этом, Усман Юсупов срочно вызвал меня в ЦК и сказал: «Принимайте и устраивайте в наши детдома всех детей без отказа. Открывайте новые детдома. Можете использовать для этого все пригодные помещения: колхозные клубы, красные чайханы, интернаты. Если понадобится, отдадим детям здания правлений колхозов. Ни один прибывший к нам в республику ребенок не должен остаться неустроенным. Если вы видите, что дети истощены дорогой, оставляйте эшелоны в Ташкенте, даже те, что направлялись в другие республики. Узбекистан примет, устроит, воспитает и обучит всех без исключения детей».

Так направлявшийся в Барнаул эшелон с одесским и луганским дошкольными детдомами был повернут из Арыси в Ташкент, и 207 его малолетних пассажиров на все годы войны стали воспитанниками детдома № 2 Калининского района Ташкентской области, превращенного в связи с этим из школьного в дошкольный.

К рассвету над четырьмя дверями зала Центрального детского эвакопункта висели таблички: «Самарканд», «Фергана», «Карши», «Наманган» или — «Бухара», «Андижан», «Ургенч», «Коканд». К этому времени ответственный дежурный, связавшись с диспетчером железной дороги, знал уже, на какие пути будут поданы поезда для детей, а диспетчеру было известно, какое количество детей отправляется в том или ином направлении. Такая согласованность в действиях давала возможность избежать суеты и неразберихи на ЦДЭПе,

а железной дороге выделить именно столько вагонов, сколько сегодня необходимо. Это были уже не те составленные из товарных теплушек длинные эшелоны, которыми дети прибыли ночью на ташкентский вокзал: на указанном месте их ждали убранные, продезинфицированные пассажирские вагоны с печным отоплением и кипятком. В первое время в каждом таком вагоне ехали вместе с детьми сопровождающие — воспитатели ЦДЭПа или кто-либо из их добровольных помощниц. Потом эти функции взяли на себя проводницы, также в большинстве своем женщины. Они доставляли детей до станции назначения и под расписку, по строгому счету передавали их там встречавшим состав работникам областных или городских отделов народного образования, директорам и воспитателям детдомов. За многие месяцы, что велась эта работа, не было ни единого случая утери ребенка в дороге, каких-либо происшествий.

Но вернемся назад, в скованный сном ночной зал ЦДЭПа. За час до отправления составов дежурный будит детей.

— Ребята! Сейчас вам выдадут хлеб, и вы поедете дальше. Посмотрите свои записки. У кого «Самарканд», идите к той двери, над которой написано «Самарканд». У кого «Бухара» — к двери с такой же табличкой. «Фергана» — вон та дверь. «Карши» — справа. Скоро вы уже будете в своем новом доме. Устроитесь, приведете себя в порядок, а потом — в школу.

В этот момент в зале обычно становилось суматошно и шумно. Одни шли налево, другие протискивались в обратную сторону. Дети, вчера еще все одинаково вялые, угрюмые, молчаливые, вдруг оживлялись, у каждого проявлялся свой особый характер, кто-то даже начинал уже озорничать.

— Теть, а Бухара — это где Насреддин?— спрашивал мальчишка, из тех, кто побойче.

А девочка, совсем еще кроха, огорченно вздыхала:

— В школу не пустят меня — учебников нет. Всю дорогу везла, а потом вместе с мамой потерялись куда-то.

Мальчик пяти-шести лет тянул за рукав воспитательницу, подставив ей плечо с пришитой запиской:

— Я читаю еще только по буквам. А что у меня тут написано — не прочту. В какую мне дверь, тетя?

Другой жалобно плакал: куда-то пропала его записка. Дети войны, они уже знали цену бумажке, которая называется «документ».

Вскоре, построившись парами, дети направлялись к вагонам. За теми, кто оставался в Ташкенте, приходили машины. Женщины, добровольные помощницы сотрудников ЦДЭПа, расходились — кто домой, кто по своим хозяйским делам, а кто и на службу. Но случалось и так, что недавняя банщица, парикмахер или судомойка из дорожной столовой берет приглянувшегося ей малыша и ведет к дежурным врачам:

— Слабенький очень. Не выдержит. Дозвольте, доктор, к себе его взять. У меня трое постарше. А где трое, и четвертый прокормится.

И уходила, неся на руках свою драгоценную, подчас безымянную ношу.

В течение ночи многих детей разбирали ташкентцы. Одних прямо из эшелонов, других — из зала эвакопункта, третьих — когда уже собирались их отправлять. Как вспоминают сотрудницы ЦДЭПа, бывали ночи, когда за детьми выстраивались целые очереди. И что характерно: выбирали не самых красивых, приглядных — нет, самых слабых, больных, истощенных.

К утру помещение ЦДЭПа пустело. Разошлись добровольцы. Но не все — иные остались. Вместе с сотрудницами, заступившими на новую смену, с теми, кто прислан сегодня женотделами райкомов партии, райкомами комсомола, кто пришел с предприятий, из институтов и школ, они будут чистить, дезинфицировать зал, мыть посуду, стирать и гладить белье, чтобы к ночи ЦДЭП был готов принять новую партию эвакуированных детей и подростков. И так изо дня в день, каждую ночь.

Ребенок может находиться на эвакопункте не более суток — таково было правило. И нарушать его было опасно, иначе одна волна могла накатиться на другую, а это затор, чреватый многими бедами. Значит, к утру 150—200 детей, а в самое тяжелое время 400—500 человек должны были быть приняты, накормлены, пострижены, помыты и переодеты, подвергнуты медицинскому осмотру, зарегистрированы, распределены и отправлены из эвакопункта к месту нового жительства. Одна только цифра: к концу 1942 года в регистрационной книге Детского эвакопункта появился порядковый номер 47000. Это только детей-одиночек. Прибавьте к ним контингент 84 детдомов, детсадов, интернатов, трудколоний и школ, эвакуированных из разных концов и также попадавших под опеку ташкентского ЦДЭПа, и вы сумеете в общих чертах представить себе атмосферу и ритм его жизни. Согласитесь, это был титанический труд, и те, кто его совершал, по праву должны именоваться героями.

Обычно директора и воспитатели детдомов, желая похвалиться своей работой, с гордостью демонстрируют вам письма бывших воспитанников — сердечные, исповедальные, благодарственные письма. Что ж, это, наверно, на самом деле лучшая оценка того, что сделали для детей директора, воспитатели, няни.

В архивах ЦДЭПа таких писем сохранилось не много: за несколько часов, проведенных на эвакопункте, дети не успевали сдружиться и надолго запомнить тех, кто их здесь встречал. Но одно все же мне хочется процитировать.

«Я один из тех сотен тысяч ребят, что прошли через Детский эвакопункт на ташкентском вокзале.

Шел конец ноября 1941 года. Немецко-фашистские войска рвались к Северному Кавказу, где временно находился и я в детском доме имени «XX-летия МОД» в станице Казанской Краснодарского края. После взятия Ростова-на-Дону над Кавказом нависла угроза оккупации, и мне пришлось в одиночку пробираться в глубь страны. Мне тогда шел четырнадцатый год. С большим трудом я добрался до Баку, а оттуда на теплоходе «Москва» пересек Каспийское море и через несколько дней оказался на перроне ташкентского вокзала.

Ко мне подошла какая-то женщина, спросила, кто я, откуда и куда еду. Затем она отвела меня в одноэтажное здание, находившееся на привокзальной площади, в котором помещался Центральный детский эвакопункт. Там оформили на меня документы, потом вымыли в бане, избавив от «дорожных спутников», накормили и уложили в чистую постель. Какое блаженство было в том, что ты можешь наконец нормально, по-человечески отдохнуть!

Спасибо женщинам, работавшим на этом эвакопункте! Я не помню их имен и фамилий. Но это были честные, добрые люди, на время заменившие нам утерянных отцов и матерей.

Еще раз им земное русское спасибо за все то доброе, что они тогда для нас сделали!

Ленинград, 22 мая 1973г. *А. Сиваков, учитель».*

И еще один документ — протокол заседания Исполкома Ташгорсовета от 5 марта 1942 года.

Пункт 120.
СЛУШАЛИ: О награждении особо отличившихся работников на Детском эвакопункте и в Карантинном детском доме.
(Внесено председателем Ташгорисполкома).
РЕШИЛИ: За отличную работу на Детском эвакопункте и в Карантинном детском доме — наградить:
1. Наталию Павловну КРАФТ — зав. Детским эвакопунктом — грамотой Исполкома Ташкентского Городского Совета и денежной премией.
2. Раису Львовну ВЕРНИК — грамотой Исполкома Ташгорсовета и денежной премией.
3. Александре Харлампиевне БЫКОВОЙ — объявить благодарность.
4. Цицилии Самуиловне ГАМБУРГ — объявить благодарность.

Предвижу вопрос: Детский эвакопункт — это понятно, но что такое Карантинный детдом?

Вернемся на ташкентский вокзал в осень 41 года.

Я уже говорил: первые группы детей, эвакуированных из прифронтовой полосы, прямо из эшелонов отправлялись в специально преобразованный для них детдом № 18. Он был рассчитан на 300 детей. Затем контингент его увеличили еще на сто воспитанников. Поначалу казалось — достаточно. Поток детей и подростков, хлынувший на ташкентский вокзал в осенние месяцы первого года войны, опроверг эти расчеты. С прибытием каждого нового эшелона проблема размещения и устройства эвакуированных детей становилась все более и более острой. Нужно было организовывать и открывать новые детдома — но это требовало времени. Значит, на первых порах, до открытия новых, распределять их в уже существующие. И снова проблема: как вводить этих детей, бывших в тесном контакте с заболевшими тифом, дизентерией или стригущим лишаем, детей, которые сами, не один, так другой, наверняка являются бациллоносителями, как можно вводить их в коллектив здоровых детей — старожилов детдома? Ведь за этим таится опасность распространения инфекционных болезней, эпидемии.

16 октября 1941 года зам. наркома просвещения Узбекистана Е. В. Рачинская подписала приказ № 2077:

«Для улучшения обслуживания детей, потерявших во время эвакуации родителей, прибывающих в г. Ташкент в одиночку, группами и организованно — детдомами, и в целях предотвращения занесения инфекции в стационарные детдома приказываю:

1. Организовать с 25 октября 1941 года Карантинный детдом в г. Ташкенте на 200 человек.

2. Для организации Карантинного детдома отвести школу № 151 Ленинского района...»

Так создавалась целая система спасения тысяч и тысяч детских жизней.

С организацией на улице Весны Карантинного дома эвакуированные, которых оставляли в Ташкенте, уже не направлялись непосредственно в стационарные детдома. Им предстояло провести две недели под надзором врачей и только после этого перейти в обычный детдом на постоянное жительство.

Ставшая вскоре по совместительству директором Карантинного детдома Раиса Львовна Верник рассказывает:

— Дети попадали к нам истощенные, слабые. Некоторых приносили на носилках. За две недели надо было их подкрепить, чтобы директора детдомов забирали их без опаски, чтобы ни на день, ни на час больше положенного не задерживались они в карантине. Иначе — пробка: некуда разгружаться ЦДЭПу, который беспрерывно, каждую ночь принимает все новые партии детей и подростков. И тут уж делалось все. Дети получали мандаринные и лимонные соки, шоколад и гранаты, яблоки и сухофрукты. Карантинному детдому были выделены дополнительные средства для закупки овощей и свежих молочных продуктов на рынке.

Но дети нуждались в восстановлении не только физического здоровья, но и здоровья душевного. Страшные тени пожарищ, убийств и бомбежек еще долго преследовали их, делали молчаливыми, замкнутыми, нервными. Здесь даже самые лучшие лекарства были бессильны. Только забота и ласка, теплота материнских сердец могли тут помочь. И двухнедельные питомцы Карантинного дома получали это сполна, великой человеческой мерой. Администрация, воспитатели, медицинский и технический персонал делали все, чтобы дети чувствовали себя как в собственном доме, в родной семье, как до войны. В детдом приглашались артисты, кто-то увлекал детвору подготовкой самодеятельного концерта, для девочек организовали кружок домоводства. Все, кто работал в детдоме, каждое утро несли ребятам постарше книги, шахматы, шашки, малышам — игрушки, картинки, кисточки, краски. Старая кукла, какой-нибудь изукрашенный мячик, рыжий котенок, как оказалось, обладают чудодейственным свойством возвращать ребенку душевный покой и давно забытую радость. Это заметили не только воспитатели Карантинного дома, но и нарком

просвещения. Чем же иначе объяснить тот приказ, который он подписал 26 ноября 1941 года:

«Республиканской выставке детской игрушки передать Карантинному детдому игрушек и прочего инвентаря на 2000 рублей»?

Вы не забыли Леву Гребельского, двенадцатилетнего мальчика, вместе с двумя младшими братьями — Сережей и Борей — оказавшегося на ташкентском вокзале среди огромной массы людей, запрудивших площадь? Они не пропали, не потерялись.

Увидев стрелку, указывавшую дорогу к Детскому эвакопункту, Лева решительно, как и положено старшему, повел братьев к одноэтажному домику.

«На эвакопункте к нам отнеслись очень чутко, сердечно, а на следующий день отправили в детдом на улице Весны. Здесь нас приняли как родных.

В ту пору в Ташкенте дислоцировалась Одесская школа военно-музыкантских воспитанников РККА. Из этой школы приехали к нам в детдом представители и стали отбирать способных к музыке ребят. Попал и я в это число, но переходить в музыкантскую школу поначалу не соглашался: не хотел разлучаться с братьями. Директор детдома и воспитатели меня уговаривали, объясняли: и мне, мол, будет хорошо, и Бориса с Сережей в ближайший детдом устроят. Пришлось уступить.

В 1942 году мама после родов приехала в Ташкент и всех нас троих разыскала. И опять благодаря женщине, работавшей или просто бывавшей на эвакопункте. А было это так. Мама ехала в трамвае и плакала, отчаявшись найти своих сыновей. Рядом сидевшая женщина спросила, отчего она плачет. Мать рассказала, назвала фамилию, имена. И тут эта женщина говорит: «Знаю, видела всех троих. В Карантинном детдоме ищите».

Да, многие женщины знали тогда этот дом. С утра и до вечера шли к нему люди. Одни — в поисках пропавших детей, другие — предложить свою помощь, третьи — чтоб унести отсюда нового члена семьи. Таких за время существования Карантинного детского дома, если судить по сохранившимся в архиве договорам, было две тысячи. Две тысячи только по Карантинному детдому.

Сутками, а то и неделями не уходили из ЦДЭПа и Карантинного детдома, не покидали своих постов Наталия Павловна Крафт, Раиса Львовна Верник, другие работницы — врачи, воспитатели, няни. Здесь на столах они спали, сюда приносили им члены семьи обед или завтрак, здесь они жили.

Это было зимой 41 года. Но не будем с ними прощаться. Раиса Львовна остается в детдоме и по совместительству становится директором ЦДЭПа. С Наталией Павловной нам предстоит еще встреча в 42—43 годах уже при иных обстоятельствах, на других страницах повествования.

«ПУСТЬ НЕ БУДЕТ СРЕДИ НАС ЧЕРСТВЫХ И РАВНОДУШНЫХ...»

Вечером 2 января 1942 года по затемненным улицам в одиночку и группами шли к центру Ташкента сотни женщин. Здесь, в одноэтажном здании театра имени М. Горького, должно было состояться общегородское собрание женского актива.

Настроение в зале было приподнятое: в напечатанной во вчерашних газетах новогодней речи М. И. Калинина сообщалось об освобождении от фашистов Калуги, о продвижении частей Красной Армии на других направлениях. Раздеваясь, проходя по фойе, женщины обсуждали: закончится ли война в новом году?

В 6 часов на сцене за длинным столом президиума появились У. Юсупов, работники Совнаркома, ЦК комсомола, Наркомпроса республики, работницы и служащие ташкентских предприятий.

Первой выступила секретарь ЦК комсомола Сагатова, затем — заместитель наркома просвещения Е. В. Рачинская. Они говорят о широком общественном движении, охватившем города и районы Узбекистана, о том, как жители отдаленных селений едут в Ташкент, пишут письма с просьбой дать им на воспитание детей, в дни войны потерявших родителей.

С глубоким одобрением воспринимают слушательницы слова Усмана Юсупова. Он выдвигает целую программу конкретных дел, которыми могут, должны помочь эвакуированным детям предприятия, колхозы, все население республики.

Взволнованную речь произносит находившийся в ту пору в Ташкенте замечательный детский писатель Корней Чуковский. И вот на трибуне Алексей Толстой. Он говорит:

— Узбекистан является пионером, зачинателем великого дела помощи детям. Почин Узбекистана будет подхвачен другими республиками.

КО ВСЕМ ЖЕНЩИНАМ УЗБЕКИСТАНА

Обращение собрания женского актива города Ташкента.

Дорогие матери, сестры, все женщины Узбекистана!

Война против немецких захватчиков потребовала и еще потребует немалых жертв от советского народа. Многие тысячи советских детей лишились крова, потеряли своих отцов и матерей. Многие тысячи детей из прифронтовых районов прибывают к нам в Узбекистан.

Дети, прибывающие к нам из прифронтовых районов,— это наши, советские дети. Мы обязаны заменить им матерей и отцов, согреть их материнской лаской и заботой.

Партия и советское правительство уделяли и уделяют огромное внимание нашей детворе. На устройство эвакуированных детей государство расходует немалые средства. Можем ли мы, женщины, советские патриотки, допустить, чтобы все бремя по устройству и воспитанию эвакуированных и беспризорных детей ложилось на

плечи нашего государства, напрягающего все свои силы и средства для разгрома и уничтожения бешеных фашистских псов? Конечно, не можем! Наш священный долг прийти на помощь государству и организовать широкую общественную помощь эвакуированным и беспризорным детям.

Общественная помощь — великая сила. В городе Ташкенте 643 семьи уже взяли к себе на воспитание эвакуированных ребят. Работница Текстильного комбината тов. Рябикова взяла на воспитание девочку Таню. Взял к себе на воспитание ребенка и колхозник Умар Рахимов из колхоза имени Кирова Орджоникидзевского района. В городе Ташкенте широко развернулся сбор белья, одежды и обуви. Уже собрана 31 тысяча разных детских вещей.

Дорогие матери и сестры! То, что сделано,— это только первые шаги общественной помощи. Развернем в Узбекистане всенародное движение по оказанию общественной помощи эвакуированным и беспризорным детям. Пусть каждая семья рабочего, колхозника, служащего, интеллигента, пусть каждое предприятие, колхоз и совхоз примут деятельное участие в их устройстве и воспитании.

Дорогие сестры и матери! Мы, женщины — общественницы гор. Ташкента, участницы общегородского собрания, считаем возможным взять на воспитание в свои семьи до четырех тысяч эвакуированных детей, окружить их материнской лаской и заботой, воспитать из них советских патриотов. Мы призываем всех принять активное участие в устройстве и воспитании эвакуированных детей. Пусть многие тысячи детей найдут в ваших семьях любовь и ласку.

Организуем шефство предприятий, учреждений, колхозов и совхозов над детскими домами, добьемся образцовой постановки воспитательской работы, обслуживания детей.

Будем всемерно содействовать во всех наркоматах, учреждениях, предприятиях, колхозах, совхозах, МТС устройству на работу подростков, заботясь о создании для их жизни и работы хороших условий.

Не должно быть ни одного ребенка, который не нашел бы крова, заботы и материнской любви у нас в Узбекистане.

Поделимся с эвакуированными детьми имеющимися у нас детскими вещами — бельем, одеждой, обувью.

Пусть не будет среди нас черствых и равнодушных к детскому горю людей. Шире общественную помощь эвакуированным детям! Выполним наш братский долг перед великим русским народом, перед народами Украины, Белоруссии. Еще выше поднимем знамя интернационализма и братской дружбы народов Советского Союза.

Пусть растут и крепнут советские дети — наша радость, наше будущее!

Да здравствует нерушимая дружба народов Советского Союза!

Да здравствует героическая Красная Армия, беспощадно истребляющая кровавых гитлеровских собак!

Среди тех, кто присутствовал в зале и принимал обращение, была невысокого роста женщина с лицом благородным и мудрым. Мне хочется выделить ее и представить читателю особо.

КЕМ ВЕРШИТСЯ СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА?..

Дряхлый старик — наверно, один из последних рыцарей устной народной поэзии,— подыгрывая себе на дутаре, раздумчиво пел. Даже не пел — рассказывал певучим речитативом.

— О чем его песня?— спросил я у сидевшего рядом друга-узбека. Он перевел, а я записал. Не песню — мысль, внушенную ею.

...Жило когда-то поверье: судьба человека — в руках божьих. Наивно, конечно. Осознав свою силу и власть над ходом событий,

люди решили иначе: человек, доколе он жив,— сам кузнец, сам вершитель своей судьбы, иными словами — сам себе бог. Увы, и это лишь полуистина, самообман. Нет, судьба человека, хотя и зависит от него самого, но не только. Ее лепят, направляют, формуют, делают счастливой иль горестной, злой или доброй те, кто рядом, с кем вместе живешь, работаешь, борешься, кого встречаешь на дорогах и проселках годов. Каждый из них — один больше, другой, может, меньше, третий вроде б совсем мимоходом коснется души человека, а в совокупности этих больших и малых воздействий, в результате — судьба. Так оно и выходит, что все, кто вокруг,— твои боги. Боги, живущие на земле...

Я вспомнил об этой песне-раздумье, когда по документам, по рассказам людей пытался представить себе год за годом прекрасную жизнь Бахрихон Аширходжаевой.

Зябко кутаясь в шерстяную шаль, ощущая, как колкий мороз забирается в ичиги, Бахрихон торопливо шагала по темной заснеженной улице. Сразу за Анхорским мостом начинались кибитки Старого города. Бахрихон миновала Урду и по той стороне, где мечеть, превращенная теперь в кинофабрику, быстро шла к своей махалле.

Дав волю воображению, я мог бы сейчас описать, какие мысли и чувства владели в тот час Бахрихон. Не стану. Только факты, только то, что знаю доподлинно.

Уже приблизившись к Шейхантауру и свернув в переулок, Бахрихон услышала звук, очень похожий на плач грудного младенца. Правда, и кошка в любовной тоске голосит точно так же. Остановилась, прислушалась. Нет, вроде младенец. По звуку направилась к резной деревянной калитке, на доске — перекладине между деревьями — увидала ребенка. Кто, почему его здесь оставил? Может, мать где-то рядом? Но нет: вот записка. Подкидыш.

И снова не скажу я читателю, что испытала Бахрихон в эту минуту,— не знаю. Знаю только, что, несмотря на мороз, сняла с головы свою шаль, поверх тряпья обернула ею младенца и, прижимая к груди, пошла, побежала домой.

Уже только в комнате Бахрихон разглядела. Оказалось — девочка.

— Ну, хватит, хватит кричать!— с малюткой на руках металась она по комнате.— Сейчас придумаем, кто из соседок может тебя покормить, позовем — не откажет. Кто же откажет моей маленькой крошке Ильпет?

Так с тех пор, с 1928 года, и зовут ее люди — Ильпет.

И невольно задумываешься: где истоки этой доброты и сердечной отзывчивости, этой удивительной щедрости и полноты высокого материнского чувства? Где, в чем их искать? В биографии Бахрихон?

Она родилась в 1884 году в семье дехканина-земледельца. Для тех, кто знаком с положением женщины в дореволюционном Туркестане, этим сказано все: рабское бесправие и забитость, дремучее невежество и коленопреклоненная покорность воле отца, затем мужа и всегда — воле аллаха, изъявленной устами муллы, шейха, ишана. С той поры сохранилась пословица, которая очень точно определяет

отношение тогдашнего общества к женщине, к ее личности: «Лучше родить камень, чем дочь,— пригодится при постройке кибитки».

Бахрихон родилась, когда в доме справляли сорокадневные поминки по ее отцу. Воспоминания детства? Огород, в котором вместе с матерью она что-то копала, полола, окучивала; широкая степь и яркое звездное небо. И главная память тех лет — чувство постоянного голода и с малолетства внушенного страха перед богом, его земными наместниками, перед мужчиной вообще: старостой, баем, сборщиком налогов.

Двенадцать лет было девочке, когда мать, чтобы как-то спасти от нужды, выдала ее замуж. В пятнадцать Бахрихон стала матерью. Алиахун, сын ее, был ребенком хилым, болезненным. Трудно сказать, чем был подорван его организм — истощенностью матери, пятнадцатью годами ее жизни впроголодь или собственным голоданием в эти первые детские годы? Возможно, и тем и другим. Десятки раз голосила уже над ним Бахрихон, в горьких слезах с сыном прощалась. С тех пор не могла она видеть детских страданий, слышать их стонов и слез. Они причиняли ей боль, ни с какой физической не сравнимую.

В тридцать лет Бахрихон овдовела. Скудно, на кукурузной лепешке и чае жила семья до тех пор. Теперь не стало и этого. Старуха — мать Бахрихон, предчувствуя свою близкую смерть, решила увезти дочь и внука-подростка из кишлака, где никакой родни уже не осталось, в город, к каким-то давним друзьям.

Через несколько месяцев Бахрихон хоронила ее на кладбище под Ташкентом.

Но, как говорят на Востоке, даже самая длинная, самая темная ночь сменяется утренним рассветом. Забрезжил рассвет и для потерявшей уже всякую надежду вдовы. Бахрихон снова выходит замуж, и муж ее, Турды Ахун, искуснейший повар, человек большой и благородной души, дает возможность раскрыться до самых глубин чудеснейшим свойствам ее натуры.

Богатому добрым быть — была бы только охота. Вот чем бедняку доброту свою выказать — не сразу придумаешь.

Она умела быть доброй, самоотверженной, щедрой даже тогда, когда ничем, кроме сердца, поделиться с людьми не могла. Теперь, когда в доме появился достаток, удержать Бахрихон от постоянных материальных и душевных забот о детях, особенно сиротах, стало совсем невозможно. Да муж и не старался ее удержать —в этом, как и во многом другом, они были схожи.

В 1922 году, когда у них уже вместе с Алиахуном рос малыш Тохтамурад, Бахрихон принесла в дом шестимесячную Тусюн Мамурову, подобранную на Каймак-базаре. На следующий год в их семью вошла четырехлетняя нищенка, побиравшаяся у чайханы на Хадре, Ильпет Садыкова — большая Ильпет, как ее звали потом. Через три года, проходя по Чимкентскому тракту, Бахрихон увидала шестилетнюю сироту Кумрышку Александрову. Так семья Аширходжаевых увеличилась еще на одного человека. Когда через несколько месяцев после Кумрышки за дастарханом появилась Тохта Аматова, шестилетняя девочка, которую Бахрихон приметила

у хлебной лавки на пыльной Кашгарской улице, муж не выдержал:

— Ты что, всех ташкентских сирот решила собрать в нашем доме?

— А куда ж им деваться? На улице пропадут,— виновато опустила глаза Бахрихон.

— Да я не о них — о тебе беспокоюсь. Совсем ведь с этой компанией извелась, глянь — на себя не похожа.

И действительно: постоянные заботы о детях — то один захворал, то другой запропастился куда-то — вконец истрепали материнские нервы. Бывало две-три ночи кряду не спит: у Тусюн лихорадка, а с рассветом хлопот по самое горло — накорми, напои, пошей Ильпет рубашонку, проследи, чтоб Тохта в арык не свалилась, чтоб Кумрышка не дразнила соседского пса.

И все же, когда ей сказали, что в махалле появился шестилетний мальчишка Бекмирза, бежавший от мачехи, Бахрихон разыскала его и чуть не силком притащила домой.

Вот в появлении двухлетней Диларам Гарыновой Бахрихон и вправду не виновата: соседка сама принесла, сказала — отца у девочки нет, мать неделю назад схоронили. Ну, не могла ж Бахрихон отправить малышку обратно. Куда? В пустой дом? Или в могилу к матери?

Ильпет, маленькая Ильпет, в зимнюю стужу найденная между Урдой и Шейхантауром, была по счету седьмой. Но нет, не последней. Вскоре у нее появилась сестренка, такая же кроха Хабиба, а потом и четырехлетний брат Махмуджан Юсупов.

К 1933 году в семье Аширходжаевых было уже двенадцать детей: трое родных — Алиахун, Тохтамурад и дочь Ульмес, девять приемных. Старшие занимались в школе, помогали родителям по хозяйству, младших с утра и до вечера по-матерински заботливо опекала Бахрихон.

Но годы летят, и дети незаметно взрослеют. Закончив среднюю школу, ушли кто в колхоз, кто на стройку, а кто в институт. Вышли замуж, обзавелись собственной семьей и хозяйством четыре старшие дочери. За дастарханом стало просторно — только взрослый уже Алиахун, да ребята поменьше: Тохтамурад, Ульмес, Ильпет, Хабиба и Махмуджан.

Летом 1941 года Турды Ахун и Бахрихон провожали на фронт пятерых своих сыновей. В доме — самом шумном во всей махалле — стало вдруг тихо и пусто. Но ненадолго.

— Много слышала я про то, как фашисты жгут нашу землю, убивают людей,— вспоминала впоследствии Бахрихон.— А когда дошло до меня, что в Ташкент привозят сирот, поговорила я с мужем и сразу в детдом. В тот день я взяла двух ребят — Васильеву Валю и Ушакова Витю. Обоим по четыре годика было, сказали — из Воронежской области их привезли.

Это было 25 декабря 1941 года. А уже через месяц снова явилась в детдом Бахрихон и унесла оттуда десятимесячную девочку, без имени, без фамилии. Назвала ее Розой. Записали — Кадырова. Почему русской девочке узбекскую фамилию дала Бахрихон? Так

ей было легче, привычней, а может быть, и родней. По той же причине, наверно, и все другие ребята, которых растила она, наряду с русским именем, если было известно оно, получали в новой семье и второе, узбекское: Валя — она же Гавхар, Витя — Хаджимурат...

Горе обрушилось неожиданно: в феврале 1942 года скоропостижно скончался Турды Ахун — глава семьи, муж, кормилец. Что было делать после этого, как содержать Бахрихон такую семью? Алиахун, Ильпет, Хабиба идут работать в колхоз. Того, что получают они, для скромной жизни достаточно, а если хозяйство вести с головой, то хватит и еще на несколько ртов. Как бы то ни было, но осиротевшим детишкам легче будет пережить войну в ее доме, чем где-нибудь без материнской заботы и ласки. И в сентябре того же 42 года она берет в дом двенадцатилетнего подростка Мамаджана Закирова.

АКТ

Мною, общественным инспектором Сибгатуллиной Е., в связи с заявлением Бахрихон Ашрходжаевой произведено обследование её материально-бытовых условий. При обследовании установлено следующее.

Гр. Бахрихон Аширходжаева уже воспитывает четырех эвакуированных детей. В настоящее время она изъявляет желание взять на воспитание еще двоих: мальчика двух лет и девочку четырех лет, национальность безразлична.

Бытовые условия семьи гр. Аширходжаевой я нашла удовлетворительными: квартира чистая, выбеленная, дети здоровые, жизнерадостные, впечатление производят хорошее.

Полагаю, что просьбу гр. Аширходжаевой нужно удовлетворить, так как она желает помочь Родине и заменить осиротевшим детям мать.

г. Ташкент, 25 марта 1943 г.

Общественный инспектор
Е. СИБГАТУЛЛИНА.

И вот передо мной еще два договора «О приеме на воспитание ребенка в порядке бесплатного патронирования», заключенных с Бахрихон Аширходжаевой, на шестилетнюю Валю Дубровину и семилетнюю Майю Хромову.

В мае 1944 года Бахрихон берет из детдома еще двух детей — восьмилетних Александру и Андрея Морозовых. Если ко всем перечисленным прибавить еще подобранных ею на улице Неизвестную Гульсару, 1942 года рождения, и уже после войны, в 1947 году, грудного младенца Неизвестную Гульнару, то вот, пожалуй, и все прямое потомство Бахрихон Аширходжаевой—двадцать два ребенка.

Как она, простая, почти неграмотная женщина с очень скромным достатком, могла обогреть, вырастить, воспитать такую семью, где нашла для этого силы — силы физические и в не меньшей мере душевные? Не нужно доказывать: это непросто вообще, в суровые годы войны это было еще во сто крат тяжелей. Вдумайтесь, скажем, в такой документ:

АКТ

контрольного обследования семьи Бахрихон Аширходжаевой. 9 августа 1942 г.

Бахрихон патронирует четырех эвакуированных детей. Сейчас, летом, она с ними живет за городом, в колхозе им. XVIII партсъезда, где старший сын работает шеф-поваром. В том же колхозе работают ее младший сын и три приемные дочери — взрослые.

Дети все здоровы, любят все Бахрихон, она их всех обожает. Фатима, восьми лет, этой осенью пойдет в школу — русскую.

Бахрихон просила помочь ей за наличный расчет одеждой и обувью для детей на зиму, а главное — мылом: нечем стирать.

Питаются дети хорошо.

Заключение: при наличии в детском магазине промтоваров по карточкам необходимо помочь Бахрихон одеть и обуть всех детей. Сейчас же надо обязательно дать ей мыла.

Общественница
АНТОНОВА.

Но я не сказал еще об одном ребенке, в конце 41 года взятом Бахрихон из больницы,— о семилетней Вале Пастуховой. Отчего? Оттого что и десять и пятнадцать лет спустя, только вспомни при Бахрихон ее имя, и на глазах старой женщины тотчас появлялись слезы, горестно никли плечи. Она замолкала.

О печальной судьбе маленькой Вали мне рассказал, когда мы уже остались вдвоем, Алиахун.

Когда мать брала ее из больницы, предупреждали врачи: рана тяжелая, что могли — все для девочки сделали, теперь только время — либо залечит ребенка, либо... Ранение было в живот, осколком снаряда.

Шесть недель день и ночь просидела Бахрихон у детской постели. И чем только ни кормила, ни поила ее, каким докторам ни показывала! Не помогло. Пришлось возвращаться в больницу.

Оставив малышей на попечение старших, Бахрихон упросила врачей, чтоб разрешили ей при девочке быть — кормить, ухаживать, лекарства давать. На третий день — совсем уже гаснуть начал ребенок — собрался консилиум: нужна кровь.

— Кровь? Возьмите мою.

Ее успокоили, объяснили: нужно проверить, совпадут ли по группе. Ничего еще, кажется, не ждала Бахрихон с таким нетерпеньем, надеждой и страхом, как результатов анализа. Группы совпали. Когда, уложив на кушетку, у нее брали кровь, Бахрихон улыбалась.

Но ничто уже, видно, не могло спасти Валю. К утру она забилась в агонии, что-то пролепетала в бреду и замолкла.

Первое, что расслышала Бахрихон, когда пришла в сознание, был разговор двух старых медицинских сестер.

— Сама чернявая, смуглая, а дочка ну прямо из наших, смоленских: волосы — канитель золотая, глаза — голубые...— говорила одна. А другая, подумав, ответила:

— Муж, верно, русский у ей. В него и удалась... Жаль, красивая б выросла, видная...

Через много лет после этой трагической смерти Алиахун говорил:

— Сколько помню я мать, а чтоб при нас, детях, рыдала навзрыд — это в тот день, когда пришла из больницы, видел впервые. Мужа хоронила и то держалась при детях.

И еще раз пришлось увидеть старшему сыну материнские слезы. Но то были слезы другие, и повод, как он полагал, совсем уж пустячный.

Как-то весной, уже после смерти Турды Ахуна, Гавхар и Валерка гуляли на улице. Вдруг прибегают — и к матери:

— Мам, а мам! Соседский Анвар на велосипеде катается. И у Толика есть, трехколесный. Мы тоже хотим. Хоть на двух, хоть на трех. Купи, мама!

— Да где я возьму?! Тут сама, как белка в колесе, крутишься, не знаешь, где лишнюю пару галош раздобыть, а у них забава одна на уме!— вспылила Бахрихон на минуту.— Ну-ка, быстро на двор!

Первой разревелась девочка. Валерка ее поддержал. Захныкал с обидой:

— Да-а, у них настоящие мамы... У них настоящие...

Фарфоровый чайник, что держала в руках Бахрихон, грохнулся на пол. Она не нагнулась собирать черепки. Стояла, будто оглушили ее,— глаза округлились, руки повисли. Стоит. А потом как расплачется, уткнувшись в ладони, как зайдется! Малыши испугались и — деру. Алиахун растерялся.

— Вы чего, мама, чего? Успокойтесь. Ну, дети, дети малые, разве ж они понимают? Сколько сил, здоровья кладете на них. Вот она, благодарность!..

И вдруг услышал в ответ:

— Замолчи! Правы, правы они! Была б настоящая мать, давно бы купила.

Алиахун возразил:

— Тут не только настоящая мать — деньги настоящие тоже нужны. А где их возьмешь?

— Нужно достать!

На следующее утро Алиахун в сопровождении матери шел на базар. За плечами, в рогожном мешке, жалобно позвякивала швейная машина. Полпути прошли молча, потом как старший мужчина в семье Алиахун счел своим долгом сделать еще одну, уже последнюю попытку остановить, урезонить мать.

— Вот забава-то будет — с голым пузом на велосипеде!

— Не волнуйся — пузо прикроем. На руках сошью, не хуже машины.

В тот же день, очень довольные и гордые, Гавхар и Валерка выехали на улицу, оседлав новый велосипед.

Выросли, возмужали дети, во все концы родной земли разлетелись. Один стал шофером, другой — трактористом в колхозе, третий на заводе работает. Уже и внуки у Бахрихон подросли: дочка Ульмес — Юлдуз Салиева — факультет журналистики Ташкентского университета закончила. Джуманазар Алиахунов — мехмат. Да,

собственно, в том разве главное — какую профессию человек получил? Главное, что все дети Бахрихон Аширходжаевой людьми выросли — настоящими, честными, такими же щедрыми на добро, готовыми откликнуться на первый же человеческий зов, как это всю свою жизнь делала их прекрасная мать.

Уже в преклонном возрасте Бахрихон разделила свой дом — единственное свое достояние — между двумя сыновьями: Алиахуном и Виктором Ушаковым.

Она скончалась 7 февраля 1960 года. Инфаркт миокарда. На могиле ее скромный памятник, скромная надпись на нем. А нужно бы по-другому. Потому что Бахрихон Аширходжаева была той реальной, земной богиней, которая волей, умом и сердцем своим начертала судьбу двадцати двух человек. Потому что в суровые годы войны она совершила подвиг, равный подвигу тех, кто защищал Сталинград и форсировал Днепр, насмерть стоял на Курской дуге и штурмовал фашистский рейхстаг. Имя ее не может, не должно быть забыто, так же как их священные имена.

В ЧАС ИСПЫТАНИЙ

Поздним вечером расходились из театра активистки Ташкента. А на утро следующего дня, 3 января 1942 года, Бюро ЦК Компартии Узбекистана, заслушав информацию об этом собрании, постановило:

«1. Одобрить обращение женщин города Ташкента ко всем женщинам Узбекистана об устройстве и воспитании эвакуированных детей.

2. Обязать обкомы и райкомы партии, комсомольские и профсоюзные организации широко обсудить обращение женщин города Ташкента на общих собраниях рабочих и служащих предприятий, учреждений, МТС, совхозов, а также колхозников и колхозниц, придав этому делу большое политическое значение, как одному из важных мероприятий, выражающих глубокий патриотизм и чувства интернационализма народов Советского Союза. На осуществление этого важнейшего мероприятия мобилизовать широкие массы трудящихся».

Говорят, истинная сущность души человеческой познается в беде, в трудный час человеческой жизни. Это справедливо, наверно, и в расширительном смысле: подлинная сущность народной души полнее, глубже всего раскрывается на изломе, в трагический час народной истории.

Я выбираю из бурного потока, рожденного обращением женщин Ташкента, только частные факты, отдельные имена.

ЯНГИЮЛЬ. При семи колхозах района организуются детдома для ребят, эвакуированных из прифронтовой полосы. Колхозники готовятся к встрече. В одном из колхозов по инициативе его председателя Хамракула Турсункулова создана специальная швейная мастерская, которая шьет для будущих воспитанников детдомов одежду и одеяла. Районный комитет партии вместе с отделом народного образования занимается подбором руководителей детских домов в колхозах, а также созданием русских групп в сельских школах, чтобы эвакуированные

детн моглн в нормальной обстановке продолжнть прерванную учебу. К 15 января будет закончен ремонт помещенйй, отведенных под детдома.

БУХАРА. В трех колхозах Кзылтепинского района открываются детдома, в которых уже все готово к прнему воспнтанннков, 396 колхознков района нзъявили желанне усыновить оснротевшнх детей. 139 эвакуированных детей уже взяты на воспнтание. По области собрано 6890 детскнх вещей.

Колхозы Ромнтанского, Вабкентского, Каршннского районов взяли на свое полное содержанне детдом, в котором 125 эвакуированных детей. В колхозах Шафирканского района создано 9 детдомов. Их контингент — эвакуированные.

Письмо В. Егоровой — колхозницы из Одесской области:

«Я эвакуировалась вместе с сыном, трехлетним Юриком. В дороге болезнь разлучила меня с ребенком. 17 декабря я вышла из больницы и начала искать сына. Из ташкентского Карантинного детдома меня направили в детсад № 140. Там меня ласково встретили и провели в спальню, где в это время отдыхали дети. Среди них находился мой Юрик. Не было предела моей радости и благодарности. Я узнала, что над моим сыном патронировала Серафима Федоровна Кечек — служащая Наркомзема. Вечером я с сыном пошла к ней. Как родную приняла меня Серафима Федоровна и ее семья. У Юрика очень много игрушек, прекрасная кроватка, ему сшили меховое пальто, шапку. Я видела, как больно было Серафиме Федоровне расставаться с Юриком. Она привязалась к нему как мать».

ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ. 8 новых детдомов создано колхознмками Верхнечирчикского района.

ТАШКЕНТ. Вопрос о помощи эвакуированным детям обсуждался на заседании педагогического совета школы № 115. Семь учителей во главе с директором школы А. Гафуровым заявили о своем желанни взять на воспнтанне оснротевших в войну ребят.

Заслуженный учитель республики, создатель первого узбекского советского букваря Акилхан Шарафутдинов пришел с заявлением в Наркомпрос:

— Хочу взять в семью малыша, пострадавшего от фашистов.

— Да, но у вас семья и без того немалая,— усомнился инспектор, взглянув на документы учителя.

— Семья как семья — десять душ. К тому же двое ушли на фронт: один — командир, другой — доктор. Так что место для ребенка найдется.

Этим ребенком оказался Леня Хорошинский.

Вслед за почтенным учителем явилась в Наркомпрос Санобар Ниязалиева, ученица 10 класса:

— Мой папа, рабочий фабрики «Уртак», просит дать нам на воспитание мальчика, у которого погибли родители.

Санобар возвращалась домой вместе с синеглазым Иваном, привезенным в Ташкент из Рязани. Теперь его величают Иван Умарходжаевич.

Из книги приказов Наркомпроса УзССР:

«В связи с наплывом эвакуированных детей из прифронтовой полосы удовлетворить ходатайство САГУ и разрешить открыть дополнительную группу в 25 человек при детсаде № 115».

Многих детей разобрали другие детсады города: Союзунивермага — шестерых, Узбекбрляшу — десятерых, Сельмашзавода — пятнадцать...

Резолюция на заявлении:

«Удовлетворить просьбу заслуженной артистки республики Лютфиханум Сарымсаковой о выдаче ей эвакуированного ребенка на воспитание. Инспектор Управления детдомами Владимирова».

В детдоме № 14, на улице Ассакинской, целый день звонит телефон. Секретарь терпеливо твердит:

— Эвакуированных детей больше нет — всех разобрали. Позвоните завтра.

На следующий день в детдоме появился профессор-дерматолог Зельманович — просит ребенка. Профессору показали только что прибывших. Осмотрел, выбрал самого хилого, покрытого язвами.

— Вот этого, если можно. Здоровых у вас и без меня расхватают. А с ним... я его живо вылечу.

Слова профессора оправдались: к вечеру всех разобрали. Остался только один — самый худой, некрасивый. Когда дежурная воспитательница собиралась уже запирать дверь, пришла молодая женщина.

— Хочу взять ребенка. Документы у меня оформлены.

— Вот только один и остался,— ответила воспитательница.— Иди сюда, Митя.

Ребенок продолжал сидеть за столом, уткнувшись носом в картинку.

— Ну чего же ты, Митик? Иди, тетя хочет с тобой познакомиться,— ласково повторила воспитательница.

— А меня все равно никто не возьмет: я рыжий и конопатый,— от стола отозвался ребенок.

Женщина кинулась к нему, обняла.

Через час они уходили, крепко держась за руки.

САМАРКАНД. Колхозница Максумова из пригородного колхоза удочерила русскую девочку Тоню. Украинского мальчика взяла на воспитание колхозница Лейла Саидова из колхоза имени Орджоникидзе. Из далекого кишлака приехала за осиротевшим ребенком колхозница Болтабаева.

ВАБКЕНТ. Заведующая отделом кадров районного комитета партии Абдуллаева приютила польского мальчика Карла. Теперь у нее пять детей.

Сейчас бы самое время рассказать о людях большой и прекрасной души — ташкентском кузнеце Шаахмеде Шамахмудове и его жене Бахри, усыновивших в годы Великой Отечественной войны 14 детей различной национальности. Но стоит ли повторяться? Благодаря сценарию видного узбекского писателя Рахмата Файзи и картине «Ты не сирота», поставленной по этому сценарию режиссером Шухратом Аббасовым на киностудии «Узбекфильм», а также

роману «Его величество Человек» того же Рахмата Файзи о подвиге семьи Шамахмудовых знает сегодня вся наша страна. Мне придется ограничиться лишь констатацией факта: Шаахмед и Бахри Шамахмудовы были одними из первых, кто откликнулся на детское горе.

В начале января 1942 года по Андижанской области было взято на воспитание или — формулировка из документов тех лет — «отдано в дети» 116 эвакуированных ребят, по Самаркандской — 148, по Ташкентской — 4672.

И все же это было только начало. Масштабы бедствия диктовали необходимость создания разветвленной, всеохватывающей службы спасения.

СОВНАРКОМ УзССР И ЦК КП(б) Уз

постановление № 31

Об устройстве и воспитании эвакуированных детей и сирот.

Придавая большое значение устройству и воспитанию эвакуированных детей и сирот, СНК УзССР и ЦК КП(Б)Уз постановляют:

1. Создать республиканскую комиссию по устройству и воспитанию эвакуированных детей и сирот в следующем составе: тт. Абдурахманов (Председатель Совнаркома УзССР, председатель комиссии), Юсупов (Первый секретарь ЦК КП(б)Уз), Ахунбабаев (Председатель Президиума Верховного Совета УзССР), Мавлянов (секретарь ЦК КП(б)Уз), Раззаков (нарком просвещения), Рахимов (первый секретарь ЦК ЛКСМУз)...

2. Поручить республиканской комиссии немедленно приступить к работе, поставив перед собой следующие задачи:

а) к 10 января с. г. произвести учет всех эвакуированных в Узбекистан детских домов и детей, потерявших родителей;

б) выявить всех неустроенных эвакуированных детей по городам и железнодорожным станциям Узбекистана и немедленно разместить их как в коллективном, так и в индивидуальном порядке. Для этой цели послать по городам и железнодорожным станциям Узбекистана группу ответственных работников для сбора беспризорных и безнадзорных детей. При устройстве на воспитание детей широко использовать замечательный опыт ташкентской парторганизации по размещению детей на индивидуальное воспитание;

в) организовать общественное шефство над детскими домами по примеру шефства над госпиталями;

г) широко использовать по примеру г. Ташкента добровольную сдачу одежды для детей.

3. Обязать обкомы партии, облисполкомы и Оргкомитеты Верховного Совета УзССР создать аналогичные областные и районные комиссии по устройству и воспитанию детей.

4. СНК УзССР и ЦК КП(б)Уз обращают внимание всех партийных, советских организаций и всей общественности республики на особую важность работы по устройству детей, оставшихся без родителей в дни Отечественной войны, и, поддерживая инициативу ташкентской парторганизации, требуют развернуть и организовать работу среди населения по принятию детей на воспитание в индивидуальном порядке, как выражение чувства коммунистического отношения к детям, родители которых борются и погибают за нас, и как глубокое выражение интернационализма и братской дружбы народов Советского Союза.

5. Поручить комиссии послать группу работников за пределы республики на крупные узловые станции (Арысь, Чкалов, Куйбышев) для выявления неустроенных эвакуированных детей, находящихся на железнодорожных станциях, и организации перевозки их в Узбекистан для устройства как в индивидуальном, так и в коллективном порядке.

Председатель Совнаркома УзССР
А. АБДУРАХМАНОВ

Секретарь ЦК КП(б)Уз
У. ЮСУПОВ

7—В января 1942 г.
г. Ташкент

СУДЬБА СВЕТЛАНЫ ВИТОЛИНОЙ

Просматривая Регистрационную книгу детей, взятых на патронирование из ташкентского Карантинного детдома, я остановился на записи: «117. 5 января 1942 г. Бурдыкина Света, 1937 г. Договор № 4431». Тут же значился ташкентский адрес патрона, его фамилия, имя, отчество — Витолин Александр Карлович.

Интересно, какова судьба этой Светы, как сложилась ее жизнь в доме Витолиных, где и кто она ныне?

Смотрю дальше, пробую по документам проследить, что происходило со Светланой Бурдыкиной.

Ценой длительных поисков нахожу ее имя в Книге расторгнутых договоров: запись 99. 16 июня 1942 г. По заявлению патрона Витолина А. К. договор расторгнут.

Расторгнут — значит, девочка возвращена в детский дом?

Становится обидно и больно. Мысленным взором я уже отчетливо вижу эту тяжелую сцену: рослый мужчина ведет по улице пятилетнюю девочку. Она, конечно, не знает, не догадывается, куда он ведет ее, отчего, будто клещами зажав ее руку, тянет, торопится так, что она чуть не падает. Девочка обо всем догадается позже — когда, заведя в большой дом, он подтолкнет ее к чужой тете, а сам что-то скажет с виноватой усмешечкой и скроется.

Но постойте: а что означает эта приписка — «См. постановление 211»?

Лихорадочно ищу постановление 211. Вот оно, с печатью и подписями.

Сколько раз давал я уже себе зарок избегать поспешных суждений! Разберись, обдумай все до конца, потом уж суди. Так нет же, не терпится: увидел, вскипел, заклеймил!

Постановление 211, утвержденное отделом СПОН (социально-правовой охраны несовершеннолетних) 16 июня 1942 года: «Удовлетворить просьбу А. К. и А. А. Витолиных об усыновлении патронируемой ими Светы Бурдыкиной, 5 лет». Отныне Света Бурдыкина будет именоваться Светланой Александровной Витолиной. Патроны пишут в своем заявлении, что факта усыновления скрывать от Светы не собираются. Чем таиться всю жизнь и каждое мгновение ждать,

замирая от страха, не узнает ли Света, что она неродная, некровная (а это, свались такое на голову,— тяжелая душевная травма), лучше уж сразу, чтоб все было открыто и прямо.

Прочел — от души отлегло. Мысленно извинился перед Александром Карловичем. Подумал, что при таких обстоятельствах можно бы попытаться разыскать Светлану Витолину. Но где найдешь ее через столько-то лет?

Помог адресный стол — сначала ташкентский, потом навоийский. И вот передо мной письмо Светланы Александровны, теперь уже не Витолиной, а Стуликовой.

«Да, я и есть та самая Светлана, которую Вы разыскиваете — одна из многих детей, потерявших в войну родителей и эвакуированных в Узбекистан. Мама живет сейчас со мной и моей семьей — переехала после смерти отца, а ее мужа Витолина Александра Карловича, человека, не побоюсь сказать, замечательного.

Вы просили меня написать о себе, о том, как сложилась моя жизнь в доме Витолиных. Мне бы хотелось все, о чем напишу, посвятить памяти своего приемного отца, и пусть это вступление не покажется Вам напыщенным.

Своих настоящих родителей я не помню совсем, как не помню вообще своего довоенного детства. Единственное видится ясно: какие-то двое незнакомых мужчин бросают в кузов машины наши домашние вещи. Поверх всякого скарба положили мое красное одеяльце в белом пододеяльнике и на него усадили меня. Машина тронулась, покатила, а я глядела на яркое звездное небо. Это небо запомнилось мне на всю жизнь — такого я уже не видела никогда. Потом, не знаю уж почему, меня одолел страх, я стала барахтаться и потеряла белый валенок, что был у меня на ноге. Ищу, ищу его, а найти не могу. И тогда я громко расплакалась. Мужчины остановили машину, усадили меня в кабину между собой, и мы поехали дальше. Вот это единственный кусочек, который сохранился в моей памяти от «той» жизни. Вероятно, это была эвакуация.

В январе 42 года Анна Алексеевна взяла меня из детдома, что находился на улице Весны. Как позднее рассказывал отец, документы мне были выданы на имя Бурдыкиной Светланы Григорьевны, 1936 года рождения, из Воронежа. Фамилию эту помню хорошо, потому что видела справку, присланную отцу из Воронежа, в которой указывалось, что граждане с такой фамилией не проживают ни в городе, ни в области.

Спустя какое-то время, когда я уже жила у новых родителей, пришла какая-то женщина из детдома и забрала свидетельство о рождении С. Г. Бурдыкиной. Оказалось: документ выдан ошибочно — Бурдыкина это не я. Так была порвана последняя ниточка, связывавшая меня с прошлым, я осталась совсем безо всяких документов. Вопрос о моем возрасте остался открытым: соседи наши склонны были считать меня родившейся в 1936 году, так как, по их мнению, я выглядела старше своих лет и именно потому так хорошо

занималась в школе (а в школу я пошла в 1945 году). Отец же с матерью полагали, что я, всего вероятней, родилась в 1938 году, поскольку не помнила ни родных, ни близких, не знала даже своей фамилии. Вообще-то трудно было тогда определить возраст эвакуированных детей: война сравняла детские возрасты и наложила одинаковые маски на лица — бледность, грустный взгляд взрослого человека, худоба. Такой описывала меня наша соседка тетя Поля Кербулаева, с которой мама приходила за мной в детдом.

Только в четырнадцать лет я получила официальный документ о своем рождении. Он был выдан ЗАГСом Ленинского района Ташкента на основании заключения экспертной комиссии, которая, сообразуясь со своими наблюдениями и моим пожеланием, установила год моего рождения 1938-й. День и место рождения я выбирала сама — 8 ноября, гор. Воронеж. Почему Воронеж, я и сама толком сказать не могу. Потому, вероятно, что вместе со мной находились тогда в детдоме воронежские ребята,— ведь у Бурдыкиной в свидетельстве, отчетливо помню, стояло «Воронеж». Значит, и я тоже могла из тех краев быть. Где-то же, в конце-то концов, я родилась!

В детдом привезли меня вечером, когда дети бежали в столовую. Помнится темный коридор, я стою у стенки. Руки — за спину, гляжу исподлобья, хочется плакать. Очень шумно, сплошной топот. Освещение тусклое — кое-где висят керосиновые лампы. Подбежали ребята, спрашивают: «Как тебя звать?» Я — угрюмо: «Света». Повели кушать. Был, кажется, борщ. Надолго потом невзлюбила я это блюдо. Столовая показалась большой, шумной и темной. Это одна отложившаяся в памяти сцена.

Другая: мы спим по двое в обыкновенных детских кроватках. Каждое утро просыпаемся мокрыми и выясняем, кто виноват. Потом сидим за маленькими столиками и ждем, когда принесут еду.

Вспоминается день, когда ребят куда-то возили в открытых машинах. Они были нарядные и очень веселые. У меня до сих пор живо ощущение горечи оттого, что все куда-то едут, а меня не берут. Я просто-таки сгорала от желания узнать, куда и зачем их везут. А еще было ужасно обидно, что не дали мне нарядной одежды. Я слонялась по комнатам, приставала к воспитательницам и все клянчила: дайте мне красное платьице в белый горошек. Наконец — чтобы отвязаться, наверно,— на меня надели красное платьице в белый горошек. Я походила в нем сколько-то времени, потом его с меня сняли.

Могу рассказать и о том, как забирали меня из детдома. Было это, по-моему, утром. Я стояла в кровати и держалась за спинку. В комнату вошли две женщины и направились ко мне. Одна из них улыбаясь спросила: «Светочка, ну-ка скажи, кто из нас твоя мама?» Я подумала, перевела взгляд с одной на другую и указала на ту, что задавала вопрос. Как потом уже выяснилось, это была тетя Поля. Она сказала: «А ты и не угадала. Вот твоя мама». Ну что ж, уговаривать я себя не заставила — мама так мама. Ведь каждый ребенок знает, что у него должна быть мама и что рано или поздно она его найдет.

Потом, держа за руку, мама вела меня через двор, где суждено было пройти всему моему детству и юности. День, помню, был солнечный. Мама усадила меня за маленький столик, налила что-то в тарелку, нарезала хлеб. Я съела кусочек и стала собирать со стола крошки. Мама спросила: «Хочешь еще?» А мне боязно попросить.

Отца я увидела позже: не знаю, может, в то время он куда уезжал. Я увидела его вечером — горела уже керосиновая лампа. Он открыл дверь, и я обомлела — таким красивым, стройным, необыкновенным он мне показался. Он присел на корточки и протянул ко мне руки. С этого времени отец стал для меня самым дорогим человеком.

О нем и о матери я и хочу сейчас рассказать.

Мама, Анна Алексеевна Витолина, в девичестве Шишкина, родилась в 1903 году в Оренбургской губернии. В Среднюю Азию ее семья — мать, отец и четверо детишек — перебралась в те времена, что так ярко описаны в книге «Ташкент — город хлебный». Поселились они на улице, на которой и прошли все годы ее жизни в Ташкенте, позднее названной улицей Першина. Образования мама не получила никакого, если не считать одного класса начальной школы: для большего возможностей не было. Да в те времена, как я понимаю, это было и не столь обязательным.

Шестнадцати лет мама вышла замуж, однако жила с мужем недолго — разошлась. В 1938 году вышла замуж вторично, за Витолина Александра-Рудольфа Карловича, с которым и прожила до дня его смерти. Детей у них не было.

Отец, Витолин Александр-Рудольф Карлович, родился в 1897 году в Латвии, в ту пору Лифляндии, в семье лесничего. Закончил четыре класса церковно-приходской школы. В 1916 году был призван в царскую армию. Сразу же после революции их дивизия перешла на сторону Советской власти — знаменитая 1 стрелковая латышская дивизия! В 1918 году отец вступил в ряды большевистской партии. Годы революции, гражданской войны, становления Советской власти — все это бурное время отец провел в Красной Армии, где не только воевал, но и получил образование всестороннее. К концу службы он занимал должность военного прокурора и имел командирское звание — вот только какое, не знаю. В 1938 году отец демобилизовался и вскоре начал работать в «Узглавторчермете».

Начиная с 1952 года отец сильно болел: склероз, сердечные приступы, болезнь почек — следствие нелегкой жизни. С 1961 года — пенсионер, а с 1964 — персональный пенсионер республиканского значения. Умер он 7 июля 1967 года.

Отец никогда меня не ругал, а если и выговаривал, то спокойно, беззлобно и не очень обидно. Конечно, я и шкодила иногда — на то и ребенок. Вечерами, если не был в командировке, отец разучивал со мною стихи, вначале рассказав мне о том, кто их написал. Помнится, стою, руки по швам, и читаю: «Поздняя осень, грачи улетели, лес обнажился, поля опустели...» или «У лукоморья дуб зеленый...» Отец хорошо рисовал, вернее — срисовывал. У нас с ним был альбом, куда перерисовывались только те картинки, которые нравились и мне, и ему. Там и наша комната была нарисована. Я

так горевала, когда этот альбом пропал. А какую куклу из обыкновенных лоскутиков и маленькой глиняной головки соорудил мне отец! Но главным предметом моей детской гордости была сделанная им коляска, на которой можно было возить кошку или собаку. Деревянная, с осью и поворачивающимися колесами — ну просто вся наша дворовая ребятня исходила от зависти!

Несмотря на большую занятость по работе и партийной учебе, отец всегда находил время со мной заниматься и делал это, по-моему, с удовольствием. Я никогда не слышала от него: «Отстань, мне некогда!» или чего-то подобного.

В 1945 году я пошла в школу и, честно скажу, до четвертого класса всеми своими успехами обязана только отцу. Он научил меня красиво писать. Для этого каждый вечер отец линовал целую стопку бумаги, карандашом писал буквы, а я обводила их чернилами. Своей жадной любовью к книге, аккуратностью в обращении с нею я обязана тоже отцу. В первых классах мне тяжело давалась арифметика. Сколько вечеров провел отец со мной за столом, тысячу раз объясняя решение задачи! Только в пятом классе — не знаю уж почему — я стала вдруг сама тянуть математику. В общем, то, что четыре года подряд я была круглой отличницей, это только отец.

В школе учителя меня баловали и очень бережно ко мне относились. Я была нервной, обидчивой, впечатлительной, но их постоянное внимание ко мне, чуткость и ласка постепенно выправили мой тяжелый характер, сделали меня мягче, бойчее. Это, наверно, мама уж позаботилась — учителям рассказала, кто я, откуда да как нужно со мной обращаться.

В детстве, лет до двенадцати, я очень много болела, а самым опасным был туберкулезный бронхоаденит. Забота родителей, постоянный врачебный уход, санатории три-четыре месяца в год — и я избавилась от болезни. Как сейчас помню врачей санатория. Чудесные, добрые, сердечные люди! Вообще, должна сказать прямо: я в большом долгу перед всеми взрослыми своего детства.

В 1956 году я окончила школу и в том же году поступила в Ташкентский политехнический на химико-технологический факультет. С третьего курса ушла в декретный отпуск, родила дочку, а потом уже и работала и занималась. Это были нелегкие и все же очень счастливые годы: интересная работа в институте «Узгипротяжпром», возможность учиться, ребенок, ну и, конечно, любовь! Ведь мне тогда было немногим более двадцати!

По окончании института (а я закончила его в 1965 году) — распределение. Навои. В то время мой муж, мой будущий муж, был там в командировке — пускал первую очередь цеха слабой азотной кислоты.

Сейчас у нас трое детей, все девочки: Леночка — 1960 года, Софья — 1966 и Верочка — 1969-го. Мы очень счастливы: здоровы, здоровые дети, все вместе, обеспеченная жизнь, интересная работа. Если спросить: довольны ли мы жизнью и, в частности, я? Да. Иной раз кажется даже, а не мираж ли все это, заслужила ли ты?

У нас много книг, музыкальных записей. Можем поехать куда захочется.

О муже моем можно написать еще больше. Он все помнит. Только у него — Ленинград, блокада, детдом в Сибири, ремесленное училище в Кемерово, техникум там же. Он большой умница, и его здесь все уважают.

На зимние каникулы собираюсь со старшей дочкой в Ташкент. Хочу с ней сходить в театр Навои на все дневные балеты. Я очень люблю этот театр и просто мечтаю проверить его власть над собой. Буду довольна, если она сохранилась, иначе — обмещанилась. Хочу в Аленушке пробудить интерес к этой чистой и трепетной красоте. Любопытно, как на нее это подействует?

А вот самое главное я оставила под конец. Это главное — моя глубокая любовь к Узбекистану. Узбекистан — моя родина, родина настоящая. Ему я обязана всей своей жизнью, счастьем, здоровьем. Даже когда я бывала в России, которая мне близка всем, меня все равно тянуло домой. Я даже представить себе не могу, что могла бы жить где-то еще, кроме Узбекистана. Я хорошо узнала народ, его традиции, его жизнь. У отца были друзья — колхозники из Чиназа. Они часто бывали у нас. И меня к ним возили нередко. Еще десятилетним ребенком я на себе ощутила гостеприимство и огромную доброту этих людей, этого благородного, душевно открытого народа. К его обычаям и традициям в нашем доме огромное уважение.

Мне хочется закончить свое письмо словами Владимира Луговского, для которого Средняя Азия стала тем же, чем для меня.

Кровью омытую,
в темном поте,
Древнюю землю —
своей назовн.
Ты на земле этой дома.
Ты — дома!
Ее у тебя не отнять ннкому!
Многое вижу теперь по-другому,
Многое, лншь умнрая, пойму.

Вот и все, что мне хотелось сказать. Наверное, нужно бы как-то иначе: с одной стороны — покрупней, с другой — подетальней. Да я ведь не журналист, не писатель, я — химик. К тому же писать о себе, когда ты обыкновенная, ничем не выдающаяся личность,— дело не очень простое».

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ

В зависимости от места, должности, участка, на котором работал, каждый причастный к делу приема и устройства эвакуированных детей вспоминает что-то свое — какие-то только ему известные факты, врезавшиеся в память события, имена и фамилии. Но есть одно имя, которое с благоговением и любовью поминается каждым, кто имел отношение к детям войны, независимо от места, какое он занимал в этой большой эпопее, своей должности и участка работы. Это имя — Евгения Валерьяновна Рачинская.

Бывший директор ташкентского детдома № 3 А. Кордова рассказывает:

«В коллективе Наркомпроса выявилось тогда немало инициативных людей, работниц с добрым и отзывчивым сердцем, служивших примером для всей массы женщин-общественниц столицы и республики. Елена Георгиевна Самойленко, Софья Аркадьевна Журавская, Зайтуна Усманова, Фрида Абрамовна Триерс — все эти коммунистки Наркомата просвещения во главе с зам. наркома Евгенией Валерьяновной Рачинской безотказно и бескорыстно, в любое время помогали нам советом и наставлением, своими энергичными действиями поддерживали всякое хорошее начинание работников детских учреждений, боролись за каждого осиротевшего ребенка, за каждую детскую жизнь, надломленную войной. Мы шли тогда в кабинет зам. наркома как в некий штаб, где зачастую и ночью можно было застать склонившуюся над проектом докладной записки или приказа Евгению Валерьяновну. Сюда стекалась и здесь концентрировалась информация со всех уголков республики о ходе работ по распределению и размещению, обеспечению, воспитанию, розыску и усыновлению эвакуированных детей. Отсюда же велось оперативное руководство всей этой большой и сложной работой. В кабинете Евгении Валерьяновны мы получали приказы, поручения и просто советы, как лучше устроить эвакуированных малышей, куда направить ослабленных, истощенных, чем скрасить их тяжелую участь».

С чувством глубокого уважения, как о мудром наставнике и доброй души человеке пишет о Рачинской бывшая в годы войны директором ташкентского детского дома № 14 Т. Шанаева:

«Со стороны Наркомпроса я ощущала постоянную поддержку, заинтересованное внимание к моей работе по руководству учебно-воспитательным процессом и хозяйственной деятельностью детдома. Ведь я стала директором детдома № 14, когда мне был 21 год. Наверное, поэтому так заботливо и тепло относились ко мне и Рачинская, и другой зам. наркома Порошин, и умудренные опытом работники Управления детдомов Самойленко Елена Георгиевна, Наталия

Павловна Крафт. Они-то и поддерживали меня, внушали уверенность в своих силах, хотя никогда и не были ко мне снисходительны. Скорее даже наоборот: требовательны до предела.

Евгения Валерьяновна часто навещала наш дом. Ее интересовало буквально все — и как питаются дети, и как одеты они, и какая температура в комнатах, и даже какие песни разучиваем мы с ребятами.

Однажды, стоя во дворе, Евгения Валерьяновна расспрашивала меня, как мы устроили вновь прибывшую партию детей, а тут как раз подходит к нам мальчик лет четырех из новеньких и с каким-то вопросом ко мне. Когда малыш отошел, Евгения Валерьяновна говорит: «Хороший мальчонка. Как его имя?» Я не знала. Рачинская поглядела на меня с укоризной, сказала сердито: «Ну как же можно не знать имен всех детей? Вы же им мать заменяете. Что бы вы подумали о матери, которая имя своего сына забыла?»

Что испытала я в ту минуту, описывать нет нужды. И не было мне оправданием ни то, что этот воспитанник только-только прибыл в детдом, ни то, что таких сыновей и таких дочерей было у меня 175. Этот урок я запомнила навсегда, и не было больше в жизни моей случая, чтобы я не знала или забыла имя ребенка, откуда он, какая нужда у него, какой надеждой живет.

Евгения Валерьяновна поддерживала меня и тогда, когда по рекомендации комсомола я вступала в партию. Это было в 1943 году.

У меня посейчас, четверть века спустя, сохранились к ней особо теплые чувства — как к человеку, руководителю, воспитателю. Я не помню, чтобы она когда-нибудь повысила голос, но помню, как много значила для меня каждая встреча, каждая беседа с этой замечательной женщиной».

Письмо заслуженного учителя Узбекистана Арфиара Давидовича Давидяна, адресованное Евгении Валерьяновне Рачинской, пришло, когда ее уже не было. Вот оно с небольшим сокращением:

«... Особенно часто вспоминаются военные годы, та поистине титаническая работа, которая была проведена Наркомпросом нашей республики по спасению жизни детей, обездоленных войной, оставшихся без родителей и близких, без дома, нуждавшихся в куске хлеба. Невозможно это все представить, не вспомнив, многоуважаемая Евгения Валерьяновна, Вашей огромной роли как руководителя Наркомата, Вашей кипучей энергии и повседневной заботы об осиротевших ребятах.

Работая по сей день руководителем детского дома-школы, всегда помню Вашу строгость к тем, кто не отдавал всего себя делу обеспеченья и воспитания эвакуированных детей. В те тяжелые годы каждое Ваше посещение детского дома, каждое Ваше наставление поддерживало меня и многих, многих других работников нашего сложного и многотрудного участка работы.

Вернувшись с фронта, я получил назначение возглавить детдом. Это было в декабре 1943 года. И если с тех пор я нахожусь на этой работе, то благодаря во многом тому, что первым моим

учителем были Вы, учителем строгим, но и очень чутким, доброжелательным. Вы меня научили быть принципиальным, быть нетерпимым к тем, кто обижает детей.

Вспомните Вашу поездку в Карадарьинский детдом № 18, где я тогда был директором, Ваши обоснованно строгие замечания и наставления. Я был тогда еще совсем молодым и стоял перед Вами, как провинившийся школьник. Вспомните, как после того Вы срочно вызвали меня в Ташкент и лично следили за тем, чтобы мне было выдано все обмундирование, необходимое для моих питомцев.

Да, это Вы научили меня работать, отдавая всего себя воспитанию детей».

В январе 1942 года Е. В. Рачинская была назначена ответственным секретарем Республиканской комиссии по устройству и воспитанию эвакуированных детей, а вскоре и председателем Ташкентской городской комиссии.

Рассказ о деятельности Республиканской, областных и городских комиссий, их представителей — занимавших официальные посты в партийных и советских органах, в наркоматах, на предприятиях, в учреждениях, институтах и общественных организациях и никаких постов не занимавших — простых женщин-общественниц — это и будет по сути всеохватывающим, многоплановым, но в то же время единым по смыслу и общей идее эпическим рассказом о том, как совершался Узбекистаном в годы войны великий гуманистический подвиг.

Центральная и местные комиссии были наделены широкими полномочиями, обладали властью и средствами для решения самых сложных и острых проблем, а таких в тяжелых условиях войны было немало. Координируя и направляя деятельность этих комиссий, ЦК Компартии Узбекистана, Верховный Совет и Совнарком республики одновременно наладили и обратную связь: открыли и обеспечили им возможность постановки принципиальных вопросов о приеме, устройстве, обеспечении и воспитании эвакуированных детей прямо и непосредственно перед партийным руководством республики, вплоть до первого секретаря ЦК Усмана Юсупова, Верховным Советом и его Председателем Юлдашем Ахунбабаевым, Советом Народных Комиссаров Узбекистана и его Председателем Абдужаббаром Абдурахмановым.

Как вспоминают многие участники той эпопеи, слово «дети» обладало чудодейственной силой. Достаточно было произнести его вслух, и тотчас открывались двери самых высоких начальственных кабинетов, безотлагательно решались дела, для которых в иной ситуации потребовались бы дни и недели, казалось бы, невозможное вдруг становилось возможным, осуществимым.

Комиссии — Республиканская и те, что были созданы на местах,— стали ядром, вокруг которого сплотились тысячи добровольных помощниц — женщин-общественниц, этих, не побоюсь такого сравнения, рядовых бойцов службы спасения.

Для оперативного решения задач, определенных Центральным

Комитетом партии и Совнаркомом Узбекистана в приведенном выше Постановлении № 31, Республиканская комиссия на первом же своем заседании образовала пять подкомиссий:

а) по устройству, учету и розыску детей — И. Раззаков (нарком просвещения УзССР, председатель), И. А. Гагин (зам. наркома внутренних дел. зам. председателя), Сагатова (ЦК ЛКСМУз), С. Н. Юлдашева (Наркомздрав), Е. П. Пешкова;

б) по организации шефства над детскими домами — Мавлянов (секретарь ЦК КП(б) Уз, председатель), Ю. Л. Степаненко (зам. пред.), Сара Ишантураева, Г. И. Абдурахманова, Рябикова (работница Текстилькомбината);

в) по культурному обслуживанию детских домов и организации вечеров в фонд помощи эвакуированным детям — Джалилов (председатель), Халима Насырова, Корней Чуковский и другие;

г) по сбору одежды и обуви для детей — Е. В. Рачинская (председатель), Кабулова, Родичева, Миронова;

д) по организации детдомов в колхозах и совхозах — Ю. Ахунбабаев (председатель), Э. Рахимов (зам. пред.), Насырова (Союз начальных школ), Исамухамедова, Диденчук.

Конечно, очень заманчиво, порывшись в архивах, разыскать решение Республиканской комиссии № 1, узнать, с чего начиналась ее деятельность. Но такого решения не найти — все пять подкомиссий начали работу одновременно, каждая в своем направлении, и, стало быть, первых решений появилось сразу же пять. Об одном из них я расскажу.

По рекомендации подкомиссии, призванной заниматься устройством, учетом и розыском детей, в феврале 1942 года создаются вагоны-приемники, которые будут курсировать в трех направлениях: Ташкент — Каган (директор К. Ефименко), Ташкент — Арысь (директор А. Божко, позднее А. Черкашин). Коканд — Андижан — Наманган (директор А. Белкин). К каждому из них прикрепляется медсестра. Теперь, не дожидаясь пока ребенок разыщет эвакопункт, районо или одну из местных комиссий и явится туда за помощью, помощь сама придет к нему, на какой бы станции или полустанке он ни был.

В течение трех месяцев курсировали по дорогам Узбекистана и Южного Казахстана эти вагоны, подбирая безнадзорных детей и подростков. За это время только вагон, совершавший поездки в Арысь и обратно, доставил в Ташкент 217 осиротевших, отставших в дороге, беспризорных ребят. С 9 мая решено было оставить на линии только один вагон. 11 сентября 1942 года и этот, сослужив свою добрую службу, был ликвидирован, как сказано в приказе Наркомпроса,— «за ненадобностью».

За ненадобностью, потому что к осени 42 года вся республика — каждый вокзал и базар, каждая улочка и махалля были распределены и ежедневно, ежечасно «прочесывались» целой армией женщин-общественниц — добровольных помощниц местных комиссий. Всех их не перечислишь, не назовешь. Вот лишь одна — Шарафат Ташбаева, член Ташкентской городской комиссии.

Человек, родившийся до революции, почти никакого образования не имевший, она не выступала на митингах и широких собраниях. Изо дня в день обходила Ташбаева дворы в махалле Жаноб, где знал ее каждый, и с каждой хозяйкой свой разговор затевала. Одной расскажет про то, как детей, осиротевших в войну, привезли вчера на вокзал, как люди с отзывчивым сердцем берут их к себе. Глядишь, назавтра эта соседка и сама ведет в дом сироту-мальчугана. В другом дворе намекнет Шарафат, что халат, жакет, сапоги, из которых соседская дочь давно уже выросла, можно б сдать в городскую комиссию — ой, как нужны сейчас всякие вещи, чтоб одеть-обуть бездомную детвору! А у третьей, многодетной соседки, муж которой на фронте, расспросит, в чем та нуждается, какая помощь ей требуется, и сама же добьется потом, чтоб помощь эта была солдатке оказана сполна и без промедлений. Но и это не все. Ташбаева неусыпно следит за тем, чтоб в их махалле ни одного безнадзорного-беспризорного не было. Увидит — с собой уведет, сдаст в детприемник и долго еще будет ходить туда, спрашивать, где да как ее найденыш пристроен. Если поблизости у людей оказался, пойдет в этот дом, проверит, хорошо ли ему, ласковы ль с ним новые папа и мама. И все это сделает Шарафат не только оттого, что сердце ей так велит,— таков ее долг общественного инспектора детской комиссии.

В рассказе о матери двадцати двух детей Бахрихон Аширходжаевой я уже приводил акты обследований, которым систематически подвергалась она. Так было со всеми, кто брал к себе в дом эвакуированных детей. Республиканская и местные комиссии считали себя ответственными за жизнь, здоровье и благополучие ребенка даже тогда, когда «отдавали его в дети». Таков был установленный и узаконенный порядок. Вот, к примеру, инструкция, в начале 42 года разосланная Самаркандской областной комиссией помощи эвакуированным детям:

ВСЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ РАЙОННЫХ КОМИССИЙ ПОМОЩИ ЭВАКУИРОВАННЫМ ДЕТЯМ

Областная комиссия помощи эвакуированным детям предлагает:

1. В декадный срок силами штатных инспекторов, работников народного образования и женщин-общественниц обследовать условия жизни, состояние здоровья и воспитания в новых семьях эвакуированных детей и представить об этом отчетную докладную записку в Областную комиссию помощи эвакуированным детям.

2. Впредь регулярно производить посещение семей, взявших на воспитание детей, не реже одного раза в месяц и помогать им советами и консультациями.

3. Прежде чем передавать ребенка на воспитание, направлять в семью, изъявившую желание взять ребенка, воспитателя детдома или женщину-общественницу для обследования условий жизни этой семьи.

4. Требовать обязательного представления медицинской справки о состоянии здоровья будущих родителей ребенка.

5. Ни в коем случае не допускать выбора ребенка на глазах всего детского коллектива, т. к. это отрицательно сказывается на психологии и настроении детей. Разрешить желающим взять ребенка на воспитание присутствовать на занятиях или играх всей детской группы, а того ребенка, который намечается ими к взятию в свою семью, приглашать для разговора в отдельную комнату.

При установлении необходимости изъятия ребенка из семьи, взявшей его на воспитание, осуществлять изъятие немедленно; в случае необходимости привлекать на помощь органы милиции или прокуратуру, не допуская оставления ребенка ни на один день в той семье, у которой ребенок подлежит изъятию.

Всемерно поощрять и популяризировать через районную печать замечательное общественное движение помощи эвакуированным детям — опыт семей, относящихся со всей ответственностью к воспитанию взятых ими детей и проявляющих о них родительскую заботу.

Пройдя через Центральный детский эвакопункт, тысячи детей — группами, целыми детдомами и интернатами — отправлялись затем в районы и области. Как они там? Как их встретили, устроили, обеспечили? Чтобы проверить, а где нужно, помочь в этом деле, Республиканская комиссия уже в первые дни своего существования откомандировывает во все области и крупные города Узбекистана своих представителей. В Ташкентскую область едет Ю. Степаненко, в Андижанскую — Ибрагимова, в Бухарскую область — А. Цибизова, в Наманганскую — С. Ишантураева...

Это было 36 лет назад, и многое, конечно, утрачено памятью уже безвозвратно. В архивах сохранилось только одно свидетельство — записки сопровождавшей Сару Ишантураеву в этой поездке Елены Михайловны Сухаревской. Пользуясь ими, я и пытаюсь восстановить некоторые детали и сцены этой давней поездки.

Первую остановку они сделали в Коканде. К тому времени здесь уже находилось несколько детских домов, эвакуированных из прифронтовой полосы в полном составе. Много эвакуированных ребят было размещено в старых, ранее существовавших детдомах. Один за другим объезжали их Ишантураева и Сухаревская, беседовали с директорами, воспитателями и воспитанниками. Многого тут, понятно, еще не хватало. Некоторые детдома, из тех, что только недавно приехали, не успели обжиться. Дети нуждались в усиленном питании и одежде. Но в общем, при всех огорчительных фактах, которые они наблюдали, чувствовалось — ребята здесь в надежных, заботливых руках, и отношение к ним самое лучшее.

Но вот, уже к вечеру, Ишантураева и Сухаревская оказались в детдоме на окраине города. То, что они увидали, их потрясло: какой-то сарай с небелеными стенами и глиняным полом, дети грязные, в драной одежде, много ослабленных и больных, которые находятся тут же, в одном помещении со всеми другими, здоровыми.

Директора на месте не оказалось — уехал в город по каким-то личным делам. Старший воспитатель на все вопросы и попреки отвечал одной и той же, будто заученной фразой: «А что мы можем? Нам не дают». Не дают помещения, не дают кроватей и одеял, не дают одежды и обуви — ничего не дают.

— А вы обращались куда-нибудь — в гороно, исполком, горком

партии?— уже едва не кричала Ишантураева, возмущенная этой беспомощностью или — хуже того — безразличием к детям.

— Это мне неизвестно. Про это у директора спросите.

— Но в баню детей отвести, наверное, можно бы?!— вмешалась в разговор Сухаревская.

— Звал, уговаривал — не хотят.

Убедившись, что разговаривать с этой безликой мачехой, как назвала его потом Ишантураева,— только время зря тратить, женщины прямо из детдома поехали в Кокандский горисполком. Их принял председатель — Мухитдин Алиевич Алиев. Человек уравновешенный, внешне спокойный, Алиев внимательно выслушал взволнованный рассказ Ишантураевой, объяснил:

— Три детдома на одной неделе пришлось принимать — Россошанский, Богучарский и польский, да в старых, своих семи детдомах число питомцев чуть не удвоилось. Вот и случилось: за тем, что подальше, не уследили.— Пообещал:— Езжайте спокойно. Беру его на себя.

На следующий день Ишантураева и Сухаревская были уже в Намангане. И снова объезды детских домов, посещение женщин, взявших ребят на воспитание, беседы в только что сформированных областной и районных комиссиях. Побывали они и в селении Пап, в донбасском детдоме, который привез Гайворонский.

В обкоме партии, куда женщины зашли, вернувшись из Папа, Ишантураевой предложили:

— Хорошо бы собрать активисток — выступили б вы перед ними. Минут двадцать, больше не нужно.

— Монолог Дездемоны?— невесело усмехнулась актриса.

— Это уж как знаете сами — вам видней.

Она на минуту задумалась, затем вскинула голову, сказала решительно:

— Давайте! Только никаких декораций, никаких карнаев!

Весть о том, что в театре выступит Сара Ишантураева — актриса, чье имя высоко почитаемо в каждом узбекском доме,— взбудоражило весь Наманган. За час до начала пробиться к театральному подъезду было уже невозможно. Предпочтение было отдано женщинам: их билетеры — таков был приказ — пропускали в первую очередь.

И вот — освещенная сцена, без декораций, без бутафории, и замерший в ожидании зал.

В обычном костюме, том самом, в каком ходила весь день, Ишантураева выходит из-за кулис. Собравшиеся встречают ее громом аплодисментов. Актриса подходит к микрофону, стоящему на авансцене, окидывает зал серьезным, как многим тогда показалось, даже строгим взглядом своих черных выразительных глаз и делает короткий протестующий жест: хватит, довольно! Еще какое-то время в разных концах партера раздаются хлопки, затем — тишина. Тишина настороженная, насыщенная каким-то смутным, тревожным предчувствием. Еще минуту-другую Ишантураева продолжает молчать. Первые слова она произносит неторопливо, сдержанно, глухо. Но по-

степенно глубокий грудной ее голос крепнет, наливается болью и гневом, заполняет собою весь зал, и фойе, и площадь у театра, где висят репродукторы.

Ишаитураева говорит о войне, которая огнем, кровью и смертью пришла на советскую землю. Она говорит о безвинных жертвах фашистского варварства — о детях, искалеченных, опухших от голода, осиротевших, бездомных. Маленький Саня, гонявший голубей в чистом киевском небе, уже никогда не увидит над собою ни иеба, ни парящих в нем голубей. Он остался лежать на песчаной диепровской косе, простреленный вражеской пулей. Но сестру его, пятилетнюю Машеньку, удалось уберечь от пули и бомбы, вырвать из пламени, увезти подальше от коричневой смерти. Вчера вместе с другими детьми ее привезли в Наманган. Так неужели, спасенную там, на горящей земле, мы здесь, где нету пожарищ и не воет сирена, здесь, в цветущих садах, не сохраним ее жизнь, дадим познать ей горькую сиротскую участь?! Не верю! Я знаю народ, его добрую душу и низким лжецом назвала бы того, кто сказал бы когда-нибудь, через многие годы: вспомните, вспомните — голодный ребенок стоял у него за порогом, а он не протянул ему хлеба, не пустил его в дом...

Где-то в средних рядах послышались тихие всхлипы. Потом в другой стороне кто-то тяжко вздохнул. Женщины — одна, за ней еще и еще — подносили к глазам углы белых платков, беззвучно шевелили губами.

А Сара, стоя у рампы, продолжала свой монолог, никем не написанный, не ученный ею — продиктованный сердцем. Она говорила о женщине-матери, о женщине, чье материнское чувство — не богатство на дне сундука, ключ от которого только у тех, кто ею рождеи, и только они могут и вправе им пользоваться. Нет, настоящее материнское чувство — сокровище, открытое для всех малышей, неважно, кем они рождены. Иначе добрая мать для одного или двух, ты для тысяч других — злая, свирепая мачеха...

Когда Ишантураева кончила говорить и вместо того, чтобы уйти за кулисы, спустилась в партер, женщины обступили ее плотным кольцом. Никто не аплодировал. Не было возгласов. Седая старуха утирала набежавшие слезы.

Утро нового дня Ишантураева и Сухаревская встречали в детдоме. У входа, дожидаясь, когда ребята позавтракают, толпилось множество женщин. Вместе с работником районо, воспитателями, медицинской сестрой Ишантураева оформляла передачу детей новым родителям. Думала, к полудню закончат, успеет к двухчасовому поезду. Но очередь не убывала, а с каждым часом становилась все больше. Отъезд пришлось отложить.

По возвращении в Ташкент Ишантураева, как и все остальные, ездившие в командировку, отчитывалась перед Республиканской комиссией. Это был рассказ о работе по приему и устройству эвакуированных детей, проделанной на местах, и одновременно — конкретные выводы и предложения; как и чем нужно помочь областным, городским и районным организациям. Не преминула Ишанту-

раева помянуть и о том, что довелось ей увидеть в Кокандском детдоме.

Одним из прямых результатов заседания Республиканской комиссии был приказ 112 по Наркомпросу республики:

«В целях обеспечения эвакуированных детдомов обмундированием и постельными принадлежностями приказываю Управлению детдомов перечислить Узбекснабпросу 821440 рублей».

... Несколько дней назад в разговоре с ветераном войны, совершившим на фронте множество удивительных подвигов, я спросил: сознавал ли он в те критические часы и минуты, что творит нечто очень значительное, героическое? «Нет,— ответил он искренне.— Делал то, что должен был делать. Только не бездумно, как робот: что предписано, то и выполнил, ни больше, ни меньше,— как человек — с приложением собственной головы, ну и, конечно ж, души».

Именно так — без горделивой упоенности сознанием благородства и важности своей миссии, «с приложением собственной головы, ну и, конечно ж, души»,— именно так вершилось дело спасения тысяч и тысяч человеческих жизней.

Следствием приложения собственной мысли, побуждаемой к поиску целым комплексом чувств и, прежде всего, любовью и состраданием к детям, явилось создание ЦДЭПа — организационной формы работы с детьми, дотоле педагогической практике не известной. Не так уж далек был от истины тот, кто назвал эту форму «скорой педагогической помощью».

Инициативой масс — народа Узбекистана — рождено было и другое чудесное новшество в отношениях отцов и детей.

Я говорил уже о многих и многих случаях, когда у пятерых, семи или даже четырнадцати осиротевших детей, ни в каком родстве между собою не состоящих, появлялся один общий папа, одна общая мама. Но в первые же месяцы войны, в период наибольшего притока эвакуированных, кем-то впервые было предложено и нечто обратное: семья, где у каждого ребенка сразу множество пап и множество мам, которые все вместе заменяют ему погибших родителей,— коллективное патронирование.

На общем собрании учащихся ташкентской школы № 110 было принято предложенное комсомольцами и пионерской организацией, поддержанное педсоветом решение: взять на воспитание четырех эвакуированных мальчиков. Дирекция школы отводит для них отдельную комнату. Собрание родителей производит расчет: сколько каждому ежемесячно нужно вносить на содержание, на обеспеченье детей. Учителя берут на себя все заботы по обучению и воспитанию сынов школы, как по аналогии с сыновьями полка были названы эти ребята. Ученики относятся к ним как к собственным братьям.

Коллектив Ташзаготхлоптреста на собственные средства организует детдом на 25 человек. Он выделяет для него помещение, обеспечивает топливом, мебелью, постельным бельем, культинвентарем, отчисляет необходимую сумму на содержание штата — воспитатель-

ницы, повара, няни-уборщицы. Для опеки детдома сотрудники треста избирают шефскую комиссию и ее председателя — Шамшидова.

«Во время войны я работала на ташкентском хлебокомбинате № 1, позднее переименованном в хлебзавод № 14,— пишет ныне уже пенсионерка Александра Шор.— В конце 41 или начале 42 года — точно не помню — наше предприятие взяло на патронирование трех эвакуированных детей в возрасте от 3 до 5 лет — Розочку, Витю и Любочку, потерявших родителей в первые дни войны. Витя и Любочка не помнили, откуда они. Розочка говорила, что она из Ростова. Мы, взрослые, много раз писали по адресу, который она называла, но ответ приходил все тот же: таковые не проживают.

Детей, всех троих, мы поместили в круглосуточный детсад, часто навещали их там. Чтобы ребята чувствовали себя так же, как все остальные, имеющие родителей, работницы хлебокомбината каждую субботу по очереди забирали их к себе в дом. Ночь с субботы на воскресенье дети проводили у Шуры Сиденко — одной из наших ударниц. Она их купала, что нужно чинила, стирала, штопала, а в воскресенье либо сама, либо кто другой из сотрудников водил детвору то в парк, то в кино. Утром в понедельник детей опять отводили в детсад. Я часто брала к себе старшую девочку — Розу, которая была ровесницей моей дочери. Они очень подружились, любили друг друга.

Предприятие покупало для детей одежду, обеспечивало на выходной день продуктами. Помню, как члену шефской комиссии мне пришлось приложить немало усилий, чтоб одеть и обуть ребят. По ордерам мы достали им три красивые шубки, и когда наши питомцы появлялись на производстве, все любовались ими, а уж ласкали и баловали этих детей, наверно, побольше, чем собственных. Вот так и росли они на нашем заводе все годы войны...»

По документам тех лет удалось восстановить фамилии воспитанников ташкентского хлебокомбината: Роза Чудакова, Люба Воробьева, Витя Ярошенко.

Информированная об инициативе учащихся школы № 110, коллективов Ташзаготхлоптреста и хлебокомбината № 1, Республиканская комиссия одобрила это начинание и рекомендовала распространить его на других предприятиях, в учреждениях, колхозах и школах.

Читая письма, копаясь в архивах тех лет, я просто мечтал: вот разыскать, найти бы хоть одного «коллективного» сына. Как помянет, что он расскажет о своих собирательных папе и маме? Как рос? Кем стал он сегодня?

Розыск был долгим, и, как это часто бывает, помог случай.

СУДЬБА СЕСТЕР СЛУЦКИХ

— Мы с сестрой родились в Польше. Адель — в 1927 году. Я, Мария,— годом позже. Детство наше прошло в Лодзи и Здуньской-Воле, того же Лодзинского воеводства. Папа работал бухгалтером на текстильной фабрике, мама не работала. Будучи женщиной образованной, знающей английский и немецкий, она часто помогала детям своих знакомых в школьных занятиях, в подготовке к поступлению в гимназию. Семья была хорошая, дружная, и росли мы с сестрой, окруженные родительскими заботами и любовью. К сожаленью, о маме я не много что вспомнить могу: она умерла, когда я была еще маленькой. Но помню хорошо, что она знала русский язык и зачастую говорила с папой по-русски. Особенно мне врезались в память торжественные минуты, когда мама доставала прекрасно изданный томик Пушкина и при закрытых ставнях, почти шепотом читала нам его сказки, поэмы, стихи,— в панской Польше Пилсудского говорить по-русски, читать русские книги было не совсем безопасно. Не зная русского языка, мы с сестрой ничего не понимали из этого, что читала мама, но по светящемуся лицу, по взволнованности ее интонаций догадывались, как дорог ей этот поэт, этот язык. У меня сохранилась фотография мамы в гимназической форме с надписью «Нижний Новгород». По-видимому, детство и юность ее прошли в России.

Смерть мамы была для всех нас тяжелым ударом. Отец, и до того очень много работавший, чтобы как-то обеспечить семью, теперь просто разрывался на части — и работа и мы, малолетки, требовавшие его забот и внимания.

Наше мирное детство кончилось 1 сентября 1939 года — в день нападения на Польшу фашистской Германии. Мы бежали к родственникам в Западную Белоруссию, которая тогда еще входила в состав Польши. Помню прощание отца с родным кровом, его скупые мужские слезы.

Ехали мы в товарном вагоне. Под Варшавой попали в бомбежку. Пока поезд шел, отец своим телом прикрывал меня и Адель, а только остановились, вытащил нас из теплушки и — в лес.

Стояла золотая польская осень. Деревья будто млели под ласковым солнцем. Колоратурным сопрано заливались лесные птахи. И мы с сестрой никак не могли понять: почему все как будто попрежнему, так же светит солнце, так же, как несколько дней назад, поют птицы, а рядом — смерть? Но с нами был папа, а это значило, что бояться нам нечего.

В Западной Белоруссии мы остановились в селении Городец, неподалеку от Барановичей.

И вот — 17 сентября 1939 года. Всю свою жизнь эту дату я отмечаю как самый большой и светлый праздник. Этому дню мы обязаны всей своей счастливой судьбой.

17 сентября 1939 года советские войска вошли в Западную Белоруссию, освободили братский белорусский народ, спасли от фашистской неволи сотни тысяч людей.

Нужно сказать, мы с сестренкой не сразу поняли, что произошло и что несет с собой этот исторический акт. В польской школе мы слышали о Советском Союзе одну только ложь, там искажали его историю, клеветали на советских людей, больше того — запугивали «москалями». Но стоило столкнуться с нашими красноармейцами, увидеть их добрые лица, посидеть у них на руках — красноармейцы подхватывали детей, угощали кто чем, целовали,— и от всей этой лживой, дурной пропаганды в нашем сознании не осталось и следа. Мы с сестрой, как и большинство жителей Городца, часами простаивали на улице, приветствуя проходившие мимо колонны — пехотинцев, артиллеристов, кавалерию, танки. Ликование народа не описать. Плакат 1939 года, изображающий западного белоруса и советского солдата, заключивших друг друга в объятья, я видела в жизни своими глазами. Так встречаются друзья и кровные братья, истосковавшиеся в долгой разлуке!

Вскоре мы переехали в Барановичи. Папа работал бойцом в Управлении пожарной охраны. Нас устроили в школу-интернат, размещенную в бывшей гимназии. Здесь и начали мы изучать русский язык, любовь к которому внушила нам еще мама.

Почти два года длилась наша мирная жизнь в Советском Союзе — на нашей новой Родине. Будучи детьми, мы, конечно, не понимали теоретических принципов социализма, основ советского общественного и государственного устройства. В польской школе слова «социализм» мы не слышали вовсе. Но жизнь, наши конкретные ощущения, то, что видели мы собственными глазами, помогало нам понять главное. На первых порах нас поражало, к примеру, что дочка генерала дружит с дочкой уборщицы, что они занимаются в одной школе и даже сидят на одной парте. Нам было трудно понять, как это папе не нужно платить за нашу учебу, за услуги врача, за то, что нас посылают в летние месяцы в пионерские лагери или детские санатории. Но труднее всего было выразить то ни с чем не сравнимое чувство свободы и равноправия, какое мы здесь ощутили. Ведь в Польше того времени уже между детьми существовала градация, связанная с имущественным положением, классовой и национальной принадлежностью. Здесь все было иначе, все удивляло и радовало.

В июне 41 года мы с сестрой находились в пионерском лагере под Новоельней. На рассвете двадцать второго нас разбудили раскаты залпов. Напуганным детям помогли одеться, посадили нас в грузовые машины и повезли в Барановичи. По дороге мы попали в бомбежку, пережидали в лесу, поехали дальше. Через пару часов мы уже были в городе и вдоль стен — сильнейший налет — пробирались к пожарке. Пришли вовремя: женщин, детей, стариков усаживали на пожарные машины, чтобы скорее вывезти из города. Несмотря на протесты — никак не хотели ехать без папы,— усадили и нас. Чтобы

мы не ревели, папа сказал: «Встретимся в Минске...» Не встретились. Больше мы уже отца никогда не видали.

По горящим улицам, через завалы от разбитых домов наша машина выбралась на шоссе и, промчавшись сколько-то километров, затормозила так резко, что мы едва не свалились со своих деревянных скамей, с обеих сторон приделанных к пожарной цистерне: на дороге, рядом с велосипедом, лежала мертвая девушка. Это была первая жертва войны, которую нам довелось увидать.

На следующий день мы приехали в Минск. Налеты вражеских самолетов следовали один за другим. Город пылал. Мы двигались как через раскаленную печь: щеки обжигало огнем. Не делая остановок, выбрались на смоленскую дорогу. Под Вязьмой снова попали в налет. И снова содрогалась земля, летели в небо обломки, кто-то кричал.

День и ночь, день и ночь продолжалось это страшное бегство. К бомбежкам и обстрелам прибавилась новая опасность: мы засыпали во время езды и каждую минуту, на каждой колдобине могли сорваться со своей узкой скамейки. Ада сказала: «Будем по очереди: ты спишь — я тебя прижимаю к цистерне, потом я посплю — ты меня будешь держать». Так мы ехали до Москвы.

В Ташкент мы прибыли в августе 41 года. Сначала нас поместили в детдом № 5 на Сагбане, затем перевели в детдом № 15 по улице Чигатай. Здесь уже было много ребят, эвакуированных из разных городов Украины, Белоруссии и других районов, оккупированных врагом.

Что мне запомнилось здесь больше всего? Тепло ласковых рук старой няни-узбечки. После бомбежек, страхов, что пришлось пережить, долгой дороги я по ночам страдала сильными головными болями. Часами, случалось до самого рассвета, просиживала возле меня эта добрая няня, сжимая мне голову сухими руками. Этот своеобразный массаж оказывал на меня целебное действие. Нянечка совсем не знала русского языка, тем более польского, я не знала узбекского и ничего не могла ей объяснить, но она понимала, что мне очень плохо, и не оставляла меня до тех пор, пока я не засыпала. Как ее звали, где жила эта женщина? Сколько лет корю я себя за то, что не спросила об этом, не узнала тогда. Теперь уж мне ее не найти, и благодарность, невысказанная всю жизнь, будет меня тяготить, как неоплаченный долг.

В детдоме мы пробыли примерно с полгода, а потом нас с сестрой взяла на воспитание школа № 93 имени Буденного, директором которой был замечательный человек Дмитрий Николаевич Долгов. Школа нам выделила комнату, обставила ее, заботилась о нашем питании, одежде, обеспечивала книгами, тетрадями, ну, в общем, всем необходимым. Все учителя и, по-моему, все ученики опекали нас, делали так, чтоб мы не чувствовали себя сиротами. Особенно много внимания уделял нам Дмитрий Николаевич и его жена Мария Вильгельмовна, заведовавшая школьной библиотекой.

Когда впервые Мария Вильгельмовна зашла к нам в комнату, мне показалось, в ней стало светлей и вроде б домашней. Эта женщина просто лучилась каким-то материнским теплом.

Учились мы хорошо, были отличницами, занимались общественной работой. В нашей комнате всегда собиралось много ребят. У меня — уж не знаю откуда — вдруг обнаружили музыкальные способности, и я, без всяких усилий со своей стороны, стала вскоре ученицей музыкальной школы при Дворце пионеров по классу виолончели. Очень много времени проводили мы с сестрой в доме Дмитрия Николаевича. А когда я заболела тифом, Мария Вильгельмовна, пока не уложили меня в больницу, не отходила от моей постели, а затем чуть не каждый день носила мне передачи. В те дни, что она была занята, это делал Дмитрий Николаевич. Эти люди стали для нас на всю жизнь самыми близкими и родными. В семье Долговых я проводила летние каникулы, уже будучи студенткой, жила у них по окончании университета, когда готовилась к поступлению в аспирантуру. Эти отношения с Марией Вильгельмовной (Дмитрий Николаевич умер в 1963 году) сохранились и по сегодняшний день. Мои дети зовут ее бабушкой. Еще тогда, в 1942 году, будучи подростками, мы с сестрой поняли, что фашисты и немцы — это разные вещи. Спасаясь от немецких фашистов, мы нашли мать в советской немке и отца в лице русского человека.

Весной 45 года Ада добровольцем ушла в Советскую Армию и в качестве офицера служила на территории Австрии. В армии же она вступила в ряды Коммунистической партии. Ада вышла замуж за советского офицера Владимира Иустиновича Клыго, ныне уже подполковника. Сейчас вместе с мужем и двумя ребятишками — Олей и Игорьком — живет на Дальнем Востоке, работает при воинской части.

Я же в 45 году с медалью закончила школу и поступила на исторический факультет Ташкентского университета, занималась, жила в дружной студенческой семье, выполняла поручения комсомольского комитета.

«Хорошо работает на университетском агитпункте группа агитаторов исторического факультета. Особенно следует отметить работу студентки IV курса Слуцкой. Она провела несколько бесед с избирателями в доме № 5 на Коммунистической улице Центрального района, составила списки, организовала проверку их. Теперь студентка Слуцкая переведена для агитационной работы на другой участок, где также налаживает связь с избирателями».

Из университетской многотиражки за февраль 1949 г.

— В 1950 году я с отличием закончила университет и поступила в аспирантуру. Через шесть лет защитила кандидатскую диссертацию, получила ученую степень и вскоре была зачислена в штат Ташкентской высшей партийной школы. Работала младшим научным сотрудником, зав. кабинетом общественных наук, старшим преподавателем. Сейчас я доцент кафедры истории КПСС Ташкентской партшколы.

На протяжении всей своей жизни в Советском Союзе я была членом большой интернациональной семьи. В школе и пионерском лагере, в Барановичах и Новоельне, на дорогах войны, в Узбекистане — в детдоме и школе, в университете и высшей партшколе

меня всегда окружали и окружают сегодня люди разных национальностей, объединенные чувством великого братства.

Особенно запали мне в память годы студенчества. Это было нелегкое послевоенное время. Но даже самые большие трудности отступали перед лицом нашей дружбы, коллективизма, взаимной выручки. А я так чувствовала себя и вовсе счастливой: мне предоставили общежитие, я имела возможность пользоваться богатейшими сокровищами фундаментальной библиотеки, мне платили повышенную стипендию, давали бесплатные путевки в дома отдыха. А главное — друзья, которые всегда были рядом: Мила Бродельщикова, Фрося Гареева, Нина Немцова, Худжума Абдуллаходжаева, Толик Хон, Курган Буранов, Володя Яковлев и другие. Многие из них преподают сейчас в вузах, стали доцентами, а кое-кто уже и докторскую степень имеет. Мы и по сей день не порываем связей друг с другом, часто встречаемся, остаемся друзьями.

Мне никогда не забыть и своих добрых наставников — преподавателей Ташкентского университета. Их огромная эрудиция, педагогическое мастерство, их глубокая человечность были и остаются для меня высоким примером.

Что еще сказать о себе? Я — член Коммунистической партии. Это естественно и, по-моему, не могло быть иначе: к тому вела меня вся моя жизнь.

Я много лет уже замужем и ношу фамилию Залкинд. Мой муж — инженер, сын — Игорь — закончил Ташкентский институт связи, дочь — Ирина — школьница.

Конечно, итоги мне подводить еще рано, но все же скажу: все то, что случилось со мной и Аделью, могло случиться только у нас, в нашей прекрасной стране.

16 августа 1942 года в «Правде» была напечатана статья Алексея Толстого — статья обо всем, что своими глазами увидел писатель в Узбекистане за год войны. Это увиденное, понятое, до глубины души поразившее он выразил в едином, по-толстовски точном и емком слове, которое я и позволю себе у него позаимствовать для названья предстоящей главы.

САМООТВЕРЖЕННОСТЬ

За последние годы вошло в обиход, уже примелькалось выражение «мозговой центр». Комнату № 8 во флигеле дома 17 по улице Пушкина в Ташкенте по аналогии можно б назвать «центром душевным». И не только потому, что люди, там заседавшие, отдавали делу всю свою душу, но и по другой, еще более веской причине: потому что их гуманностью и мужеством, их добрым старанием и самоотверженностью были возвращены к жизни тысячи человече-

ских душ. Именно в эту узкую комнатенку, загроможденную старыми, обшарпанными столами да колченогими стульями, пришел прямо с вокзала начальник эшелона и директор сводного Зуевского и Нижне-Крынского детских домов Степан Григорьевич Гайворонский. Сюда еженощно звонила дежурная Центрального детского эвакопункта, чтобы получить указание, куда и сколько детей отправлять на рассвете. Отсюда, из Управления детдомов, велось оперативное руководство распределением, устройством, снабжением прибывающих детских домов, направлялась работа уже существовавших и вновь создававшихся детских учреждений. О масштабах этой деятельности дает представление такая статистика: к началу войны в республике было 106 различного рода детских домов, в 1943—267. Более чем в три раза вырос за это же время контингент их воспитанников.

Директора и воспитатели детских домов, прибывавших в ту пору в Ташкент, так же как Гайворонский, спустя тридцать лет не помнят уже фамилий тех, кто так сердечно, с такой горячей отзывчивостью принимал их в тесной, всегда многолюдной и шумной комнатке узбекистанского Наркомпроса. Документы и письма тех лет сохранили для нас эти славные имена.

Начальником Управления детских домов в 1942—43 годах, в период наибольшего наплыва эвакуированных, была Елена Георгиевна Самойленко — мать, как ее называли свои и чужие, как называют ее и сегодня сотни бывших воспитанников.

Нет, не случайно в тот критический час, когда речь шла о спасении не одной, не двух — десятков тысяч детских жизней, выбор пал на Елену Георгиевну. Кому же еще было доверить этот важнейший участок битвы с фашизмом, как не ей — большевику с мая 1918 года, участнице борьбы с басмачеством в группе войск Хорезмского фронта, первому руководителю женотдела Ташкентского горкома партии? Да, конечно, у нее не было опыта работы с детьми. Но она была коммунистом. У нее не было глубоких познаний в организации воспитательного процесса, в методике детской педагогики. Но она была большой и благородной души человеком, женщиной-матерью, патриотом.

Невысокого роста, сухощавая, с горящими глазами и быстрыми, энергичными жестами, Елена Георгиевна и теперь, в свои уже преклонные годы, соединяет в себе ту же мягкую задушевность, глубокую способность к человеческой сострадательности с характером неугомонным, решительным, а порой, когда потребуют того обстоятельства, и резким, бескомпромиссно прямым. Она не останется сторонним, безучастным свидетелем чьей-то беды, воинственно нетерпима к любой несправедливости, чинимой в отношении знакомого и пусть даже совсем не знакомого ей человека. Сдержанная уравновешенная в обычном, повседневном течении жизни, она при нужде может выказать такую решительность, горячность и сокрушающую экспансивность, против которой не устоят уже никакие преграды. За такие минуты, когда, презрев формальные приличия и кабинетный этикет, она отвоевывала, вырывала решения, нужные ее

детдомам, Елену Георгиевну и прозвали тыловой партизанкой. В одних устах эти слова звучали как порицание, в других — со снисходительным уважением, а то и опаской, но всякий, кто занимался в ту пору осиротевшими детьми, да и сами детдомовцы произносили их с неизменным восхищением и любовью.

Одетая в телогрейку, тяжелые сапоги, повязанная платком, постоянно сползавшим к затылку, Елена Георгиевна почти все эти трудные месяцы провела на колесах. То в вагоне-приемнике от станции к станции перекочевывала, выискивая и увозя с собой беспризорных. То в каком-нибудь дальнем районе в только что ею привезенном детдоме жизнь налаживала. То она на заводе, чтобы своими глазами увидеть, как там устроены, как одеты-обуты те подростки, которых Управление туда на работу недавно направило. А когда уж такой вопрос возникает, что своими силами никак не решить, идет в ЦК партии, в Совнарком, в Верховный Совет.

Осенью 1942 года, подобрав по дороге 97 осиротевших ребят, Елена Георгиевна прибыла в Наманган. Предварительной разнарядки на размещение этой непредусмотренной группы, естественно, не было, и Самойленко прямо с вокзала направилась в облисполком. Она знала, какой ее ждет разговор: ни одного свободного помещения в области больше нет — все, что было возможно, отдано под госпитали, общежития, ранее прибывшие детдома. И это была не бюрократическая увертка, продиктованная нежеланием какого-то бездушного чинуши брать на себя новую обузу,— это была правда. Вероятно, кто-то другой повернулся бы да так ни с чем и ушел бы из исполкома. Кто-то другой — вероятно, но то была Елена Георгиевна.

Она уже не помнит сейчас весь ход того давнего разговора. Помнит только, что закончился он уговором: если не верит, пусть ищет сама. Найдет помещение, где можно бы разместить детский дом,— исполком отдаст его Наркомпросу.

Пять дней, пять ночей, пока Елена Георгиевна то на попутной арбе или случайной машине, а то и просто пешком рыскала по кишлакам и райцентрам, вагоны с детьми стояли в тупике за наманганским вокзалом. После нелегкого разговора с Самойленко горисполком выделил им на неделю питание. К исходу шестого дня, закоченевшая, изголодавшаяся, Елена Георгиевна набрела на правление колхоза «Ёш ленинчи». Уже само названье этой артели — «Молодой ленинец»,— как вспоминает теперь Самойленко, показалось ей обнадеживающим.

В конторе при свете керосиновой лампы сидела какая-то девушка, как вскоре выяснила Елена Георгиевна — секретарь правления. Подбирая слова подушевней, помягче, нежданная гостья изложила ей свою странную просьбу: пусть бы хозяева освободили контору, да к тому же еще побыстрей. Однако девушка-секретарь, согласись она даже с Еленой Георгиевной, не властна была самовольно распорядиться колхозной конторой, а председателя, сколько в ту ночь его ни искали, найти не смогли.

Наутро Елена Георгиевна была уже в Намангане. А еще через

час вместе с представителем исполкома возвращалась в «Ёш ленинчи».

Трое суток шел ремонт помещения — штукатурили стены, ставили нары, какой-то местный умелец перекладывал печь. Лучшим помощником оказался сам председатель: расставил людей, выдал со склада какие были продукты, сам ходил по домам, убеждая колхозников нести к бывшей конторе одеяла, подушки, одежду, посуду.

На восьмой день ребят начали перевозить из эшелона в колхоз. Но это было еще только полдела. Теперь предстояло найти директора, воспитателей, врача или, на худой конец, медсестру, повара, нянек, уборщицу. В тех условиях, в годы войны, это была задача не из простых. Если технический персонал можно было еще подобрать на месте, в самом кишлаке, в райцентре или тем более в городе, то с кадрами воспитателей, медицинских работников, людей, которым бы можно доверить руководство детдомами, дело в ту пору обстояло критически. И не только в каком-то отдаленном районе или какой-то области — это стало острейшей проблемой для всей республики в целом.

Чтобы понять, как возникла эта проблема, достаточно перелистать книгу приказов по Наркомпросу Узбекистана за конец 41-го — 42-й год. Вот только несколько выписок из этой старой конторской книги за январь-февраль 1942 года.

Приказ № 36: директора ташкентского детдома № 22 тов. Джадыгерова освободить от занимаемой должности в связи с мобилизацией в ряды РККА.

Приказ № 41: директора кокандского детдома № 3 тов. Ильясова освободить от занимаемой должности в связи с мобилизацией в ряды РККА.

Приказ № 49: директора янгикурганского детдома № 1 Наманганской области тов. Юсупова освободить от занимаемой должности в связи с уходом в РККА.

Приказ № 152: директора верхнечирчикского детдома № 1 тов. Нурумбетова освободить от занимаемой должности в связи с мобилизацией в РККА.

Приказ № 404: директора гиждуванского детдома № 2 тов. Саидова освободить от занимаемой должности в связи с призывом в РККА.

Книга приказов по Наркомпросу УзССР фиксировала уход в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию только директоров и старших воспитателей детских домов. А сколько было призвано за это же время воспитателей, педагогов, медицинских работников!

О том, насколько остро стоял в тот период вопрос о кадрах работников детских домов и учреждений, сколь актуальным и политически важным он был, дает представление письмо Наркомпроса республики Военному комиссариату Узбекистана, датированное 13 февраля того же 42-го года.

«Народный комиссариат просвещения УзССР просит Вас вернуть в нашу систему тов. Джадыгерова Дж., работавшего директором детдома № 22 в течение 5 лет. Он был призван в национальную часть, но по состоянию здоровья оказался негодным для строевой службы... Между тем этот детдом после его ухода пришел в состояние полного упадка. В детдоме из 165 детей половина эвакуированных. Среди коллектива начался распад. Дети очень любят тов. Джадыгерова и усиленно просят вернуть его на работу.

Так как работа в детдоме в условиях военного времени имеет большое полити-

ческое значение — сохранение жизни и здоровья детей обусловливает в значительной мере боевой дух их отцов, сражающихся на фронте,— Народный комиссариат просвещения УзССР просит вернуть тов. Джадыгерова для работы в детдоме № 22.

Зам. наркома просвещения УзССР — Е. РАЧИНСКАЯ

Комсомолец с 1922 года, член РКП (б) с 1928, сам воспитанник детского интерната в Ташкенте, Джолдас Джадыгеров остался в рядах Красной Армии. Он вернулся только в феврале 1944 года, демобилизованный после тяжелой контузии, и уже через несколько дней был назначен директором ташкентского детдома № 32.

Проблема обеспечения детдомов квалифицированными, надежными кадрами осложнялась еще и тем, что среди прибывавших были детдома украинские, белорусские, литовские, латвийские, польские, которые следовало в кратчайший срок обеспечить воспитателями и педагогами, владеющими соответственно украинским, белорусским, литовским, латышским или польским языком. К этому обязывало систему Наркомпроса Постановление Совнаркома УзССР и ЦК КП (б) Уз № 1058, принятое 21—29 июля 1942 года:

«... 3. Полностью охватить обучением детей, эвакуированных из прифронтовой полосы, существующими школами, а в отдельных сельских местностях при узбекских школах организовать специальные классы для обучения на родном языке эвакуированных детей, допустив минимальную наполняемость класса для эвакуированных детей 15—20 человек».

Любопытно отметить, что минимальная наполняемость обычного класса составляла в ту пору 40—45 человек. Нетрудно представить, какие крупные дополнительные ассигнования потребовалось сделать республике, чтобы каждый ребенок, волей войны оказавшийся в Узбекистане, имел возможность продолжать обучение и притом — на своем родном языке.

В ряде случаев, когда детдома прибывали с укомплектованным воспитательским штатом, вопрос решался сравнительно просто. Так, например, было с литовским детдомом, прибывшим в Узбекистан осенью 1942 года.

ПРИКАЗ № 1077

по Наркомпросу УзССР, 6 октября 1942 г.

1. Организовать детский дом для литовских детей в помещении детдома № 2 Орджоникидзевского района (сельсовет Дурмень).

2. Все имеющиеся материальные ценности и имущество детдома оставить в помещении вновь организующегося детдома...

3. Предложить зав. Орджоникидзевским районо организовать при школе, прилегающей к детдому, классы с преподаванием на литовском языке. В качестве преподавателей использовать воспитателей литовского детдома.

Но таких детдомов, которые прибывали со своим воспитательским штатом, было не много. А как решалась проблема с десятками прочих?

— Главным резервом, за счет которого Наркомпрос республики старался возместить потери в педагогических кадрах, было широкое привлечение эвакуированных специалистов,— вспоминает Самойленко.— С этой целью мы выявляли среди прибывающих тех, кто имел педагогическое образование и опыт работы с детьми, распределяли и размещали их по всей республике. Это дало нам очень много, хотя и не решало проблемы окончательно. Чтобы удовлетворить потребность бурно возросшей в те годы сети детдомов, детприемников, детколоний и школ в преподавательских и воспитательских кадрах, нужно было эти кадры готовить самостоятельно. Справиться с этим вопросом своими собственными силами республиканский Наркомпрос, конечно, не мог, а идти с ним в партийные органы, в Совнарком в тот момент, когда и без нас забот у них было по самое горло, совесть как-то не позволяла.

И все же пришлось.

Из Постановления Совнаркома УзССР от 23 ноября 1943 года «Об улучшении работы детских домов»: «... организовать 6-месячные курсы по подготовке воспитателей детдомов при педагогических и учительских институтах. (Далее следует разверстка по институтам в различных городах республики.— Г. М.). Всего — на 300 человек».

Из Постановления Совнаркома УзССР от 4 декабря 1944 года «Об улучшении работы по обслуживанию слепых и глухонемых»: «2а. Развернуть в течение 1944—1945 гг. специальные классы для детей слепых и глухонемых в возрасте от 7 до 14 лет включительно при существующих средних школах с таким расчетом, чтобы в 1945—1946 учебном году реорганизовать эти классы в отдельные школы; б. с 1/IX—45 г. открыть дополнительно по одной школе слепых и глухонемых в Ферганской и Самаркандской областях с охватом 400 человек...

3. Организовать 6-месячные курсы подготовки преподавателей школ слепых и глухонемых».

Как свидетельствуют документы, вопросами обеспечения эвакуированных детдомов воспитательскими и преподавательскими кадрами занимались не только партийные органы и правительство Узбекистана — они стояли в повестке дня Совета Народных Комиссаров СССР. Так, к примеру, 19 мая 1944 года им было принято распоряжение № 10914-р, в котором между иными содержится и следующий пункт:

«Разрешить Комитету по делам польских детей при Наркомпросе РСФСР провести в июле 1944 года месячные курсы по повышению квалификации педагогического персонала польских учреждений в СССР с контингентом на 200 человек, в том числе... в Самарканде — на 50 человек».

Да, к 1944 году проблема обеспечения детдомов республики квалифицированными кадрами руководителей, педагогов, воспитателей, медицинских работников, техперсоналом практически была решена. Но это было уже в 1944 году. В начале 42-го, когда с подобранными в пути беспризорными Елена Георгиевна очутилась

в колхозе «Ёш ленинчи», этот вопрос казался почти неразрешимым.

Протелеграфировав в Наркомпрос о том, что задерживается на неопределенный срок в Намангане, Самойленко приняла на себя обязанности директора, воспитателя, бухгалтера, завхоза, няньки и повара нового, еще не узаконенного приказом детдома и вместе с областными работниками принялась за поиски людей, в чьи надежные руки можно было бы спокойно передать детвору.

В Наркомпросе телеграмме не удивились: уже не впервой задерживалась Елена Георгиевна в поездках по областям, организуя новые детдома, налаживая дела в существующих. Такие же телеграммы приходили нередко и от старшего инспектора Управления детдомов Александры Владимировны Смирновой.

Отдав 49 лет жизни воспитанию и обучению осиротевших детей, ныне Александра Владимировна, пенсионерка, живет в Магнитогорске. По роду занятий многое пришлось повидать этой доброй, на редкость душевной, отзывчивой женщине, с такими детскими трагедиями столкнуться — без слез и сегодня не вспомнить. А самое страшное, неизгладимое в памяти — годы войны, прибытие эшелонов с детьми, поездки с детдомами или только-только собранными группами к месту их назначения.

Впрочем, лучше послушать саму Александру Владимировну. Вот ее безыскусный рассказ.

«Правду сказать, сейчас и представить себе невозможно, как смогли, как это справились мы с потоком, целой лавиной осиротевших ребят, которая хлынула тогда на ташкентский вокзал. Для нас, инспекторов Управления детдомов, это было как стихийное бедствие. Приедешь бывало из командировки, а тебе тут же новое поручение — снова вези детей. И так день за днем, месяц за месяцем.

Особенно запомнился мне 43-й, когда за ночь прибывало по несколько эшелонов с детьми — и детдомами и просто так, отбившимися. В каком состоянии были ребята, описывать я не стану — нет у меня таких слов. Скажу только, что и теперь, как услышу что про войну,— перед глазами вот это.

Больных, ослабевших, малолеток решено было оставлять в Ташкенте. Остальных, подкормив, везли в Ферганскую, Андижанскую, Наманганскую области — дорога, которую мне вовек не забыть.

В Ташкенте, когда отправляли, подсчитали все правильно: езды здесь на сутки, не больше. Соответственно и пайком обеспечили: по 400 граммов хлеба на душу. Только не взяли в расчет, что расписание мирного времени для войны не годится. Через сутки мы едва-едва доползли до Урсатьевской. Еще ночь и день до Коканда тянулись. Вот тут и кончились наши припасы, все — подчистую. Заглянешь в вагон, вскинутся ребятишки, взглядом обшарят — не принесла ли чего?— и опять потупятся, сидят, будто воробушки нахохлились.

Пошла искать начальника эвакопункта. А у окошка его... Батюшки светы! Верно, к вражескому доту на фронте и то было легче

добраться. Людской муравейник. Пришлось потрудиться — где горлом, а где и локтями. Добралась. Говорю, объясняю: так, мол, и так — дети голодные, не дадите мне хлеба — до Горчакова не довезу. Двадцать килограммов просила.

Молодежь, которая не помнит войны, может подумать: эка невидаль — двадцать кило хлеба достать! Да, всего-навсего двадцать и всего только хлеба. От этого зависела жизнь... А иной раз с облегченьем подумаешь: и хорошо, и слава те господи, что не может такого представить себе наша нынешняя молодежь. Вот только знать, помнить о том лихолетье — пусть знает и помнит.

Товарищ Юсупов — так звали тогда начальника кокандского эвакопункта — самолично решил убедиться, что прошу для детей, что детям моим и вправду нечего есть. Поглядел, ничего не сказал, выдал талоны. Отоварилась я, нагрузилась, как рождественский дед, и счастливая, будто клад золотой раскопала, потопала по шпалам к вагонам.

Уж как там почуяла детвора, с каким добром на горбу возвращаюсь,— загадка. Еще и до состава нашего я не дошла — навстречу бегут, кричат что есть мочи:

— Хлеб! Тетя Шура хлеба достала!

Ломтиками, граммов по сто, нарезала я дорогую добычу и каждому в руки. Видали б вы, как они ели!

А наутро, только проснулись, опять:

— Есть хочу, тетя...

Уж лучше б оглохнуть!

На станцию Горчаково прибыли ночью. Никто не встречает. Дежурный вокзала объясняет причину: ждали вчера, сегодня весь день по перрону ходили — не дождались. До утра уехали в город — поесть, отогреться.

Вагоны загнали в тупик, отцепили. Что теперь делать? До Ферганы километров не меньше десяти, до Маргилана — четыре. Транспорта никакого. Значит, сиди, жди рассвета? Нет уж, нужно идти. И пошла, оставив детей на присмотр медицинской сестры.

На следующий день начинаем перевозить детвору. Кого в детдома, кого прямым ходом в больницу. Приедет возчик на арбе, расстелим матрацы, одеяла, попоны, которые по детдомам да по колхозам насобирать успели, и на плечах переносим одного за другим: на улице холодно, снег, а детишки раздеты, разуты. Много тогда пришлось нам на плечах своих вынести.

Помню случай один в детдоме под Самаркандом. Приехала — ахнула: помещение не отапливается, крыша дырявая, одеяла, которыми укрываются дети, мокрые, хоть выжимай. Из 49 человек контингента 19 в больнице, да и остальные в плохом состоянии — худые, одетые в отрепья какие-то, чумазые до невозможности. Вижу, сидят они кто на корточках, а кто просто так на полу, привалившись к стенке спиной. Посреди комнаты на земляном полу разложен костер — греются. Остановилась я на пороге, слова вымолвить не могу. Потом совладала с собой, спрашиваю:

— Чем вас кормили сегодня?

— Супом,— говорят,— из крапивы.

Иду на кухню — пусто, в кладовую — заперто. Через час явилась женщина с серым, отечным лицом, грузная, неопрятная, как выяснилось — повар, она же и кладовщица.

— Почему обед не готовите?— набросилась я на нее.

— А из чего? Из воздуха, что ли?— отвечает она флегматично.

— Продукты какие имеются?

— Нету продуктов. Что было в кладовке — все унесли.

— Кто? Кто унес?— не в силах сдержаться, кричу я на женщину.

— Кто же еще? Эти самые,— и, скривившись брезгливо так, в детдомовцев тычет.

— Вы?— поворачиваюсь я к детворе.

Долго мнутся, о чем-то шушукаются, потом белобрысый мальчонка, видно, самый отчаянный, отвечает задиристо:

— Сами крадут, по домам в кошелках растаскивают, а мы виноваты!

Беру повариху — ворчит, злится, того и гляди разразится проклятьями,— беру детвору, идем в кладовую.

Ничего не скажешь — основательно тут похозяйствовали: ни мяса, ни крупы там какой или сахару, ни сухарика даже.

До самого вечера сижу, жду директора. Не появляется. Не кажет глаз и бухгалтер. Иду искать по домам. Ну, ясное дело: ни того, ни другого. Исчезли. Проведали, видно, о приезде инспектора. Теперь понятно, кто руку наложил на продукты. К тому же на гвоздике за дверью кладовой записку ребята нашли: «Маша! Выдать товарищу 3 (три) кг мяса, масла растительного — полкило, яичного порошка сколько осталось. Записку опосля возвернешь». И подпись директора.

Переночевала в детдоме, назавтра в районную прокуратуру иду. Пообещали: преступников изловим, будем судить. Поделом. А только будущим приговором детей не накормишь.

На первое время, пока облторг сверхнормативные продукты детдому выделит, то да се в соседнем колхозе выпрашиваю. Сама на склад езжу, сама и директор, и бухгалтер, и кладовщица, и повар — что там господь в трех своих ипостасях! Облоно, куда уже съездила, обещает подобрать, прислать на замену директора. Райиспол - ком уверяет, через день-другой найдет помещение, куда можно б перевезти наш детдом. Обещают, сулят, уверяют. А тут что ни день, то новая беда на голову валится. Обнаружился тиф. Отвезла, определила мальчонку в больницу. Только вернулась — другая напасть: на одной из воспитанниц, что грелась у комнатного костра, вспыхнуло платье: видно, разморило девчушку теплом, уснула, тут и подобрался огонь. Хорошо еще, ребята заметили, набросили на нее телогрейки, спасли. Только брови да челочку прихватило. Зато на платье такая дыра — не починишь. Брови да челочка — ладно: новые вырастут, а где новое платье возьмешь? Пришлось в соседний район отправляться, в детдоме тамошнем платье выпрашивать. Спасибо, добрые люди там оказались — выдали.

От всех этих бед, оттого, что не видно конца обещаниям насчет

нового помещения, пригодного для детского дома, а главное — оттого, что, ну знаете, нет больше сил глядеть, как в сырости дрогнет, на голодном пайке перебивается детвора, встречают-провожают тебя будто с укором во взгляде,— от всего этого такое отчаянье захлестнуло, такая злость одолела — решилась на крайнее. Приказала ребятам собрать все имущество — одеяла, подушки, кастрюли, что там еще у них на хозяйстве имелось — и повела их на штурм.

Еще третьего дня, когда ходила в контору колхоза, приметила я по дороге такое аккуратное беленое здание, по фасаду на пять больших окон. «Школа,— объяснили мне позже,— дети колхозников в ней занимаются». Дважды ходила я к раису колхозному — председателю, значит,— просила на время уступить под детдом три школьных класса. А он уперся — с места не сдвинешь. Себе на уме, хитрый был мужичок.

— Вам же,— внушает,— невыгодно будет. Перетерпите еще недельку-другую — выделит вам районная власть дворец с колоннадой. А переедете в школу — конец: ничего не получите. Скажет начальство: устроились наши детдомовцы — не мерзнут, не ржавеют, над головами у них не каплет, ну и ладно — пусть себе и живут там до лучших времен, нечего больше о них беспокоиться... Уж поверьте бывалому человеку — добра вам желаю.

Может, по-своему и прав был тогда председатель, да только не жгли его, как меня, ребячьи глаза. Никак не могла я согласиться еще две недели, даже одну, держать детвору в том дырявом сарае. Не время было играть в дипломатию. Опять пристаю к председателю, уговариваю, на совесть его нажимаю. Не поддается. Делать нечего — еду в райком.

— М-да-а, как же, обдумаем ваше предложение, товарищ Смирнова,— охлаждает мой пыл очень уравновешенный и, видно, очень осторожный инструктор.— Завтра секретарь из района вернется, доложу ему как дело номер один. Приходите ко мне послезавтра или, лучше, на той неделе, на той...

Такой разговор меня не устраивает, о чем прямо в лицо я и режу инструктору, и, вернувшись в кишлак, решаюсь на отчаянный шаг — на самоуправство.

К такому повороту событий председатель не был готов. Три школьных класса были взяты нами без боя. Сопротивление оказал только завхоз, но что он мог противопоставить нашим превосходящим силам и нашей решимости?! В общем, операция обошлась без крови, без жертв. Если не считать, конечно, того, что в прокуратуру и в Наркомпрос были направлены грозные письма, призывавшие засадить меня за решетку, а детдомовцев административным путем выселить из школьного здания. Но это уже было не страшно: я понимала, что ни в прокуратуре, ни тем более в Наркомпросе эти призывы сочувствия не найдут. И я не ошиблась. Когда, дождавшись нового директора, которого дней через десять облоно прислало в детдом, я сдала ему по акту дела и возвратилась в Ташкент, Исхак Раззакович Раззаков — наш нарком — в беседе

со мной ни словом не обмолвился о самаркандских событиях. Хвалить не решался, ругать не хотел. Инцидент был исчерпан».

Слушая рассказ Александры Владимировны, я невольно подумал: каким мужеством, какой готовностью к самопожертвованию должна была обладать эта женщина, чтобы решиться на такой отчаянный шаг! Законы военного времени были суровы, и всякое правонарушение каралось жестоко. Смирнова знала об этом, отдавала себе ясный отчет, какой опасности себя подвергает, и все же пошла на незаконное действие. Почему? Что ее побуждало?

— *Ну разве ж могла я думать в ту пору, что будет со мной? Глядела на тех отощавших, прозябших детдомовцев, и в мыслях у меня одно только было: что станется с ними? А еще рассуждала я так: не для себя ж — на общее благо, для пользы ребят стараюсь. Не может за то покарать меня советский закон. На то ж он и есть советский.*

Все очень стройно, логично, разумно, если исходить из духа закона. А если из буквы?

— Но вы представляете себе, Александра Владимировна, что б оно было, если бы каждый, на свой собственный лад толкуя общее благо, справедливость и несправедливость, стал бы закон нарушать?

— *Если воспитали человека как следует, правильные у него представления — плохого не будет,— подумав, отвечает Смирнова.— По закону, когда самолет загорелся, Николаю Гастелло положено было как поступать? Выбрасываться из него с парашютом. А он взял да направил его на танковую колонну фашистов. Нарушил закон? А как же! Выходит, преступник? Герой! Настоящий герой!*

Но я продолжаю упорствовать, донимаю Александру Владимировну каверзными вопросами:

— По-вашему получается, один нарушил закон — преступник, в темницу его, под замок, другой тоже, по-своему, отступил от закона — герой, честь ему и хвала. Поди разберись! Нужно уж что-то одно — либо так, либо эдак. Иначе как же внушишь уважение к закону, сознание, что преступать его ни при каких обстоятельствах и никому не дозволено.

— *Когда работала я с детворой, а мне почитай всю жизнь — полвека этим только и доводилось заниматься, внушала им попростому: такого закона, чтоб на все случаи жизни, не было, нет и, по-честному если, не скоро, наверно, люди придумают. Значит, как же тут быть? Чтобы справиться с любой, самой трудной задачей, нужно твердо усвоить, ребята, одно золотое правило: поступай только так, как лучше, выгодней людям, родному народу. Пусть иной раз даже во вред себе самому. Ошибки не будет.*

Именно так, руководствуясь этим высшим законом, во имя спасенья детей подчас себя подвергая немалому риску, поступали тогда многие участницы эпопеи, о которой я повествую.

«Уже больше четверти века миновало с тех пор, а мысль, права ль была я, втайне нарушая закон, не дает мне покоя,— пишет в Ташкент Елена Михайловна Сухаревская — бывший директор детдома № 25, в ту пору одного из лучших в республике.— А грех мой вот в чем.

По штату на 125 детей — столько как раз было в нашем детдоме — полагалась одна медсестра. Она у нас и была. Но, понимаете сами, дети, которые к нам поступали, в таком состоянии были, что профессиональными знаниями медсестры обойтись мы никак не могли. Нужен был опытный, высокой квалификации врач. Как раз такой педиатр, уже пожилая женщина, жила через два дома от нас. Втихомолку, без всякой огласки, я сговорилась с ней так: она ежедневно на пару часов приходит в детдом, следит за моими ребятами, а за это получает обед. Так и было оно года полтора или два.

Могу похвалиться: заболеваемость в нашем детдоме была самой низкой. Нам за то благодарность даже в приказе тогда объявили. А теперь вот сомненье берет: права — не права была я?..»

Но не всегда нарушение правил и директивно установленных норм сходило виновницам с рук, венчалось для них благодарностями. Бывало иначе.

Когда, передав детей, привезенных ею в Наманганскую область, старому, опытному педагогу, которого после долгих нелегких поисков удалось наконец разыскать и направить в колхоз «Ёш ленинчи», Елена Георгиевна Самойленко вернулась в Ташкент, первое, что она увидала на своем канцелярском столе,— повестку, предписывавшую ей незамедлительно явиться для дачи показаний в прокуратуру.

ШЕЛ СОЛДАТ С ФРОНТА

Говорят, война — вид крови, едкая гарь пепелищ, будничность самых жестоких трагедий — ожесточает сердца, делает их глухими, бесчувственными к чужому страданию, роняет в глазах человека ценность человеческой жизни и человеческой личности. Об этом много написано — и статей, и целых романов. Но уж такое ли это неизбежное следствие? Нет ли здесь закономерной зависимости от того, какую войну — справедливую, освободительную или захватническую, грабительскую — ведет народ и каждый солдат, в ней участвующий? И разве, разлагая, ожесточая сердца по одну сторону линии фронта, она в то же время не возвышает, не облагораживает те, что противостоят им с другой?

Об этом думаю я, начиная рассказ о Хамите Саматове.

Истоки характера, первопричины решений и поступков человека — в его прошлом. Аксиоматично. Ничего особого, что предрекало бы способность Саматова к великому душевному подвигу, в предвоенном прошлом его вроде и не было. Рос, как все его сверстники. Ходил в школу. Вместе с двумя младшими братьями часто ездил смотреть, как руками людей создавалось в степи настоящее море — Каттакурганское водохранилище. Повзрослев, помогал отцу — искусному каменщику Самату Гафурову. И, конечно же, своими глазами видал, как подымались в округе колхозы, как в захолустном тогда кишлаке строились первые промышленные объекты, как с каждым днем входило в жизнь нечто новое, ранее неизвестное, социалистическое.

Сейчас, оглядываясь на те далекие годы, чтобы найти в них первопричины, обусловившие собой характер Хамита Саматова, каким он проявился впоследствии, приходишь к ясному выводу: нет, не какой-то один или несколько исключительных фактов определили собою этот характер, сформировали его вот таким, а не каким-то иным. Он вызревал и складывался, этот характер, из всей совокупности фактов, больших и малых, значительных и мелких, случайных, из фактов, вся сумма которых отражала собой суть и дух нового, советского образа жизни, активно и повсеместно утверждавшегося на глазах Хамита Саматова.

В 41-м, когда грянула Отечественная война, ему было уже 29 лет. Первым семья провожала на фронт младшего сына. Затем ушел средний. Хамита, как старшего сына и кормильца семьи, закон оставлял дома. Но не позволила совесть, не пожелал старший из братьев воспользоваться своей привилегией. Он сам, без повестки, явился в районный военкомат и вскоре уже в солдатской теплушке догонял своего младшего брата. Встретились они в окопе на западных подступах к Москве.

Но прежде чем отправился Хамит в действующую армию, в жизни семьи произошло событие, которое во многом определило все его будущее: в доме каменщика Самата Гафурова и его жены Мангит появился еще один ребенок — Донат Клепиков. Мальчик из-под Иваново, в первые дни войны потерявший обоих родителей, Донат не очень отчетливо помнит, какими путями и судьбами оказался на улицах Каттакургана. Помнит только, как взял его за руки какой-то большой, хмурый дядя и без разговоров повел по пыльным проулкам в свой дом. С того дня уже навсегда этот хмурый мужчина стал ему папой, этот дом — отчим кровом. Вот только с Хамитом, сыном Самата, никак Донат своих родственных отношений не выяснит: ата — отец тот ему или ака — старший брат? Но в этом они разбирались уже потом, когда Хамит возвратился домой. А пока в тяжелой солдатской шинели он шагал по дорогам войны.

Из-под Москвы после разгрома врага их часть перебросили к Дону. Навсегда запомнилась Саматову ночь, исполосованная молниями трассирующих пуль, вздыбленная фонтанами брызг от близкого разрыва снарядов, наполненная диким храпом коней, предсмерт-

ными вскриками десантников. К утру, форсировав реку, подразделение закрепилось на узком прибрежном плацдарме.

А потом, вспоминает Саматов, были уличные бои в Ростове, жестокие схватки с врагом за донские станицы. И Сталинград. От первого до последнего дня прошел боец из Каттакургана через великую сталинградскую битву. Выстоял, уцелел и снова устремился на Запад. Походы, бои, переформирования, редкие письма из дома — военные будни. За храбрость, находчивость, умелые действия при освобождении Изюма на гимнастерке Хамита появилась первая боевая награда — медаль «За отвагу». Вскоре за изгнание врага из города Запорожье последовала и другая — орден Красной Звезды.

В октябре 43-го года часть, где воевал Саматов, вышла к Днепру. В ночь на восемнадцатое, в холодную, темную ночь, по приказу командования началось форсирование — последняя боевая операция, в которой участвовал сержант Хамит Саматов.

То, что довелось ему испытать на Дону, казалось теперь пробой сил, лишь легкой разведкой боем. И не потому, что предстояло форсировать реку, намного шире, чем та. Не потому, что каждый завтрашний бой намного страшней и опасней вчерашнего. Предстояло пройти через сплошную завесу огня, а пройдя, вцепиться в отвесные кручи Днепра, сплошь утыканные огневыми точками фашистских дивизий.

На баркас, подчиненный Саматову, взбежали один за другим тридцать восемь бойцов. Три станковых пулемета нацелились на неразличимый во тьме западный берег. От мин, снарядов и пуль кипела вода. Таиться, красться, хранить гробовое молчание нужды уже не было: бой шел в открытую.

Река полыхала. То там, то здесь совсем рядом, разлетались щепами лодки, плоты, баркасы. Кто-то истошно кричал. Надрывно ревел пароходик, объятый густым черным дымом. На мгновение вода озарялась снопом радужных искр, искры гасли и тут же взметались в другом, третьем месте. А над всем этим адом плавно качались, опускаясь все ниже и ниже к воде, осветительные ракеты противника.

Старшему по команде, Саматову, докладывали коротко, односложно:

— Курчаткин!.. Пулатов!..

И через минуту опять:

— Несвитенко!

Это значило, что выбыли из строя — ранены или убиты — Курчаткин, Пулатов, Степан Несвитенко.

Когда доплыли до середины Днепра, на баркасе, по подсчетам Хамита, оставались восемнадцать бойцов, способных вступить в схватку с врагом на том берегу. Только б добраться, только добраться!..

Не добрались. Снаряд угодил в правый борт. В тот же миг Саматов оказался в воде. Эх, умел бы он плавать, дотянулся б до того высокого берега, зубами б вцепился в горло врага!

Последнее, что вспоминает Хамит — бревно, на которое навалился он грудью...

Как оказался он в снежном сугробе, этого Саматов не узнает уже никогда: то ли сам доплыл-таки до заветного берега, то ли выловил кто, вынес на твердую почву,— не знает, не помнит. Запомнилось только, что явно расслышал над собой голоса. Кто-то сказал: «А это ж вроде бы человек.— И затем:— Похоже, живой, дышит как будто...»

Больше Хамит не слышал, не чувствовал ничего. Он еще продолжал существовать для других. Для себя он уже умер.

Первое, что ощутил он, придя ненадолго в сознание, была острая боль: видно, осматривали или перевязывали раны. Потом опять забытье и еще одно смутное, будто в тумане, видение: устланная сеном телега и два женских лица, закутанных в большие платки. Мать и дочь? Сестры? Просто соседки? Откуда знать об этом Хамиту?

Жизнь вернулась к нему в полевом госпитале. Потом был долгий путь в санитарном поезде и другой госпиталь, тыловой.

Через несколько месяцев Саматова выписали оттуда с белым билетом — инвалид Отечественной войны II группы. Так, с рукавом, заправленным под солдатский ремень, весной 44-го года вышел Хамит из вагона на знакомый перрон каттакурганского вокзала.

То, что дальше мне предстоит рассказать, настолько необычно, так трудно поддается психологическому истолкованию, что прочти я нечто подобное в новелле, повести или романе — литературе писательского вымысла, я б непременно отчеркнул это место и на полях поставил вопрос:неправдоподобно, неубедительно, в жизни так не бывает.

Оказывается, бывает.

На вокзале Хамита никто не встречал — он и сам не знал толком, когда доберется до Каттакургана, как же тут было предупреждать о приезде? Да и к чему? Не заплутает — сам дойдет до родного порога.

С вещмешком на плече он бодро шагал по улицам, исхоженным с детства, и каждый дом, каждая вывеска над магазином, мастерской, парикмахерской пробуждали в его памяти какие-то давние сцены, события, образы. Лицо Хамита Саматова светилось счастливой улыбкой — он представлял, как вскрикнет, уткнется мокрым лицом ему в грудь поседевшая мать, как стиснет его в крепких объятьях отец, всегда такой сдержанный в выражении чувств. И Хамит торопился.

Он свернул на узкую улицу, теперь до дома оставалось совсем не много, и вдруг у одной из калиток, заколоченной крест-накрест досками, увидел ребенка. Собственно, что это ребенок, разобрал он потом. Сперва ему показалось, будто у забитой калитки просто куча тряпья — какой-то прохожий, верно, бросил его за ненадобностью. Хамит прошел мимо, и тут что-то заставило его оглянуться — показалось, тряпье шевелится. Вернулся, сел на корточки, стал разг-

ребать серогрязную ветошь, и взглядом уперся в большие, бессмысленно неподвижные ребячьи глаза.

Говорят, что война ожесточает сердца, делает их глухими, бесчувственными к чужому страданию...

Вытащив ребенка из сырого тряпья, Хамит укутал его своей теплой шинелью, вскинул на грудь и понес. Вскоре рука затекла. Пришлось сделать привал. Эх, была бы вторая... Утешил себя: хорошо еще голова на месте осталась да и сердце уцелело как будто.

Да, сердце его уцелело.

Все было так, как и представлял себе по дороге Хамит — только переступил он порог, вскрикнула, ткнулась мокрым лицом ему в грудь поседевшая мать, потом объятья отца, его взгляд, светящийся нежностью. Наверно, многое им хотелось сказать в ту минуту, расспросить о многом. Но первое, что промолвил старый Самат после крепких объятий:

— Мальчик? Девчонка?

— Не знаю, отец.

Брови хмуро насупились на лице Самата Гафурова, спросил удивленно:

— Как это так? Отличать разучился?

Пришлось рассказать все как было:

— Сейчас вот по улице шел, гляжу — человек у забитой калитки. Пришлось подобрать. Совсем уж он плох... Может, отец или мать потеряли? Покормим, согреем, потом отведем в милицию или куда там еще.

Мать Хамита — Мангит, причитая и охая, подхватила ребенка, отнесла на разостланное в углу одеяло, одну за другой стала сбрасывать с него дырявые одежонки.

— Ну?— поинтересовался через минуту Самат.

— Чего «ну»?— с необычной для нее раздражительностью напустилась на мужа Мангит.— У ребенка жар, лихорадка, а вам главное — кто: мальчик, девочка, ангел небесный!

Мужчины переглянулись виновато, стесненно, а Мангит продолжала:— Чем пустыми вопросами морочить меня, лучше б врача к мальчишке позвали.

Так, значит, выяснилось, что Хамитов найденыш — мальчишка. По виду было ему года четыре, а может, и пять. В бреду бормотал он что-то невнятное. На вопросы об имени, о фамилии, о том, откуда он родом, есть ли у него какая родня и где она, если имеется, не отвечал: не слышал или не понимал языка — ни русского, ни узбекского.

Врач из детской больницы, приведенный в дом Саматом Гафуровым, осмотрел малыша, бросил на взрослых тяжелый, осуждающий взгляд, произнес с холодной враждебностью:

— Как же вы ребенка до такого состояния могли довести? Опух весь от голода, запущенная пеллагра, двустороннее воспаление легких.

Мангит хотела было оправдаться перед врачом, объяснить, что

ребенок не свой, что только какой-нибудь час-полтора как сын принес его с улицы, но муж перебил ее на первом же слове, повернулся к врачу:

— Долго рассказывать. Не время теперь. Только просим вас, доктор: спасите! А мы уж, что можем, сделаем все.

— Не поздно ли спохватились? Срочно в больницу! В домашних условиях поручиться ни за что не могу.

— Хоп, хоп, спасибо вам, доктор,— прижимая руки к животу, кланялась седая Мангит.

— Выпишу направление, сейчас и несите. Только потеплее закутайте... Имя, фамилия, сколько ребенку?

Наступила неловкая пауза. Мангит поглядела на мужа, тот на Хамита.

— Ну!— поторапливал врач.

— Кудрат,— тихо, нерешительно молвил Хамит.

— Как?

— Кучкар,— твердо уже произнес Хамит.— А фамилия наша — Саматов. Четыре года ему.

В больнице подтвердили диагноз: пеллагра, двустороннее воспаление легких. Сказали Мангит:

— Хотите, чтоб выжил,— оставайтесь при нем.

На целых полгода остался дом без хозяйки. Пришлось мужчинам самим и одежду стирать, и куховарить, и за непоседой Донатом присматривать. А еще каждый день то один, то другой передачу в больницу неси. В общем, досталось, надолго запомнили Саматака и Хамит эти полгода.

Через несколько дней после приезда отправился Хамит в военкомат сниматься с учета, оформлять документы на гражданскую жизнь. Василий Акимович Мельник, военком Каттакургана, поглядел на Хамита, полистал его солдатскую книжку, предложил неожиданно:

— На первое время, пока что получше подыщешь, оставайся у нас. Вольнонаемным зачислим.

Хамит согласился: трудно было вот так в одночасье с армией рвать, к тому же, на какое дело еще был он пригоден в ту пору — инвалид однорукий, ослабленный после нескольких месяцев госпиталя? Написал заявление.

Каждое утро являлся теперь Хамит в военкомат, аккуратно исполнял поручения, и это как-то утешало его — внушало сознание своей причастности к общему делу, к тяжелой битве с врагом. Работники военкомата, тоже в большинстве своем меченные кровавым клеймом войны, приняли Хамита по-дружески, в первое время помогали ему советом и разъяснением, наставляли, как лучше справиться с делом. Но о том, какова его личная жизнь, тогда еще не знал в военкомате никто.

А личная жизнь складывалась у Саматова совсем не обычно. Как-то в больничном дворе, когда Хамит принес передачу, Мангит сказала ему:

— Люди сперва женой обзаводятся, потом уж детьми. У тебя все навыворот.

Этот разговор уже после того состоялся, как Хамит, пока мать с Кучкаром в больнице лежала, привел в дом еще одного беспризорного. Было тому года три. Ни имени, ни фамилии своей мальчишка не помнил. Не знал, откуда он родом. Пришлось наречь его новым именем — Арсланом Хамитовым.

«Мать, конечно, права,— думал Хамит, приткнувшись в углу тесного вагонного тамбура,— ехал в Карши, по срочному делу командированный туда военкоматом.— Больше не буду детишек в дом приводить. А то ведь и правда: какая девушка согласится пойти за меня, многодетного? Так на всю свою жизнь холостяком и останусь. Все, порешил».

Из Карши он возвращался с семилетним Нурмухаммадом и его рослым псом: ни в какую не желал упрямый пацан расставаться со своим четвероногим напарником — пришлось взять обоих.

Потом, уже в Каттакургане, подобрал на одной из окраинных улиц двухлетнего Сунната. Собственно, какое имя дали мальчишке, когда тот родился, Саматов не знает. Суннат — это уже сам Хамит назвал его так.

С Иваном Широковым было иначе. Месяца за два до того, как залучить его в дом, познакомился Хамит с одноруким бродягой. То здесь повстречаются, то там набредут друг на друга. Парень взрослый, лет шестнадцать по виду, а дичится как маленький. Потом уж Хамит разузнал о нем поподробней. Оказалось, в начале войны отец Вани Широкова ушел добровольцем на фронт, с тех пор ни слуху, ни духу — наверно, погиб. Мать потерял во время бомбежки. Остался Ваня сам по себе. А когда подступила к городу фашистская армия и многие жители бежали в леса, потянулся за ними и Ваня. Так оказался младший Широков в партизанском отряде. Парень смекалистый, безбоязненно храбрый, он не раз отправлялся в разведку, добывал партизанам полезные сведения. Вот только на боевые операции не брали его — берегли. А уберечь не сумели: возвращаясь с задания — ходил он на связь с одним из подпольщиков в городе,— нарвался на немецкий патруль. Поймать не поймали, но несколько пуль всадили в плечо. Пока способ искали переправить мальца на советскую сторону, пока везли на санях, на день прятали в скирдах — рука отекла, почернела. В госпитале, куда партизаны доставили Ваню, врачи долго щупали, мяли опухшую руку да так виновато, жалостливо поглядывали на паренька, что тот догадался: баста — быть ему одноруким!

После операции, оклемавшись немного, стал парнишка донимать госпитальное начальство: в часть, какую поближе, отправьте его — будет сыном полка, а нет, так везите к партизанам обратно.

Ваню снабдили письмом за печатью и под присмотром медицинской сестры — отвоевалась бедняга — отправили в тыл. Нужно сказать, конвоир у Вани Широкова оказался бдительный, строгий: сколько раз пытался он улизнуть, на какие только хитрости не

пускался — не вышло. Так и доставила его медсестра прямым ходом в какой-то детдом, сдала под расписку.

Ну а дальше дело уже было простое — не прошло и недели, как Ваня удрал. Поймали. Снова в детдом. И опять ненадолго. Сколько раз уже ловили мальчишку, отправляли в детдом и сколько раз он оттуда бежал — и сам не припомнит, сбился со счету. А поймают — опять убежит, это уж точно. Жизнь без родителей, партизанская вольница — познал вкус свободы. Ни пряником, ни хлыстом в казенный режим его теперь не загонишь.

Уж как только Хамит не вразумлял паренька.

— Ну кой тебе, слушай, такая свобода — бродяжничать, побираться, жить в одиночку, будто кругом не свои, а враг-притеснитель?

— Зато никто мне не командир, не хозяин — как хочу так и живу. Лафа, батя! А то — так нельзя, так не положено, так некрасиво. Тьфу, слушать противно!

— А что б оно, по-твоему, вышло, когда бы в армии каждый вот так?

— Так то армия! Гражданка — дело другое,— не поддавался Иван.

— Хоп, не хочешь в детдом — не надо. Чего мне тебя агитировать? А под базарной лавкой или на скотном дворе спать тебе, прямо скажу,— против Советской власти идти! Как же иначе? Люди что про это могут подумать? Вот, мол, джигит — это ты, значит, Ваня,— кровь за Родину отдал, инвалидом остался, а Родина ему даже крыши над головой не дала — на скотнике спит, объедками чужими питается. Нехорошо это, Ваня, нечестно. Такие, как мы,— и Саматов получше заправил пустой свой рукав под солдатский ремень,— такие, как мы, должны про многое думать.

Видно, прямо в душу запали парнишке эти слова, потому что на следующий день он уже сам дожидался Саматова у входа в военкомат.

— Ну, как решил, что надумал, джигит? — поинтересовался Хамит, присев рядом с Ваней на высокий лоток, когда-то поставленный тут для торговли лепешками, а теперь пустовавший.

— В детдом не пойду! — упрямо набычился Ваня.

— Зачем же в детдом? Пойдем ко мне, вместе жить будем.

Сказать, что просто, легко было названым родителям управляться со своевольным, строптивым мальчишкой, было б неправдой. Много хлопот доставил им Ваня — и в школу к директору вызывали, и от соседей что ни день, то новая жалоба. А однажды, через год или два после того, как явился с Хамитом, утром ушел — не вернулся. Уж где только не искали его — как в воду канул, пропал. Через неделю явился и прямо с порога:

— Что хотите со мною делайте — виноват перед вами! — только разрешите остаться...

Что ж, и не такое сыну прощается — отходчиво сердце родительское.

В 1972 году, когда вся большая семья собралась, чтобы отметить шестидесятилетие Хамита Саматова, пришло письмо из Свердловска — от Ивана Широкова. Он писал: «*Спасибо ему и его семье за то, что в тяжелые годы войны он принял меня, как родного сына*».

Такие же письма пришли из Перми, Оренбурга, Ташкента, Куйбышева, Кашкадарьи — отовсюду, где живут сегодня дети Хамита. А было их у него к концу 45-го тринадцать сиротских душ. Тринадцать, потому что уже после Вани Широкова он приютил пятилетнего Женю из Белоруссии, крымского татарина Керима Рамазанова, двухлетнего мальчишку, которого назвал Каримом Рузаевым, шестилетнюю еврейку Лизу, двенадцатилетнего Мирали Турсунова...

Трудно прокормить, одеть и обуть такую ораву. В годы войны это было стократ тяжелей. Скромный заработок отца — Самата Гафурова, более чем скромная зарплата Хамита — вот и все доходы, на какие существовала семья из шестнадцати душ. Не будем строить иллюзий: бедствовала, впроголодь существовала, перебивалась с хлеба на воду.

По прошествии многих лет Хамит-ака вспоминал:

«Бывали дни — ничего в доме нет, ни крошки, ни капли какой-нибудь. Идешь тогда на базар, тащишь, что в кибитке еще оставалось,— то старый кумган, в котором чай кипятили, то замок от дверей: на что он теперь — сами лучше всякого вора кибитку обчистили! К концу войны до того уж дошло, ребятам на двор по нужде выйти надо — жди своей очереди: только пара кавуш на всех и осталась».

В один из таких вот черных, голодных дней Хамит в который уж раз обшарил кибитку, и не обнаружив ничего, что можно бы отнести на базар, в раздумчивости поглядел на свои сапоги.

— Солдат был у нас в роте, ученый такой, образованный. Как что не так, какой ералаш, обязательно скажет: эх, сапоги это всмятку! Все смеются... А может, и вправду, без смеха лучше их всмятку? — взглянул Хамит на отца.— Весна уже скоро. Опять же мозоль жать не будет, латать не потребуется. Кругом одна выгода. А?

— Сам-то в чем ходить будешь? — сердито буркнул Самат-ата.— Босиком побежишь? Не по возрасту. Люди что скажут? А еще, мол, солдат!.. Дай-ка взглянуть.

Сосредоточенно, со знанием дела осмотрел сапоги, протянул их обратно Хамиту.

— Буханку, пожалуй, дадут.

До блеска начистив видавшие виды солдатские сапоги, Хамит набросил на плечи шинель, ушел на базар. Через час возратился без сапог, без шинели, но счастливый и бодрый. Сапоги превратились в мешок шрота, шинель — в целых четыре мешка отрубей.

Теперь можно было сколько-то времени жить поспокойней, не думать над тем, чем накормить детвору.

В тот же день все семейство отметило удачную сделку празднично сытным застольем. А на полный желудок, как говорится, любая беда — полбеды, на самую хитрую загадку отгадка готова. Так и вышло оно с обувкой для безлапотного Хамита.

Еще за обедом, когда с аппетитом проедали его сапоги, кого-то из старших ребят осенило:

— На свалке, за городом, кусок старой автопокрышки валяется. Сам видал. Если вырезать по мерке подошву, сверху суконку приладить — законно получится!

Вечером все, кто постарше, помогали Хамиту тачать «вездеходы», как тут же окрестили ребята его новую обувь.

Наутро, в положенный час, тихим кошачьим шагом — сапоги, так те громыхали, как порожние бочки,— Саматов ступил в кабинет военкома. Василий Акимович поглядел на него — ни сапог, ни шинели, стоит — улыбается, будто хмельной,— да как гаркнет:

— Портки б еще пропил! В исподнем на работу б явился! Какой же ты к черту солдат — забулдыга последний! Поди, откупи все обратно. Не откупишь — считай, уволили за беспробудное пьянство. Так и запишем в приказе.

Обидно стало Хамиту, что не обругал военкома. Сдержался.

— Я, товарищ подполковник, непьющий,— сказал дрогнувшим голосом.

— Оно по тебе и видно. А где ж тогда сапоги, где шинель?!

— На шрот да на отруби поменял для ребят. У меня ведь их как-никак тринадцать ртов, товарищ подполковник.

— Тринадцать ртов? У тебя? — удивился Василий Акимович.— Да ты, брат, еще и теперь, гляжу, не того — под парами. Откуда ж дети, когда и жена по документам не значится?

— Жены, правда, нет, детей сколько сказал — ровно тринадцать,— упрямо твердил Хамит.

— Загадка. А где они, дети твои?

— Дома. Где же еще?

— Ладно. Поехали поглядим. Ну, если морочишь — гляди у меня!

В 1972 году полковник в отставке Василий Акимович Мельник писал из Алма-Аты Хамиту Саматову:

«Я всегда восхищался Вашим благородным поступком и, выступая перед молодежью, рассказываю о простом узбекском человеке, инвалиде, который в трудное военное и послевоенное время воспитывал тринадцать чужих детей...»

То, что увидел тогда Василий Акимович, придя в кибитку к Саматовым, поразило его до слез. Нет, не в фигуральном значении — в прямом и буквальном: человек бывалый, тертый и фронтом и тылом, он плакал навзрыд, раз за разом твердя одни и те же слова:

— Что ж ты, друг, никому ничего?.. Что ж ты так...

Сразу ж из этой тесной кибитки, с глиняным полом, узкими подслеповатыми окнами,— она и сейчас еще, кибитка-музей, стоит во дворе у Саматовых,— повез Василий Акимович Хамита к себе. Все, что было в доме съестного, что можно было обуть или, перешив, надеть на ребят, затолкал в вещмешок, чуть не силком нацепил на плечи Хамита.

В тот же день, собрав в своем кабинете всех сотрудников военкомата, подполковник Мельник рассказал им о вольнонаемном Саматове и его тринадцати детях.

С этого времени жизнь в семействе Хамита потекла по-иному. То один, то другой из товарищей по работе наведается в кибитку Саматова — кто с гостинцем в кармане, а кто просто так — посидеть, с детьми поиграть. Но кто уж и вправду к Хамитовым детям душой прикипел, так это Ситникова Евдокия Петровна, тоже сотрудница военкомата. И ребят перемоет, и одежку перешьет, залатает, а час свободный останется — с малышами по парку гуляет. Словом, через месяц-другой своим человеком стала в доме Евдокия Петровна, тетя Дуся, как прозвала ее детвора.

Но тетя, какой бы доброй и ласковой она ни была, тетей и остается. Кажется, первым эту мысль высказал вслух тогда уже трехлетний Суннат:

— Пап, а пап, а почему у всех других мамы есть, а у нас только тетя и бабушка?

Ну как было объяснить малышу, что Хамит и сам бы желал привести к себе в дом любимую девушку, которая ему бы стала женой, а ребятам заботливой матерью? Да разве ж она согласится? Ни Суннату, ни даже матери родной не решался поведать Хамит о чудной девушке из швейной артели, о Санобар, по которой давно уж вздыхал. А что он может сказать самой Санобар? Выходи, мол, замуж за меня, однорукого, будет сразу тебе и муж, и тринадцать готовых детей. Так, что ли, должен он свататься?

Не хочу фантазировать, не знаю, какие слова сказал он девушке из швейной артели, но знаю доподлинно, что в 45-м году Санобар стала женой Хамита Саматова, доброй матерью всем тринадцати его домочадцам.

Что ж, много лет с тех пор миновало, много событий пронеслось и над подворьем Хамита-ака.

Так и не достроив новый каменный дом, в котором бы могла разместиться вся большая семья, умер отец Хамита — Самат. Постарела, ссохлась, часто хворает Мангит.

У Хамита и Санобар — счастливая пара! — шестеро кровных детей: пятеро сыновей и дочь Амина. Старший, Рахматулло, Ташкентский пединститут окончил, младший — только недавно в школу пошел.

Ну а чужие?.. Чужих никогда у них не было. Все тринадцать приемных детей были для Санобар и Хамита такими же родными и близкими, как и шестеро, появившихся позже. Как живут они, кем стали сегодня?

Донат Александрович Клепиков так и остался в Каттакургане — главный инженер маслозавода. Повзрослевшую Лизу после войны разыскала родня. У Нурмухаммада обнаружились брат и сестра, все втроем они мать разыскали. У самого Нурмухаммада растет шесть детей — внуки Хамита.

Несколько лет назад Саматов вышел на пенсию, но дел у него и сегодня хватает — такая уж, видно, неугомонная это натура. В доме его всегда многолюдно и тесно: то один сын с семейством на отдых приедет, то другой из дальних краев пожалует в гости и тоже непременно с семейством. Вот и возится убеленный сединами ветеран с сыновьями и внуками. Вечный отец.

Говорят, что война ожесточает сердца, делает их глухими к чужому страданью...[1]

ЧЕРНАЯ ГЛАВА

Шел солдат с фронта. У забитой калитки увидел ребенка. Подкидыш...

Поздним вечером по одной из темных улиц Ташкента возвращалась домой Бахрихон Аширходжаева. Крик младенца полоснул ее по самому сердцу. Неужели подкидыш?..

Великой мерой благодарности и восхищения мы платим красоте, человечности и великодушию Хамита Саматова, Бахрихон Аширходжаевой, Шаахмеда Шамахмудова и многих других, кто в годы войны не дал погибнуть, приласкал и согрел осиротевших, бездомных малюток. Но неизбежен вопрос: как оказался у забитой калитки тот, кого подобрал возвращавшийся с фронта солдат, какое каменное сердце могло решиться на то, чтобы бросить на улице, на пути Бахрихон, едва появившееся на свет беспомощное существо? Кто они?

Памятуя о прежних своих оплошностях и угрызениях, какие пришлось из-за них испытать, остерегусь поспешных суждений и опрометчивых выводов. Хочу разобраться как следует. Но об одном могу — наверное, должен — сказать прямо и сразу.

Я плохо, односторонне выполнил бы свою задачу, если бы у читателя сложилось такое сладостно-утешительное представление, будто вся эпопея по спасению десятков тысяч детей, обездоленных страшной войной, вершилась гладко и благостно, без трудностей, без драматизма, без срывов и преодолений. Это не так: наряду со светлым, человечным и добрым было и то, о чем вспоминать и рассказывать горько. На черный след этих фактов нет-нет да и наткнешься в документах, письмах, словах участников тех

[1] Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1982 г. за активное участие в общественно-политической жизни и воспитании 13 детей, потерявших родителей, Хамит Саматов награжден орденом Трудового Красного Знамени.

давних событий. Не вижу нужды стыдливо отворачиваться от них, не давать им доступа на страницы повествования, объясняя такую искусственную отфильтровку тем, что факты эти широкого распространения не имели и были в своем существе не типичными, но редкими, исключительными, из ряда вон выходящими. И все же были они.

Я извлекаю из архивов пожелтевший листок — Постановление Совета Народных Комиссаров Узбекской ССР № 587 от 20 мая 1943 года «Об улучшении питания и снабжения промтоварами детей, находящихся в детдомах, детприемниках, и учащихся школ ФЗО и ремесленных училищ». Пункт 16 хочу процитировать.

«За грубое нарушение интересов детдомов и принятие неправильного решения об уменьшении фонда жиров II квартала заместителю председателя Узбекбрляшу тов. Х. объявить выговор и предложить немедленно это постановление президиума Узбекбрляшу отменить.

Указать директорам заводов тов. Я., тов. Т., директорам райпищеторгов г. Ташкента — Куйбышевского — тов. Н. и Октябрьского — тов. А. на совершенно неудовлетворительную их работу по организации снабжения и питания детей детдомов, детприемников, учащихся школ ФЗО и ремесленных училищ.

Предупредить директоров торговых предприятий, руководителей Узбекбрляшу, руководителей баз промышленности, директоров промышленных предприятий и начальников ОРСов, что в случае непринятия ими действенных мер для организации бесперебойного питания детей в детдомах, детприемниках и учащихся школ ФЗО и ремесленных училищ виновные будут привлекаться к строгой ответственности как за срыв важнейшего задания партии и правительства».

20 марта 1942 года в Ташкентском горкоме партии проходило заседание Городской комиссии помощи эвакуированным детям, на котором обсуждался вопрос о шефстве над детдомами. Выступивший на заседании секретарь горкома тов. Кучкаров информировал собравшихся о широком общественном движении помощи эвакуированным детям, развернувшемся по всей республике. Вместе с тем он отметил, что ряд руководителей учреждений и предприятий Ташкента относится к этому важнейшему делу формально, бездушно, бюрократически. В числе таковых секретарь горкома называет руководителей Узбекбрляшу, Мясокомбината, Узпромсовета, Наркомздрава, которые по существу ничем не помогли подшефным детдомам.

На совещании выступил председатель Республиканской комиссии помощи эвакуированным детям, Председатель Совнаркома УзССР А. Абдурахманов. Он указал на недопустимость казенного отношения к важнейшему государственному делу, каким является шефство над детдомами, призвал руководителей учреждений и предприятий к серьезной и повседневной работе в детдомах. **«Шефы должны помочь органам народного образования создать нормальные условия для жизни и воспитания питомцев детдомов,—** говорил в своей речи А. Абдурахманов.— **Пусть помнит каждый руководитель учреждения и предприятия, что партия, Советская власть бездушного отношения к детям не простят никому».**

28 января 1942 года газета «Правда Востока», отмечая боль-

шую работу по устройству осиротевших детей, эвакуированных в Узбекистан из прифронтовой полосы, вместе с тем констатировала:

«Однако еще не все руководители комсомольских организаций чутко относятся к нуждам детей. На днях ЦК ЛКСМУз получил письмо, в котором сообщалось, что дети, живущие в колхозе «Пахтаабад» Алтыарыкского района Ферганской области, не чувствуют заботы комсомольской организации, оторваны от учебы. Между тем в 12 километрах от колхоза «Пахтаабад» находится хороший детский интернат, куда Алтыарыкский райком комсомола мог бы устроить детей. Потребовалось специальное вмешательство ЦК ЛКСМУз и Наркомпроса, чтобы определить туда детей, тогда как дело могли решить и на месте районный комитет комсомола и районо.

Неустанная забота об эвакуированных детях — боевая задача всех комсомольских организаций Узбекистана».

В следующем номере «Правда Востока» снова возвращается к тому же вопросу:

«Однако кое-где находятся люди, которые болтовней о помощи эвакуированным детям пытаются подменить подлинную заботу о них. Заведующий Наманганским облоно т. И. рапортовал Наркомпросу УзССР о том, что якобы детские дома, эвакуированные из районов, временно занятых немцами, обеспечены удобными помещениями, топливом, продуктами питания. На самом же деле многие детские дома, прибывшие в Наманганскую область, не получили здесь самого необходимого. Областной комиссии по устройству эвакуированных детей следует немедленно проверить состояние этих детдомов и оказать им реальную помощь».

Да, недостатки и упущения, связанные с формальным, бюрократическим отношением к детям, к сожалению, были. От этого не уйдешь. Но, обратите внимание, как нетерпимо, резко, оперативно реагировали на них партийные и советские органы, печать, общественные организации и отдельные лица, добиваясь скорейшего устранения этих недостатков, упущений и срывов.

Весьма характерна, как подтверждение сказанного, история с медицинской сестрой ташкентского детдома № 1.

7 мая 1942 года председатель Объединенной шефской комиссии Л. К. Чуковская писала в Наркомздрав УзССР:

«В течение нескольких месяцев я наблюдаю работу медицинской сестры гр-ки С. в детдоме № 1 (ул. Шота Руставели, 10). Я не могу дать оценки ее медицинским познаниям, потому что я не врач, но я уверена, что человек, находящийся на таком низком уровне культуры, как гр-ка С., не может быть медицински образован.

Однако дело даже не в ее темноте. Дело в том, что она чрезвычайно груба с детьми и дети не любят ее и боятся. За больными детьми, находящимися в изоляторе, она еще кое-как следит, но от профилактической работы систематически уклоняется: жалобы детей, что у них болит горло, или бок, или нога, она оставляет безо всякого внимания, дожидаясь того момента, когда ребенок заболеет настолько серьезно, чтобы его можно было отправить в больницу. Она постоянно посылает детей к врачам самостоятельно, не провожая их, и добиться потом у ребенка, что ему сказал врач, бывает очень трудно.

Директор дома тов. Кауфман соглашается с тем, что гр-ку С. необходимо удалить из детдома, однако настаивает на этом недостаточно энергично.

По поручению Объединенной комиссии шефов прошу Наркомздрав удалить гр-ку С. из детдома как работника негодного в детском коллективе и заменить ее работником более культурным, менее грубым и темным».

Занятый многими другими делами и непростыми проблемами того времени, Наркомздрав не торопился с решением. И тогда, спустя три недели, 29 мая, в Наркомздрав направляется уже другое, официальное письмо за подписью заместителя начальника Управления детдомов Наркомпроса УзССР. Вот оно, это письмо, извлеченное из старых архивов:

«В НАРКОМЗДРАВ

тов. Юлдашевой.

Управление детдомами НКП УзССР обращается к Вам как к члену комиссии помощи эвакуированным детям с просьбой рассмотреть дело о медсестре детдома № 1 тов. С., которая проявила себя как очень грубый и малокультурный человек.

Все просьбы шефской комиссии детдома № 1 об освобождении ее от работы не встречают внимания со стороны Фрунзенского райздрава.

Прошу Вас рассмотреть это письмо и распорядиться о немедленном освобождении тов. С. от работы в детдоме № 1».

Сухая информация из книги приказов: с 1 июня 1942 года медсестра С. от занимаемой должности в детдоме № 1 освобождается, на ее место назначается новая.

Что ж, сухая и скучная книга приказов, если листать, просматривать ее, дав волю воображению, способна поведать о многих событиях, фактах и судьбах, воссоздающих в своей совокупности образ эпохи. К этой «Черной главе» я отбираю специально лишь черные факты.

Приказ № 64 от 14 января 1942 года: директора детдома № 1 Беговатского района тов. К. за развал работы от должности отстранить. Назначить директором тов. Н. К. Козлова.

Приказ № 219 от 14 февраля 1942 года: за антипедагогические методы работы с детьми и хищение продуктов директора детдома № 3 Орджоникидзевского района Ташкентской области Ч. от должности отстранить. Дело передать в прокуратуру.

Приказ № 669 от 24 июня 1942 года: директора детдома № 16 г. Ташкента Р. снять за бездеятельность. Назначить директором тов. Г. Щербакова.

Я не знаю, где живет сейчас Неизвестная Света, как сложилась ее судьба. Но, возможно, ей в руки попадет эта книга, и тогда, уже взрослая женщина, она узнает о той странице своей биографии, которую вряд ли сохранила детская память.

В 1942 году четырехлетняя беспризорная девочка была снята с эшелона, который прибыл в Ташкент из центральной полосы России. На все вопросы дежурной Детского эвакопункта она отвечала одно: «Меня зовут Света». Ни фамилии своей, ни возраста, ни места рождения припомнить девочка не могла. Так в книге первичной регистрации появилась довольно обычная для того времени краткая запись: «Неизвестная Света, 4 года». Во всех остальных графах анкеты были сделаны прочерки. Вместе с другими ребятами, той же ночью приехавшими в Ташкент, Света прошла через Карантинный детдом и спустя две недели под своей новой фамилией — Неизвест-

ная — была направлена на постоянное жительство в один из стационарных детских домов.

28 июля 1943 года в книге регистрации детей, отданных на патронат, появилась запись № 1050: «Неизвестная Света взята на воспитание супругами Ф.— г. Ташкент, ул. 5 декабря, №...» К делу, с соблюдением всех непременных формальностей, приложено заявление супругов, изъявивших желание взять на патронат безродную сироту, справка с места работы, медицинская справка и результаты анализов, подтверждающие, что по состоянию здоровья они могут взять ребенка на воспитание, акт обследования их жилищных условий. Тут же их фотографии — лица как лица: ни какой-то особой доброты и сердечности, ни злодейства отпугивающего на них не написано. Впрочем, когда, до конца проследив историю пребывания Светы в доме этих супругов, я снова взглянул на тусклое фото, мне почудилось уже нечто иное.

А история эта оказалась действительно мрачной.

Через несколько месяцев, в том же 43 году, к делу Светланы был подшит еще один лист: акт обследования — вполне благополучный, очень спокойный. Казалось — всё: никаких оснований волноваться за девочку больше нет — живет в обеспеченном доме, в хорошей семье, окружена заботой и лаской. Но это только казалось.

Последний лист в деле — акт другого обследования, проведенного одной из женщин-общественниц некоторое время спустя. Акт воистину черный: взятая на воспитание Неизвестная Света используется супругами Ф. с корыстными целями. И резолюция: изъять у патронов в течение суток.

На следующий день Неизвестная Света была уже воспитанницей детского дома.

Быть может, взрослая женщина, давно сменившая фамилию, сама себе давшая отчество, Светлана не помнит уже об этой печальной странице своей биографии. А может, какие-то смутные тени, размытые очертания далеких военных времен еще порой подымаются из глубин ее памяти. Как это бывает с Натальей Васильевной Добрыниной.

«В Ташкент я прибыла в годы войны. Когда точно не помню,— рассказывает Наталья Добрынина.— Эвакуировали меня, по-видимому, из Богучара, а что за местность такая и где он находится, тот Богучар, понятия не имела. Затвердила только одно: Богучар, Богучар... Звали меня Ната Добрынина, а сколько мне было лет, тоже не помню.

Все, что было со мной до войны, сохранилось в сознании как несколько туманных картин, между собою не связанных. Помню, что находилась с детьми. Детдом это был или обычный детсад, наверняка сказать не могу. Почему-то врезалось в память, что перед самой войной в большой светлой комнате — вероятно, столовой — были выкрашены полы. Рядом с домом, в котором жила, протекала река, сейчас так считаю — какая-то крупная: отчетливо помню плывущие по ней пароходы. И еще вспоминаю — на берегу росли

лопухи. Теперь-то я знаю, что Богучар — поселок в Воронежской области и стоит он неподалеку от Дона. Но был ли то действительно Богучар, а река — Дон, поручиться никак не могу.

Следующая картина, что врезалась в память,— еду на тряской телеге среди множества женщин. Вдоль дороги — мужчины с лопатами, роют окопы. Потом, не знаю уж как, оказалась я вместе с другими детьми в кузове грузовика. Ехали через лес. Испугавшись грозы, какая-то девочка вскрикнула: «Громния!»— запомнилось на всю жизнь.

Вспоминаю, будто какую ленту порезанную на экране гляжу, и вроде не я, а другая на этой ленте заснята. Только зовут ее, эту другую, как и меня,— Ната Добрынина.

Потом была теплушка товарная. Детворы в ней — мальчишек, девчонок — как муравьев. Помню, давали нам есть такие большие круглые булки и мятные конфеты в обертке. Уже после войны угостили как-то меня «Барбарисом». Если есть в языке человеческом память — они. Но это потом. А тогда — тоже ведь где-то на нёбе, в горле память осталась — пить хотелось до невозможности, а воды ну ни капли. Только после разъезда какого-то дали нам мутную, тепловатую воду и то по глотку.

Сколько времени ехали, где останавливались — этого я не скажу. После долгой стоянки одной прицепили нас к паровозу. Он как дернет — девчонка малая с нар и грохнулась на пол. Плач, крик, суета на колесах. Здорово расшиблась бедняга.

В Ташкент мы приехали ночью. К вагону подогнали грузовую машину, перекинули к нам, будто трап, широкую доску, по одному перенесли, усадили нас в кузов. Ехали, как помню, недолго,— квартал или два от вокзала. Остановились у дома в несколько этажей. А может, в ночной темноте это только померещилось мне, будто дом тот был высокий, многоэтажный. Но вот что комнат в нем было как в царском дворце — это уж точно. И комнаты все большие, просторные, а в них много кроватей со спинками, такие низкие столики и стульчики при них, тоже низкие.

Находилась я там, в этом доме, какое-то совсем недолгое время. Как-то утром вошли к нам в комнату две незнакомые женщины. Дети, все, кто там был, вскочили, наперебой загорланили: «Тетя! Возьми меня, тетя!» Вместе с другими орала и я. Оттого ли что кричала я громче других, по какой ли иной неведомой мне причине, но женщины остановили свой выбор на мне. Так я попала в семью, потом уж сообразила — на воспитание.

Женщины эти, как теперь понимаю, были между собой в коротком родстве — то ли сестры, то ли, скорей, мать и дочь. Младшую звали Леля, старшую — уже позабыла. Жили они в авиагородке и, в общем, так вспоминается, жили в достатке: куры, свиньи, огород, барахла в доме столько, мебели всякой — пройти невозможно. Та, что постарше, в аэропорту служила — на раздаче горючего, младшая — кассиром в военной столовой была. По тому голодному времени недурно пристроились. И на то, чтоб поесть, и на то, чтоб одеться, хватало, и еще на черные дни, как говорили мои благодетель-

ницы, помаленьку накапливали: что-то на базаре выменивали, что-то скупали, и всё в сундуки, в сундуки.

На что, сирота, понадобилась я им — до сих пор ума приложить не могу. Чтоб такие уж были они сердобольные, на чужую беду чувствительные — так вроде б напротив — злые, завистливые. Чтоб так уж и млели они при виде ребенка, изголодавшегося, в лохмотья одетого,— опять же не примечала за ними такого.

Главное, что запало мне в память от того далекого времени,— слово «нельзя»: побрякушку с комода трогать — нельзя, в буфет лезть без спросу — нельзя, с соседями на дворе, коль станут расспрашивать, в разговор вступать — ни за что. Одно только и слышишь бывало — нельзя и нельзя! А чуть что не так — не то скажу, не так, как следует сделаю — старшая жучит меня: «И откуда только подзаборное чучело, взялась ты на нашу голову! Чтоб пропасть тебе, ирод-мучитель!» Я расплачусь и ною: «Мама, я больше не буду...» А она мне затрещину и кричит, не уймется: «Не кличь меня мамой! Величай по имени-отчеству!» Имя-отчество я уже позабыла, а «материнская ласка» ее до сих пор нет-нет да и вспомнится.

Долго ли жила я у этих женщин, точно сказать не могу. Похоже, год или немного побольше. Потому что, помнится мне, сначала на улице было холодно, потом стало тепло, потом опять холодно. Стало быть, от зимы до зимы. А кончилась для меня эта «райская» жизнь по такому несчастному случаю.

На какой-то праздник большой купили мне женщины сапожки, как сегодня вижу,— коричневые. Одели меня понарядней и снарядили во двор: «Гуляй, не марайся!» Теперь понимаю, соседям хотели глаза побольней уколоть: глядите, мол, чужая, не кровная, а как у нас ходит — получше ваших родных!

Недалеко от двора, где мы жили, протекал давно уж нечищенный неширокий арык, обсаженный деревцами молоденькими. Вместе с подружкой направились мы прямо туда и затеяли такую игру — кто сколько раз через арык перепрыгнет. Прыгала я, потом она прыгала — словом, очень весело развлекались. И наверно, никакого следа не оставил бы этот арык в моей биографии, если б на одном из прыжков я не сорвалась, не угодила на его топкое дно. Арык не глубокий — утонуть в нем нельзя но, когда я выбралась на сухое, пальтишко мое, шерстяные рейтузы, а главное, сапожки, совсем еще новые, ни разу до того не надеванные,— все было в черной вязкой грязи. Что ждет меня дома, даже детским умом сообразить было просто. И я, дрожа от страха и холода, расставшись с подружкой, ушла подальше — к кустам ежевики — и там притаилась. Нашли меня уже затемно. Уложив на диван, долго били, осыпая проклятьями, а наутро отвели в детский дом. Так началась моя новая жизнь в дошкольном детдоме № 18, что на Чорсу».

С Натой Добрыниной, Натальей Васильевной, мы еще встретимся позже, на предстоящих страницах повествования. Теперь же хотелось бы вместе с читателем вернуться к началу этой черной главы.

Итак, возвращаясь домой после фронта и госпиталя, Хамит Саматов обнаружил у забитой калитки подкидыша. Бахрихон Аширходжаева спасает другого. Приносит в свой дом малютку-подкидыша ташкентский кузнец Шаахмед Шамахмудов. Перечень имен и фамилий людей, которые в тяжелые годы войны подобрали, спасли, воспитали беспризорных детей, можно продолжить. Но все же основная масса таких вот младенцев оказывалась в государственных домах ребенка, существовавших во всех городах Узбекистана. В надежде на то, что архивы этих домов дадут мне ответ на вопрос, который не первый уж день бередит мне душу,— откуда брались эти подкидыши, какая рука, не дрогнув, могла оставить младенца под забитой калиткой, на скамье среди улицы, у входа в милицию,— я с волненьем и трепетом дело за делом перебираю документы 42 года по Ташкентскому городскому дому ребенка, что находился в ту пору по улице Арпапая.

Первое, на что обращаю внимание,— в начале каждого дела вслед за именем, фамилией и годом рождения ребенка следует обязательный пункт: родительский или подкидыш?

И снова недоуменный вопрос: как очутился в этом доме подкидыш — в общем, понятно, но какая злая судьба могла привести сюда ребенка «родительского»?

Не торопитесь, не торопитесь с судом.

ДЕЛО № 642

Андреева Неля.
Родилась — 4 июня 1937 г. (со слов матерн).
Роднтельская.
Поступнла в Дом ребенка — 12 августа 1941 года.
Эвакунрована со станции Лнда.
Отец — майор, в действующей армии.
Мать...

Читаю следующий лист:

АКТ

1942 г., апреля месяца, 13 дня я, нижеподписавшаяся патронажная сестра Городского дома ребенка, составила настоящий акт в следующем:

По заданию социально-правового кабннета я навела справку о матери Нели Андреевой, находящейся в Доме ребенка. Дежурный и лечащий врач 2 корпуса, 2 отделення сообщили мне, что мать Андреевой, находящаяся в больнице уже продолжнтельное время, чувствует себя очень плохо, состоянне здоровья ее — тяжелое.

Я сказала врачу, чтобы она сообщила матери: дочь ее, Неля Андреева, находится в доме ребенка, здорова, чувствует себя хорошо.

Патронажная сестра СЕМЯНОВСКАЯ.

И таких документов по «родительским» детям много, почти все: отец на фронте, мать — только недавно по эвакуации оказавшаяся в Ташкенте, без родни, еще без знакомых,— мать в больнице.

И как ликует, как радостно бьется сердце, когда на последней

странице дела читаешь: «Общее состояние хорошее, ест с аппетитом, стул нормальный»— и ниже: «Ребенка получила здоровым»— и роспись матери.

Впрочем, последняя строчка в «Истории развития ребенка» бывает звучит и по-другому: «Отдан в дети», «Взят на коллективный патронат», у многих, как и у Нели Андреевой,— «По возрасту переведена в детдом». Однако, не стану скрывать, среди десятков других случается встретить и такую скорбную запись: «Леня С., 1 год 6 месяцев. Эвакуированный из Житомира. Поступил в Дом ребенка 21 ноября 1941 г. Умер 6 января 1942 г. в 10 часов 15 минут утра от колита и воспаления легких туберкулезного характера...»

Но это все о детях «родительских». Какую же тайну откроют архивные книги о детях-подкидышах?

Дело № 736. Подкидыш — 2,5 — 3 месяца.

К делу приложен акт:

«Я, дежурный уполномоченный железнодорожной милиции ст. Ташкент М., в присутствии гр-ки М. составил настоящий акт в том, что 25/X — 41 г. на ст. Ташкент-пассажирская в зале № 6 нами был обнаружен ребенок трех месяцев без родителей и родственников. В соответствии с существующим правилом направляю ребенка в Дом младенца».

Какой же это подкидыш?! Разве что термином этим определять для удобства всякого потерянного родителями ребенка.

Чем внимательней вчитываюсь, чем больше думаю я об этом злосчастном акте, тем яснее рисуется перед моими глазами такая картина.

После долгих, изнурительно тяжких недель пути Она прибывает в Ташкент. Холодная осенняя ночь. Площадь, до самых краев запруженная людскими телами; мешками, баулами, свертками. С грудным младенцем на руках Она ходит по узким проходам, отыскивая хоть крохотный островок, где можно бы переждать до рассвета. Нашла. Присела, осторожно подвинув спящую женщину. Теперь бы только малыш не проснулся. Но малыш просыпается, надрывно кричит, заходится — малыш хочет пить. Не в силах нести его на руках, Она кладет малыша на подстилку, просит женщину, что проснулась от крика: «Поглядите за мальчиком. Я только воды наберу. Я мигом, сейчас...»— и уходит.

У разборной колонки давка и шум. Не так-то просто протиснуться к крану. Из-за чьей-то спины Она тянет руку с бидоном и чувствует, как, наполняясь, он тяжелеет.

Но вдруг какая-то сизая мгла застилает глаза, к горлу подступает комок. Она теряет сознание. Последнее, что кошмаром проносится в ее голове: «Как же мой мальчик? Что будет с ним, господи?!»

Врач из вокзального медпункта констатирует как нечто обычное: «Голодный обморок. В больницу!»

Она приходит в сознание через сутки и, вспомнив все, что случилось, снова впадает в беспамятство.

А в Доме ребенка на сына ее уже заведено дело: подкидыш.

Потом, сбежав из больницы, Она будет метаться по городу,

в отчаянии заламывать руки, искать и искать своего малыша. Повезет, опознает его, и тогда на последней странице «Истории развития ребенка» появится счастливая запись: «Взят матерью», дата и подпись. Не повезет... Так и будет значиться в деле: подкидыш.

Может, кто-то решит — домыслы автора, игра воображения? Увы — это правда. Вспомните историю трех братьев Гребельских, мать которых на какой-то неведомой промежуточной станции была снята с поезда и отправлена в больницу, а дети — мал мала меньше — оказались в Ташкенте. Такой же трагический случай произошел и с Александрой Изосимовной Факеевой, которая в июне 1944 года вместе с тремя детьми — дочерью Сашей и сыновьями Геной и Мишей — ехали через Ташкент в Новосибирскую область. Тяжело заболевшую, ее сняли с проходящего поезда и поместили в больницу, а детей определили в детдом. Как и та, о которой я только догадываюсь, Александра Изосимовна, едва встав на ноги, сбежала из больницы и, обезумевшая от горя, кинулась искать своих детей. Мишу она разыскала. Дочь — Александру Григорьевну Факееву, 1928 года, уроженку станции Кривощеково Новосибирской области, и сына — Геннадия Григорьевича Факеева, 1943 года, уроженца города Андреевка Казахской ССР,— она ищет и ждет до сих пор.

Не хочу фантазировать, но очень возможно, что годовалого Гену, доставив его в Дом ребенка и не обнаружив при нем документов, записали все так же: подкидыш.

К несчастью, таких мнимых подкидышей было немало, и вполне вероятно, что именно вот такого подобрал у забитой калитки Хамит Саматов, нашла среди улицы Бахрихон Ашрходжаева, принес к себе в дом Шаахмед Шамахмудов.

Но были, конечно, и другие подкидыши — настоящие. Записки — кровавые завещания матерей — не оставляют в том ни йоты сомнений. Вот они, подшитые к делу мятые, грязные, исписанные торопливой дрожащей рукой свидетельства человеческой низости.

Как правило, эти записки предельно коротки: имя, фамилия, дата рождения. Фамилия, разумеется, ложная: оберегая себя от людского презренья и гнева, истинной фамилии она не укажет. Среди прочих имеются в папке и две-три записки пространные. Как бы заранее защищаясь от сурового суда и проклятья, авторы этих записок тщатся оправдать свое преступление отчаянной безысходностью того положения, в каком оказались, пытаются разжалобить, сыграть на человеческой сострадательности и тем сторговать себе прощенье в глазах окружающих, унять свою изъязвленную совесть. Впрочем, читайте и сами судите.

«Дорогие граждане! Прошу вас, пожалуйста, подберите моего ребенка и отнесите его в милицию. Я не виноватая, меня жизнь заставила. Приехала я в Ташкент, не знаю, куда пойти, не имею жилья. Я сама вся больная. Целый месяц ехала в поезде, ни хлеба, ни воды, чтоб напиться и ребенка своего напоить. Дорогие граждане! Прошу, не осуждайте меня. Мне это нелегко пережить —

с сыном расстаться со своим. Вот что проклятая война наделала. Примите меры, чтоб воспитать ребенка как следует, не пожалейте средствов. Как муж мой, который на фронте, не жалеет своей крови в битве с врагом. Подберите ребенка и несите в милицию, и чтоб там было известно, что он Валерий Алексеевич Салуянов, сын фронтовика. Я, что могла, для ребенка своего все сделала».

Вот и все. С этим листком, оскверняющим самое чистое, святое слово «Мать», она оставила ребенка на улице и, воровато озираясь — не увидел бы кто,— скрылась в темноте переулков.

Да, ребенка подобрали, отнесли в Дом младенца. А она?

Я снова и снова до рези в глазах вглядываюсь в корявые буквы записки, стараюсь сквозь них разглядеть, кто она, эта женщина с чугунной болванкой вместо человечьего сердца, как она выглядит, какими дорогами шла к той черной губительной ночи — 25 октября 1941 года? Стараюсь и не могу.

Хотя отчего же? Какие-то скудные сведения в записке все же имеются. Она эвакуированная. У нее был муж, который в ту пору находился на фронте... И опять колкая, как игла, вознесется мысль: до какого ж предела падения нужно дойти, чтоб, бросая на улице, на произвол судьбы оставляя сына-малютку, кощунственно обращаться к имени его отца, своего мужа-солдата, кровью его замывая свое преступление?!

Пытаюсь представить, что напишет она своему мужу на фронт о здоровье сынишки. Ничего не напишет или будет лгать, изворачиваться: «Знаешь, родной, вчера у Валерки прорезался зубик... Когда улыбается — ну вылитый ты... Все младенцы, как начнут лепетать, обязательно «мама», у Валерки нашего первое слово — «папа». Папин сынок!»?.. Потом расскажет в окропленном слезами письме, что сын заболел, и она, который уж день вместе с ним мытарится в здешней больнице, где все врачи — коновалы, все сестры — бездушные тумбы, все няни — сонные мухи. И наконец, уже подготовив, сообщит, безутешная, о смерти их дорогого Валерика...

Стойте, стойте, нечто подобное я ведь уж где-то читал!.. Да, конечно, в папках с делами Управления детдомов есть письмо со штампом полевой почты. Истории не то чтобы сходные, но как две половинки, дополняют друг друга. Быть может, это письмо и даст мне возможность воочию представить себе загадочный образ матери Валерия Салуянова?

Нашел. Читаю письмо — листки из школьной тетрадки в косую линейку.

«Дорогой товарищ инспектор! Извините, что обращаюсь к Вам так казенно: имени-отчества Вашего не знаю, подписи в письме не разобрал.

Чем-то родным, домашним пахнуло на меня от Вашего письма, оттого и решаюсь потревожить Вас снова.

На мой первый запрос Вы сообщили, что в списках детей, которые находятся в Домах ребенка Узбекистана, мой сын, Дмитрий

Максимович Т., 1940 года рождения, из Полтавы,— не значится.

О чем Вас прошу не пожалейте труда, проверьте еще раз, пожалуйста. Может, под другой какой-то фамилией, другим именем зарегистрирован он? Может, взят на воспитание добрыми людьми Вашего края? Может, еще что? Теряюсь в догадках. Вам, конечно, видней, куда могла забросить его судьба, где и как вести розыск. Но почему-то есть у меня такая надежда: если хорошо поискать, найдется мой Митя. Спросите, откуда она, эта надежда? Что ж, не хотел, да, видно, придется Вам все рассказать, открыться до самого дна, хотя на донышке этом, увидите сами, история захоронена стыдная.

Дело-то в том, что еще до того как послал Вам свой первый запрос, получил я письмо от жены из Ташкента. В июле, когда уходил я на фронт, сам посадил ее в эшелон, вместе с сынишкой отправил. В октябре, первых числах, получил от нее письмецо — доехали, мол, будем устраиваться, хотя и там, в Вашем Ташкенте, писала она, по военному времени жизнь нелегкая. Ну, писала, конечно, другими словами — ужасная, страшная, гиблая, да я ведь, слава те господи, характер ее изучил. Не для горок крутых этот характер.

Месяца два после того надрывного письма ни слуху ни духу, а потом — как гром среди ясного неба: нету больше нашего Мити, умер сыночек наш маленький!

Ну, чего растолковывать — сами, небось, понимаете, каково было мне. Плакать не плакал — перед солдатами стыдно, а чувство такое, будто осколок в сердце загнали. Так и хожу с ним. Ни есть, ни спать — болит и болит. И вот как-то ночью лежу в блиндаже под шинелью, таращу глаза в темноту и вдруг видение — жив, жив мой сынишка, не помер!

День и ночь, день и ночь — стояли мы тогда в обороне — обдумывал я это видение. И вот что надумал: прежде всего жене письмо написать, успокоить-утешить, да так, между делом осторожно проведать, в какой больнице умер сынишка, где схоронила. Второе дело — послать запрос в ташкентский загс — пусть подтвердят по всей форме, что сын мой, Дмитрий Максимович Т., действительно умер. Дату смерти я знал — жена сообщила, а по дате, если и правда он умер, запись найти — не задача.

Отправил я оба письма — и жене, и в ташкентский загс,— стал ждать.

Первый ответ пришел от жены. Письмо все в разводах от слез. Сообщает: не в больнице, а на квартире, куда по уплотнению их поселили, умер наш Митя. О том, где могила его,— ни слова.

Странное дело: мне бы плакать, такое письмо получив, а я, честное слово, радуюсь — крепнет моя надежда!

Потом короткий ответ из ташкентского загса: в записях умерших за октябрь 1941 года Дмитрий Максимович Т. не значится. Ну, тут я и вовсе, как говорится, духом воспрял. Вот тогда и написал я свое первое письмо в Наркомпрос, чтоб по детским домам Вы б Митю моего поискали. Почему-то верю я очень: там он, у Вас. Под другой

фамилией, может, а может, и имя другое, и все же, сердце подсказывает,— там!

Теперь расскажу Вам — придется,— откуда и сомнения мои, и надежды.

Я уж писал: характер у жены моей деликатный. К лишениям, к трудностям она непривычная. О способности на какую-то, пусть самую малую, жертву для людей, для самых близких своих и говорить даже смешно: ни в чем, никогда не ущемит себя, и мысли такой не допустит. Откуда взялось это в ней? Вроде б из семьи небогатой: отец — рабочий, на стройке, мать, хоть и не служила нигде,— трудяга неугомонная. Думаю, в жене моей это — от красоты ее женской. Небось удивляетесь: какая тут связь? Сейчас поясню.

Уже с девических лет многие ее улещивать стали: ах, какая ты статная да какая пригожая — богиня, Венера Милосская! Одни от чистого сердца превозносили ее, другие, как понимаю, не забывая своего интереса. Хорошо, когда красота умом в человеке уравновешивается, а перетянет — беда: прямой путь к себялюбию, к тому, что у красавицы этой вызревает неколебимая убежденность: все и всё должны служить ей, она — никому. Малейшее неудобство, не говорю уже о настоящих лишениях и трудностях, вызывает в ней бурное возмущение. Любые обязательства, которые по человеческим нормам она должна бы нести перед кем-то, воспринимаются ею как посягательство на ее свободу, и против этого в ней все протестует.

Теперь-то, задним умом, я в этом хорошо разобрался. Когда познакомились, встречались, а вскоре и поженились, ничего я тогда не видал — словно ослеп от любви.

Первые месяцы, если по правде, как в сказочном сне пролетели — для меня-то уж точно. Потом началось. Описывать подробно не стану — скучно Вам будет, да и к чему? Скажу только главное: пошли у нас ссоры-раздоры. В ту пору казалось, у каждой из них своя причина имелась — то одна, то другая. Нынче, когда вспоминаю, гляжу на нашу прошлую семейную жизнь как бы со стороны, все представляется мне по-иному: поводы и правда были различные, причина — одна: никак не хотела жена моя согласиться, что отношения между людьми, которые любовью соединились, это не только права, но и обязательства одного перед другим. С обязательствами, которые стесняют свободу поступков, она категорически была несогласна. Считала, как жила до замужества, так и теперь может жить. Ну, а конкретней: избалованная за многие годы вниманьем мужчин, она не могла уж и помыслить себя без того, чтобы блаженно не парить в облаках всеобщего обожания. И дело тут вовсе не в том, хорош или плох я был перед ней. Да будь на месте моем любой другой — пусть самый умный, самый красивый, самый сильный, остроумный, талантливый,— голову дам наотрез: было б у них в точности то же. Просто, как я понимаю, обожанья одного, даже двоих, ей было оскорбительно мало.

Кончилось тем, что мне сообщили, будто видали ее уже несколько раз в ресторане с одним из поклонников. «Это правда?»— спросил

я жену, шалея от гнева. «А что здесь такого? — ответила она с невинной улыбкой и упрекнула кокетливо:— Ты же не приглашаешь меня в рестораны».

Мы разошлись. Уже получив повестку в военкомат, я пришел к ней, чтобы вместе с сыном посадить в эшелон,— эвакуация шла тогда полным ходом. Перед долгой (а может, и вечной) разлукой мы помирились. Я поверил ее клятвенным заверениям, что ничего такого там не было, как она говорила — быть не могло. Поверил. Вы усмехаетесь? Что ж, признаюсь открыто: любил ее, очень любил.

А все-таки фраза — «Ты же не приглашаешь меня в рестораны»— крепко засела у меня в голове. Бывает ведь так: в одной фразе какой-то весь характер человеческий выльется, все существо обнажится. И если верно разгадал я этот характер, вполне могу допустить, что жена моя способна на то, чтобы в обстановке отчаянно трудной решиться на крайнее. Вот откуда и сомненья мои и надежды. Вот отчего прошу Вас опять: проверьте, пожалуйста, еще раз все списки детей, которые попали в Ташкент по эвакуации. Может, есть среди них и мой Митя? Очень прошу Вас — как отец, как фронтовик. Будьте здоровы!

Максим Т., лейтенант, а в прошлой, гражданской жизни — учитель русского языка и литературы».

Нет, Митю не разыскали. Может быть, оттого, что в Доме ребенка он действительно значился уже совсем под другой фамилией: Неизвестного, Найденова, Беспрозванного — много в ту пору было младенцев под такими фамилиями. А может, догадки и домыслы Т.— лишь утешительная фантазия объятого горем отца? К тому же, прав ли он в своих подозрениях, так ли уж объективен в оценке характера своей красавицы-жены? Не говорила ли в нем слепая и буйная ревность?.. Сейчас уже трудно ответить на эти вопросы, тем более что для выяснения истины нужно бы, как издревле заведено, выслушать и другую сторону — жену лейтенанта. Только где она? Разве сыщешь ее спустя столько лет?

Но если прав лейтенант и женщина эта на самом деле совершила поступок, всю чудовищную низость которого еще ясней оттеняет общенародное благородство и массовый гуманизм советских людей, если он прав — не нужно искать эту женщину. Ни ее, ни других, ей подобных.

Возможно, храня свое преступление в тайне, они избежали людского суда. Но от суда своей собственной совести они не ушли. Им не уйти от него никогда. С каждым новым годом и месяцем по ее приговору муки их будут множиться, будут жечь, когтить, терзать их сердца все сильней, нестерпимей. А они — самая тяжкая, самая страшная кара! — они никому не посмеют признаться в своем диком поступке, ни с кем из живых не смогут разделить свою боль. И сколько останутся они на земле, не будет им ни утешения, ни покоя. До последнего дня. До последнего часа.

СУДЬБА НАТАШИ ДОБРЫНИНОЙ

Еще в ту пору, когда я только начинал собирать материал, кое-кто из коллег старался предостеречь меня, образумить: «Да ты представляешь, за какую задачу берешься? Утонешь! Ну, взялся б рассказать о трех, как максимум четырех детских судьбах, выбрав из множества самые яркие, самые характерные, что ли,— это б понятно. Рассказать о десятках таких биографий — очень сомнительно. Ведь все они, если отвлечься от деталей и частностей, как две капли воды, повторяют друг друга: эвакуация, приезд в Узбекистан, пребывание в детдоме или у новых родителей и в заключение — первые шаги в самостоятельной жизни».

Что ж, это правда: в самом существенном судьбы одиноких, осиротевших детей, оказавшихся в годы войны на попечении народа Узбекистана, весьма схожи и, действительно, в главном повторяют друг друга. Однако при такой, стремящейся к бесконечности, степени обобщений, когда уже любая конкретность нивелируется, приравнивается к нулю, а всякие детали и частности пренебрегаются,— при такой мере абстракции и все вообще человеческие судьбы ничем принципиально не отличаются одна от другой: рождение, рост, образование и воспитание, труд и любовь, минуты высокого напряжения нравственных сил и мирное течение будней, продление рода и в конце — увы, неизбежная — смерть. Между тем этой схемы, взятой в конкретности, хватило на то, чтобы наполнить собой миллионы ни в чем меж собою не схожих романов, драм, поэм и стихов, по сути стать содержанием всей истории мировой литературы — от первых клинописных табличек времен Гильгамеша до тех произведений, которые в этот момент еще только зреют в душе молодого художника. Все дело, по-видимому, в разумной мере абстракций, а кроме того, в живом интересе к конкретной человеческой личности, ее судьбе, всегда особой, неповторимой в тех деталях и частностях, из коих, собственно, она и слагается, к судьбе человека, всегда несущей в себе некий философский и нравственный смысл, который, будучи извлеченным, не безразличен, не может быть безразличен современникам и потомкам.

Есть такой смысл и в нелегкой судьбе Наташи Добрыниной.

Ни родителей, сестер или братьев, ни дальней родни или даже просто знакомых, которые б с малолетства ее окружали,— никого. Одна на всем белом свете. Глухая стена отчужденности. Уж она-то, наверно, с полным на то основанием могла бы сказать о себе строкой из стихов одного из самых известных современных американских поэтов Аллена Гинсберга: «О отцы города, как же мне одиноко в этой огромной людской пустыне!»

О трагическом чувстве вечного одиночества, непреодолимой изолированности человека в многолюдно тесном и шумном мире в литературе западных стран за последние десятилетия написаны

десятки, а может, и сотни книг. Фиксируют это явление писатели-абсурдисты, заранее и сознательно отказавшиеся от всяких попыток понять, тем более изменить объективный порядок вещей в алогичной, бессмысленной в их представлении жизни человека и общества. Пишут и те, кто откровенно стоит на позициях охранительных по отношению к буржуазному строю. Не вскрывая, конечно, существа и корней этой острой проблемы, ее эксплуатируют и просто ремесленники — поставщики поп-продукции. Но в то же время, нельзя не заметить, проблема духовной отверженности человека как самой тревожной нравственной болезни века волнует и наполняет собой творчество таких глубоких мыслителей и ярких художников-гуманистов, как Фолкнер — в Америке, Сартр, Камю — во Франции, Грин и Мердок — в Англии, Кобо Абэ — в Японии, Макс Фриш и Дюрренматт — в Швейцарии.

«Отчуждение» стало одним из самых популярных слов в нашей культуре,— пишет известный американский драматург и критик Джон Говард Лоусон,— им обозначают отделение человека от среды, в которой он живет, разобщенность людей, их неспособность к любви и дружбе и как следствие — отчаяние, неуверенность и моральный нигилизм... распространение идеи отчуждения отражает трудности, которые переживает американское общество...»

Но одиночество человека в «огромной людской пустыне», о котором так много написано в современной литературе Запада,— сиротство чисто духовное, оно не вырастает из сиротства физического. Напротив: в целях наиболее яркого, контрастного выражения идеи человеческой отчужденности автор, как правило, связывает своего героя с другими персонажами произведения многими тесными узами — кровного родства и семьи, любви и дружбы, общего прошлого и совместных интересов в текущих делах. Какой же непроницаемо могильной герметичности должно быть отчуждение человека, когда его духовному сиротству — по мысли писателей Запада, увы, неизбежному — сопутствует, усугубляя его, сиротство физическое?!

С этой щемящей догадкой я и листаю, останавливаясь на каждой странице, дело Наташи Добрыниной.

Из «Черной главы», надеюсь, вы помните, с чего начиналась эта судьба. Чтобы продолжить рассказ, воспользуюсь воспоминаниями самой Натальи Васильевны — взглядом, так сказать, изнутри — и другими записками — Валентины Николаевны Лебедевой — взглядом на ту же историю извне. Воспоминания эти были написаны в разное время и независимо друг от друга.

Н. Добрынина. «В детском доме, куда меня отвели, было много ребят, главным образом таких же, как я — потерявшихся или осиротевших в войну. Жили мы дружно, хотя поначалу не всегда понимали друг друга: одни говорили по-русски, другие по-украински, кто-то по-белорусски, по-молдавски, по-татарски — полный интернационал. Было у нас много разных игрушек, книг с цветными

картинками. Воспитатели проводили с нами занятия: обучали азбуке, счету по палочкам. К праздникам, помню, учили стихи, готовили под пианино танцевальные сценки. Хуже было с питанием. Голодать-то не голодали, конечно, но, дети войны, о сытном обеде не переставали мечтать мы даже во сне. Кормили нас аккуратно, по расписанию, которое, несмотря на младенческий возраст, изучили мы назубок, но изо дня в день, бывало неделями, то же самое — манная каша, манный суп, опять манная каша. Запомнилось: только отправится воспитательница на кухню, мы — на веранду, появится — барабаним по стеклам, топаем, кричим-надрываемся: «Ура! Манна идет! Манна небесная!» Не знаю, кто уж нас обучил этой «манне небесной», откуда пошло, а горланили все как один.

Самым памятным событием за все годы жизни в этом детдоме было то, что как-то весной над комнатой, где спали старшие девочки, обрушилась часть крыши. Жертв не было, а пострадавшие — у кого шишка на лбу, у кого на ноге царапина — ходили весь день именинниками. К вечеру их всех отправили на дачу детдома, которая за Комсомольским озером находилась. Нам, малышне, завидно было до слез. Распрощавшись со счастливчиками и после отбоя улегшись в постели, мы с тайной надеждой поглядывали на потолок в своей комнате, посылали ему заклятья, которых из сказок наслышались, но эти заклятья почему-то не действовали: потолок оставался на месте, ни одной новой трещинки на нем не появилось.

До сих пор с самыми теплыми чувствами вспоминаю тех, кто с нами возился, кому я обязана лучшими днями своего детства,— сестер Фатыму Гиреевну и Соню Гиреевну, тетю Шуру — директора детдома, тетю Тасю — Прасковью Кузьминичну Грязнову — ее заместителя.

В марте 44 года нашу группу — ребят двадцать, по-моему, которым предположительно исполнилось восемь,— торжественно проводили в школьный детдом № 5. Он находился в Старом городе, по улице Сагбан, и директором там был человек замечательный — Каюмов. Детдом стоял в большом фруктовым саду, и ухаживали за ним сами воспитанники. В спальнях, комнатах для занятий, в столовой — чистота и порядок, плакаты, стенгазеты, таблицы разные по стенам развешаны. Воспитанники хорошо одеты-обуты, у каждого полный комплект постельного белья, даже перьевые подушки. Помню, когда водили нас по детдому — знакомили, объясняли, показывали,— больше всего поразило, что у них имеются свой духовой и струнный оркестры, целый шкаф разных костюмов для танцевального и драмкружков. Как-то очень легко и скоро мы, новички, влились в коллектив, записались кто в один, кто в другой кружок самодеятельности, а с первого сентября пошли в школу.

Но так было не долго. На нашу беду, по какой не знаю причине, ушел из детдома Каюмов. И тут началась свистопляска: чуть не каждый месяц новый директор, другие повара, воспитатели, другие порядки, а вернее — беспорядки. Перестали собираться наши кружки. Куда-то пропали инструменты, костюмы, даже горн пионерский и тот уберечь не смогли. Одежда на нас, обувка, какая была,

поистаскались до дыр. Спим без простынок, иные и без подушек уже. Полный развал.

Сейчас, через многие годы, я хорошо понимаю: ничто так не портит, не разлагает детской души, как дурной пример взрослых. С дурного примера этих летучих директоров, воспитателей, кастелянш, поваров и у нас тогда дело пошло. Увидали ребята, как повариха под вечер сумку, набитую снедью, домой волочет, как кастелянша простыней совсем еще новой на базаре торгует, а директору в комнату порцию двойную несут,— и сами туда же: меняют гитару детдомовскую на часы с железной цепочкой, подушку чужую — на пачку «Казбека», учебник — на лянгу. Одни вместо школы по базару валандаются, другие в кино или на озере пропадают — каждый по своему разумению. Ругань стоит в доме страшная. У бывшего хора репертуар — не для сцены. Желаете представить себе наш Пятый дом в эту пору — прочтите «Педагогическую поэму» или «Флаги на башнях» Макаренко — все в точности, будто с нас и писалось.

Так оно было до той поры, пока не пришел к нам новый директор — Азад Саттарович Алиев. Всех воспитателей, поваров, кастелянш, которые в глазах ребят себя замарали, освободил от работы, набрал новых людей. Это были другие, настоящие люди — старший воспитатель Раиса Львовна Верник, воспитатели Таисия Гавриловна, Геннадий Борисович (фамилий их, жаль, не помню), Александр Тимофеевич Астраханцев, Мария Дмитриевна Богданова, отдававшая детям всю свою душу Валентина Николаевна Лебедева. Не знаю уж как, но им очень скоро удалось подобрать какой-то верный, безошибочный ключ к ребячьим сердцам. Самые отъявленные гуляки, базарные менялы, заводилы и сквернословы с головой ушли в новую жизнь — налаживали свою мастерскую (немало набегался Азад Саттарович, пока раздобыл для нее оборудование), что-то разучивали в сколоченной заново группе художественной самодеятельности, девочки занимались в кружке рукоделия. А когда в наш детдом, не знаю откуда, привезли книжки, альбомы, учебники, Азад Саттарович поручил вести библиотечное дело воспитанникам старшего возраста.

Одной из первых забот нового директора и воспитателей была организация медицинского обследования ребят. У многих тогда обнаружили заболевания, которые можно было лечить тут же, в детдоме. У меня нашли грибковую болезнь, и я, несмотря на слезные протесты, оказалась в больнице, где провела довольно долгое время. А когда по выздоровлении вернулась я в родной Пятый дом, так переменился — не узнала его».

В. Лебедева. «В детский дом № 5 я пришла работать по направлению Октябрьского райкома партии. Пришла и ахнула, хотя до этого, летом, была там в составе комиссии по проверке. Но летом все выглядело более или менее благополучно. Зима обнажила все язвы: холодно, грязно, дети ходят по дому в пальто, даже в

постель ложатся не раздеваясь. Одежда на них старая, не по росту. Обувь почти у всех рваная. Питание скверное — и ниже нормы, и невкусно.

Еще хуже обстояли дела с моральным обликом детворы: грубость, развязность, а главное и самое страшное — ни малейшей веры взрослым — воспитателям и сотрудникам, полная анархия: захотел — в школу пошел, захотел — в кино, на базар или на приработки.

Но к этому времени детдомом уже занимались вплотную многие вышестоящие организации. Результатом такого вмешательства была полная смена администрации, воспитателей и техперсонала. Почуяв, что за все безобразия, за развал работы детдома придется расплачиваться, директор и бухгалтер скрылись. Кастеляншу судили.

Ну, а нам, вновь пришедшим сотрудникам и воспитателям, пришлось приложить немало сил и энергии, проявить большой педагогический такт, чтобы исправить то зло, что принесли в детскую душу наши предшественники. Это была задача непростая, нелегкая. Вместо пяти-шести часов, положенных по распорядку, мы часто работали по двенадцать, а я так оставалась нередко и на круглые сутки. Не строгие приказы начальства принуждали нас перерабатывать в тех тяжелых условиях — наши воспитанники. Это же были «дети войны»— дети, потерявшие родителей, пережившие бомбежки и эвакуацию, познавшие уже настоящее, недетское горе, лишения, голод.

Одеть и обуть детвору, отопить детский дом, раздобыть растасканный инвентарь — все это в те времена было делом хлопотным, сложным, но в конце концов разрешимым. Куда трудней было залечить моральные раны, нанесенные еще неокрепшей детской душе. Ведь наши воспитанники уже успели узнать, что есть «жухалки»— воришки, из собственных наблюдений над бывшими сотрудниками детского дома сделали вывод, что взрослым, всем взрослым вообще, верить нельзя. Это было самое страшное.

Поначалу для работы с детьми у нас не было ничего абсолютно: ни пособий каких-либо, ни инструментов, ни игр, ни даже иголок и ниток, не говоря уж о книгах для чтения,— один наш язык. Но постепенно жизнь в детдоме стала налаживаться. Навели порядок с питанием. Раздобыли, завезли дефицитное топливо. Появилась одежда и обувь, так что самых оборванных можно было уже обновой порадовать. А главное все же — ребята своими глазами увидели, что мы не только их не обкрадываем, но в первое время сами отдаем им какую-то часть своей порции хлеба, тащим в детдом у кого что в квартире имеется,— книги, перья, тетради, нитки с иголками, иногда и чулки, какую-нибудь, хоть и старую, но теплую кофту.

Я лично очень люблю книги, кино. С этого, можно сказать, и началось у меня более интимное общение с детворой. Мы часто, особенно вечерами, говорили про то, что прочли или посмотрели в кино. Спорили, доказывали, опровергали друг друга. Каких только

вопросов не задавали мне дети! Если я не могла ответить сама, рылась в книгах, расспрашивала знакомых, всеми силами старалась сохранить интерес к взволновавшей их теме. Вот так постепенно и завязывались между нами отношения более теплые, доверительные. Стало развиваться и детское самоуправление.

Однажды во время моего дежурства не вышел на работу повар. Я, признаться, растерялась: готовить я вообще не мастер, а тут еще на сто человек! Выручили дети. Мальчики растопили плиту, принесли воду и уголь, а две девочки вызвались быть поварами. Это были Наташа Добрынина и Ася Будянская. Справились они со своими добровольными обязанностями отлично, «на пять»: обед оказался вкусным, кормили всех с добавкой, так что даже никто не бурчал по привычке. Против обыкновения к этому обеду не было опоздавших, никого не пришлось посылать умываться вторично. И только в одном оплошали мои повара: себе не оставили ни ложки, ни капли.

Впоследствии Наташа, как старшая, была вожатой в моей группе детей. Она оказалась девочкой очень серьезной, с чувством ответственности, с обостренной реакцией на всякую ложь и несправедливость. Помню, как-то пришла на работу, еще из-за двери слышу — Наташа за что-то распекает свой отряд. Заглянула — стоит она строгая, гневная, а у самой слезы из глаз катятся. Вот такой и сейчас остается Наташа: бранит, упрекает кого-то и от сознания чужой неправоты сама плачет.

Дети у нас были самые разные — и по возрасту, и по характеру, и по «жизненному опыту», который успели усвоить. Естественно, и разговаривать с ними приходилось по-разному: с кем по-доброму, ласково, увещательно, а с кем и на «высоких тонах». Но я всегда старалась внушить своим подопечным, что, хоть сейчас нам и приходится порою ругаться, все мы — одна семья, что мы воспитатели,— старшие их товарищи, и не только до порога детдома, а, как родные мать и отец,— навсегда, на всю жизнь».

Н. Добрынина. «В 1951 году нас, четырех девочек, определили в ташкентское железнодорожное училище. Два года занятий, и в июле 53 года, получив удостоверение токаря по металлу, я пришла на завод «Узбексельмаш». Только обвыклась на новом месте, с людьми познакомилась, а тут — митинги, статьи в газетах призывные, разговоры в цеху: целина, целина! Как же было мне не откликнуться, в стороне от такого дела остаться? Там в это время главные события нашей жизни вершились, а я, значит, в тылах прозябай? Словом, в марте 54 года по комсомольской путевке уехала я на целинные земли Северного Казахстана. Вот уже где увидала тогда настоящий простор — и для рук, и для глаза, и для души!

Встретили меня там радушно, но вроде б с сомнением: девочка, да разве ж таким по плечу целинный фунт еще не взращенного хлеба?! Когда оформляли, кто-то спросил: «А куклу с собой прихватила?» Пришлось предъявлять документы.

Сперва послали меня прицепщиком на ближний участок. Потом,

как проведали про «таланты» мои поварские, перевели к плите и кастрюлям. Варила я каши, жарила мясо, люди, похоже, довольны — нахваливают, после обедов ни в тарелках, ни в книге для жалоб ничего не остается, все как будто нормально, а на сердце досада: что ж это я, бульоны с тефтелями осваивать на целину прикатила?! Нажаловалась, поплакала перед начальством. Уважили: в МТС направление дали, инструментальщицей. Там, в МТС, и работала я до 57-го.

Богучар, откуда, наверно, я родом, для меня место чужое — ни уму, ни сердцу, как говорится. А вот к Ташкенту, где выросла, так душой приросла — жить без него не могу: родина! Может, оттого у меня чувство такое, что в Ташкенте мой дом (пусть даже с особой приставкой «дет» — это неважно), друзья и подруги, с которыми вместе росла, воспитатели, что внушали нам некогда: не до порога детдома — навсегда мы сроднились. Ну, в общем, точно не скажу отчего, а так меня вдруг домой потянуло — сладить с собой не могу, вот хоть сейчас бери и езжай! Да только ехать-то некуда, не к кому — ни дома своего, ни родни никакой нет у меня в Ташкенте. Правда, с воспитательницей одной из детдома, Валентиной Николаевной Лебедевой, связь по письмам все время поддерживала. Ухватилась за эту надежду: может, с ней посоветоваться?»

В. Лебедева. «...не только до порога детдома, а как родные мать и отец — навсегда, на всю жизнь».

Я повторяла это детям не раз и, ей-богу, не для красного словца.

Уже после того, как наши воспитанники по возрасту уходили кто на завод, кто в ремесленные и железнодорожные училища или в техникумы, они постоянно навещали детдом. Приходили за советом и помощью, повидаться с друзьями и поделиться новостью, просто так приходили, как приходят под родительский кров. Навещала нас и Наташа. А когда по комсомольской путевке на целину укатила, писала оттуда.

Письма ее были разные: то веселые, бодрые то вдруг тоскливые — что ж, душе человеческой все настроения ведомы. И только один вопрос никогда не тревожил меня: какой стала она, не переменилась ли в трудных условиях? Не тревожил, потому что я знала: Наташа такая прямая и честная, и характер у нее такой твердый, устойчивый, что волненья напрасны,— какой была, такой и останется.

В 1956 году была я в гостях у наших чирчикских девочек. Одна из них, Паша Азаматова, сказала тогда, что очень хотела бы переехать в Ташкент, да, мол, не знает, где жить, где работать. Я предложила ей поселиться у меня, хотя, предупредила, на особые удобства рассчитывать нечего: жила я тогда вместе с матерью на частной квартире — тесной, сырой, с земляным полом.

Вскоре, оформив дела в Чирчике, Паша перебралась в Ташкент, и стало нас в комнате трое.

В это время как раз получаю письмо от Наташи. Прямо не пишет, а чувствую, приуныла, тоскует девушка, в Ташкент всеми мыслями рвется. Ответила: ехать не ехать — это тебе на месте видней, сама

и решай — небось, уже взрослая,— но коль надумаешь ехать, помни и знай, что, когда б ни явилась, в доме моем всегда для тебя место найдется. И через несколько месяцев стало нас уже четверо: моя мать, «близнецы»— Наташа и Паша, я — «мачеха», как они шутливо меня называли.

Жили мы дружно и весело, одним котлом, одной кассой. Так получилось, что дом наш стал своеобразным клубом, где собирались бывшие воспитанники детдома, теперь уже взрослые люди. И снова, как в прежние годы, ходили мы вместе в кино, ездили на Комсомольское озеро, спорили, убеждали друг друга, мечтали. А в 57-м мы устроили в парке Победы общий сбор однокашников. Встреча эта запомнилась всем нам на долгие годы».

Н. Добрынина. «Вернувшись в Ташкент, я устроилась на швейную фабрику № 2. Первое время жили коммуной, потом фабрика выделила мне квартиру, в том же дворе, где уже несколько лет снимала комнату Валентина Николаевна. Так что, считали мы, повезло — разлучаться нам с ней не пришлось. Впрочем, и Паша, которая вскоре после моего приезда вышла замуж, тоже не оторвалась от нашей «коммуны»— навещала, к себе зазывала, по-прежнему вместе с нами и с мужем, конечно, каждый свободный час проводила.

Среди добрых друзей и новых знакомых — на фабрике, дома — я порой совсем забывала о необычном начале своей биографии. Жила как и все, кто меня окружал. И оттого это было, наверно, что всегда, сколько помню себя,— в детдомах, училище, на заводе в Ташкенте, на целине казахстанской, снова в Ташкенте,— всегда я была окружена людьми с отзывчивым сердцем, ощущала на каждом шагу их вниманье к себе, непоказную заботу. Во всяком случае, уж поверьте на слово, никогда я не чувствовала себя одинокой, заброшенной, как в старину говорили — сиротой неприкаянной. С годами тем более.

В 60-м вышла я замуж. В 62-м сын у меня появился — Сереженька. И еще одно большое событие кровно сроднило меня с людьми: в 1961 году по рекомендации нашей комсомольской организации вступила я в ряды коммунистов.

И все же, не стану таить, нет-нет да кольнет меня мысль: кто я? откуда? кем были мои мать и отец? какая лихая беда заставила их разлучиться с дочкой-малюткой? А может, еще живы они и нет им покоя — все ищут и ищут меня? Может, где-то живет сестра или брат мой родной?

Странное дело: в малолетстве, когда родители, старший брат или сестра нужны были мне, чтобы на ноги встать, с родственной помощью сделать первые в жизни шаги — и в переносном, и в самом буквальном смысле,— тогда, честно признаюсь, мало меня заботили все эти вопросы. Чем старше, взрослее я становилась, чем меньше нуждалась в такой вот опеке, тем неотступней, острее, ну просто как старая рана незаживающая, ныла во мне эта загадка: кто я, откуда? Видно, так уж устроен человек: должен он знать, от какого

корня пошел, на какой земле произрос. И нет ему покоя без этого. Ни в час беды, ни в светлый день праздника».

В. Лебедева. *«Еще в те годы, когда Наташа жила в Пятом детдоме, она как-то попросила меня помочь ей в розыске родителей или хотя бы узнать, кто они, что с ними случилось. Полистала я дело Добрыниной, подумала про себя: вряд ли что дадут эти розыски — данных почти никаких — имя, фамилия и еще одна запись, сделанная уже, видно, в Ташкенте: из Богучара. Но все же девочка просит, надеется — что ж, попытка не пытка, а вдруг да выпадет ей счастливый ответ. Написала я в ЗАГС, в гороно Богучара — нет, ответ пришел, как и ждала, неутешительный: довоенные архивы не сохранились. Показала я это Наташе, потом пожалела — расстроилась девочка, больше прежнего затосковала. Конечно, Наташа такая: со стороны поглядишь — спокойная, ровная, улыбается как обычно, но я-то уж знаю ее, изучила. Затем, по совету людей, послали мы запрос в Красный крест. Через месяц сообщили оттуда: «Розыском родственников на территории СССР занимаются органы милиции по месту жительства заявителей, куда Вам и следует обратиться»,— и переслали запрос наш в Паспортный стол Управления внутренних дел Ташкентского горисполкома. Как-то зимой вызывали Наташу по этому делу в милицию, расспрашивали, обещали по своей линии узнать что возможно. Но и тут никаких результатов.*

Однажды, в 58-м это было, читаю я в «Комсомольской правде» статью — «В брянских лесах» называлась,— а там про партизанок рассказ, и между другими фамилия Добрыниной поминается. Не сказав Наташе ни слова, чтоб зря опять не травмировать, написала письмо, послала в редакцию: пусть, мол, перешлют той Добрыниной — где сейчас она проживает, чем занимается — об этом в статье разговора не было. Недели, по-моему, через две открываю почтовый ящик — конверт, а внизу, где адрес обратный,— Добрынина. Глянула — аж сердце замлело. Руки трясутся, в глазах мельтешит — едва распечатала. Пробежала письмо: нет, не родственница — однофамилица просто.

Добрынина Надежда Михайловна сообщала в письме, что в годы войны действительно была она вместе с тремя детьми малолетними в партизанском отряде. Старшая дочь, семнадцатилетняя Таня, находилась в другом партизанском соединении, там же, на Брянщине,— была и связной, и разведчицей. Старший сын погиб на фронте. Так что никто у них ни до войны, ни в войну не терялся. Но какое, собственно, имеет это значение, писала Надежда Михайловна. И она, и дети ее непонаслышке представляют, что такое война,— на себе испытали, а значит, Наташа, которая от той же общей беды пострадала, для них не чужая. Найдет, не найдет она отца или мать— пусть считает Добрыниных из Навли на Брянщине своей кровной родней.

Подумала, подумала я и отдала это письмо Наташе: сама решай, как тут быть».

Н. Добрынина. «Письмо Надежды Михайловны Добрыниной так взволновало, растрогало так меня, что я в тот же день послала ей подробный ответ, поблагодарила за доброту и душевность и фотокарточку свою приложила. Не прошло и недели — второе письмо: «Дорогая Наташенька! На фотографии, за которую спасибо тебе, ну прямо удивительно ты на старшую дочку мою похожа — на Таню, что разведчицей в отряде была. Гляжу на тебя, на ее фотографию, где Таня в твоем нынешнем возрасте,— не различишь, сестры родные. А в общем, Наташенька, чего ж нам по фотокарточкам друг с другом знакомиться — приезжай, во всем разберемся».

И полетели у нас письма в оба конца: из Ташкента на Брянщину, оттуда — в Ташкент. И в каждом письме Надежды Михайловны то приглашение, то строгий уже материнский приказ: приезжай!

Летом 59 года поехала я в Навлю. Как меня встретили там, описать не смогу — как встретили бы, наверно, кровную дочь, после долгой отлучки домой возвратившуюся. Перезнакомилась, породнилась я со всем большим семейством Добрыниных. Надежда Михайловна — учительница русского языка в сельской школе, теперь по возрасту на пенсию вышла. Татьяна — по материнской дороге пошла: тоже учительница. Марианна — другая дочь — строитель, в Ленинграде живет.

Весь отпуск провела я в доме Надежды Михайловны и возвращалась в Ташкент с таким легким сердцем, будто мечта всей моей жизни — найти родню, разгадать загадку своей необычной судьбы,— будто сбылась, свершилась эта мечта».

В. Лебедева. «Из первой поездки в Навлю Наташа вернулась какая-то просветленная. Встретила ее на вокзале — ахнула: уезжала с одним чемоданчиком, приехала — сумка, корзинка, пакеты. Оказалось, каждый из родственников посчитал своим долгом поднести ей на прощанье подарок. И опять полетели конверты из Ташкента на Брянщину и обратно. Только теперь, заметила я, письма, что приходили из Навли, начинались словами — «Здравствуй, дочка!», а Наташины — «Дорогая мама, сестрички!»

С тех пор много раз бывала Наташа на Брянщине, гостила и в Ленинграде у Марианны, жила у московской родни Надежды Михайловны — у замечательных стариков Бондаренко и дочери их Людмилы Ивановны. А несколько лет назад и Марианна в Ташкент прикатила. Вот так и вышло оно, что не было никого у Наташи и сразу — большая родня.

Запомнилось мне, как узнав о болезни Сережи — тогда он совсем еще маленький был, только от груди отняла его Ната,— Надежда Михайловна прислала письмо, да строгое такое, категоричное: вези сына к нам, не можешь ехать сама — пусть кто другой привезет. Все лето тогда провел наш Сереженька в Навле, выздоровел, поправился, разговаривать начал.

Ну а теперь я хочу объяснить, кем для меня Наташа является. Коротко: и дочь, и сестра, и друг самый верный. Горе ли у меня, заболею случится — Наташа со мной. Никогда не забуду, как опекала она меня, когда после смерти матери оказалась я на больничной койке. Полтора долгих месяца лежала я там, и каждый день, каждый день Наташа меня навещала. С работы бежит на базар, купит, что нужно, и — к Паше. Та приготовит, уложит и вручает Наташе (сама в больницу ко мне идти не могла — в послеродовом отпуске находилась). Все, кто лежал со мной вместе в палате, сотрудники отделения — все поражались: такого ухода не каждая мать от родной своей дочки дождется.

Под конец — о самом дорогом, о самом своем сокровенном.

Много лет назад, еще в войну, похоронила я сына. Два месяца было ему. Всю жизнь не могла я утешиться — тосковала, втихомолку случалось и плакала. Другого ребенка уже не имела. И вот как-то раз криком кричит, заходится наш Сережа, а Наташа баюкает, никак успокоить его не может да вдруг как скажет: «Довольно, довольно, будет плакать тебе, сынок. Гляди, бабушка сердится!» — у меня у самой слезы из глаз покапали. Вот так и стала я бабушкой. По сегодняшний день только «бабой» Сережа меня и зовет, хотя знает уже, в каком мы родстве,— не скрывали. А как-то недавно Наташа мне — «мачеха», по давней привычке. Сережа глянул на нее укоризненно, поправил серьезно: «Не мачеха, а мама». Обе мы — и Наташа, и я — растерялись, что ответить, не знаем. Потом уж Наташа ему объяснила: «А мне,— говорит,— Сереженька, мачехой звать даже как-то ближе, родней».Теперь, после того разговора, если кто спросит меня, кем мне Наташа приходится, я отвечаю «Мать моего внука». Ну а Наташа по-своему наше родство разъясняет: «Бабушка моего сына». Кто не знает нашей истории, плечами пожмет, усмехнется — думает, шутки. Что ж, пусть так и думает: перед каждым-то не пойдешь исповедоваться».

Н. Добрынина. «Что было со мной до войны, до Ташкента — не знаю. Но с тех пор, как пришла ко мне память, и до сегодняшних дней считаю — везло мне в жизни, в главном везло: рядом со мной всегда были друзья и товарищи, были люди, для которых я не чужая».

Вот и все, что могу я пока рассказать об этой судьбе. Расставаясь, я даже не стал пытать у Натальи Васильевны, известны ли ей такие стихи: «О отцы города, как же мне одиноко в этой огромной людской пустыне!» Нет, не известны. Не читала, наверно. А если и читала когда-то, не обратила внимания. Чужие стихи, непонятные.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Первое, что увидала Елена Георгиевна Самойленко на своем конторском столе, когда после трудной, непредвиденно затянувшейся командировки в Наманганскую область вернулась в Ташкент, была повестка, предписывавшая ей незамедлительно явиться для дачи показаний в городскую прокуратуру. И хотя она отдавала себе ясный отчет, чем грозит ей по законам военного времени каждый приплюсованный день опоздания, поход к прокурору пришлось отложить.

Она уже знала по опыту прежних поездок (а сколько их было за годы работы в Наркомпросе республики — не припомнить, не счесть), знала уже, что к ее возвращению нерешенных, горящих вопросов, неотложных дел и всяких забот накопится в Управлении воз да еще и с прицепом. И в общем, была уж готова к тому, что ее заместитель — редкой доброты, кристальной честности человек, одновременно и организатор чудесный, и талантливый воспитатель — Хабибулла Якубович Якубов, как только появится, с методичностью истого педагога станет по пунктам рассказывать ей о снабжении детдомов питаньем и топливом, одеждой и культинвентарем, о ремонте помещений и обеспечении кадрами, трудоустройстве подростков, о шефстве и множестве других, в тот момент одинаково важных, проблем.

На этот раз Елена Георгиевна ошиблась. Вопреки обыкновению Хабибулла Якубович не стал перечислять всех бед и прорех. Переступив порог комнатушки и завидев Самойленко, он устало опустился на стул, произнес удрученно:

— С Александрой Владимировной совсем плохо, совсем... Сейчас от нее, из больницы.

Из Самаркандской области, где она занималась проверкой работы детских домов, Смирнова возвращалась в Ташкент на попутных машинах. Уставшая, много дней и ночей не знавшая сна, голодная и промерзшая, она долго стояла на слякотной обочине тракта. Крупными тяжелыми хлопьями валил мокрый снег. Ватник, рукавицы, платок на голове Александры Владимировны — все промокло до нитки. Когда из лога, будто из-под земли, пробивался, сначала блеклым, размытым пятном, потом все более ярким и четким треугольником, свет автомобильных фар, Александра Владимировна ступала вперед и уже без всякой надежды тянула вверх руку. В конце концов какой-то сердобольный шофер сжалился над одинокой, продрогшей странницей, притормозил.

В кузове были порожние железные бочки, поставленные торцом. На каждом ухабе они, громыхая, подскакивали, и, сколько ни отталкивала, в какой угол сама ни укрывалась от них Александра Владимировна, упорно преследовали ее, норовя свалить с ног, при-

жать к борту. Схорониться от них было некуда. И все же усталость взяла свое: переместившись, в который уж раз, из одного в другой конец кузова, она задремала.

Что случилось затем, сама Александра Владимировна точно сказать не могла. Какая-то сила подняла ее вверх, покружила, с размаху швырнула на слизкий булыжник. Потом уж, доставив в больницу, шофер пояснял: впотьмах, в густой снегопад не заметил, что мосток через арык ширины двухшаговой был разобран, а может, размыт.

...Не дослушав рассказ своего заместителя, Самойленко, как была, в дорожном наряде, побежала в больницу. Врачи не утешили: повреждения сильные, состояние почти безнадежное.

Нарушив запрет больничных служителей, Елена Георгиевна пробралась в палату, присела к кровати Смирновой.

— Ну, как ты, Шура? Как себя чувствуешь?

Александра Владимировна шевельнула губами, хотела что-то ответить — не смогла, только охнула.

Тогда, чтоб не молчать, не разреветься ненароком, Самойленко с нарочитой беспечностью стала бодрить, утешать Александру Владимировну. И вдруг осеклась, с трудом разобрав хриплый голос Смирновой:

— Не надо, Лена. Не стоит.

Замолкла Самойленко. Потом услыхала опять:

— Сама-то как... дети?..

«Плоха... С профессором пойду потолкую — может, лекарство какое особое, еще что достать?.. Передачи нужно наладить, чтоб каждый день свежее»,— размышляла про себя Елена Георгиевна, а вслух говорила про то, как по дороге в Наманганскую область по одному и целыми стайками собрала в вагон чуть не сотню беспризорных оборвышей, как потом, с помощью местных товарищей, разместила их в одном из колхозов и долго сидела там, дожидаясь, пока подыщут к ребятам надежных людей.

И для Смирновой, и для самой Елены Георгиевны все это было делом обычным — рабочими буднями, и потому рассказ ее был коротким, сухим, как отчет. Только в конце в словах ее пробилось волнение:

— Когда уж сдала детвору, в Наманган возвратилась, дай, думаю, пойду погляжу, как в области, в центре работа налажена — до поезда еще часа три оставалось. Ну, который детдом к вокзалу поближе, в тот и нагрянула. В общем, скажу тебе, Шура, с душой, ответственно люди работают. Хотя — ты-то знаешь меня — за разные мелочи, то да се сделала я-таки им внушение с перцем. Профилактика. Чтоб не почили на лаврах. Когда появилась, концерт как раз у них шел. Чудо, какие ребята способные — артисты, ей-богу, артисты! А одна — девчушка из Киева, лет 10—12 — поет, пляшет, а сама на ногах еле держится: худая, бледная, руки старушечьи. Директора на цугундер беру — почему, мол, ребенок в таком состо-

янии? «Пеллагра, истощение общее. Семеро,— говорит,— у нас вот таких. И в больнице уже побывали, на усиленном питании держим — не помогает». Собрала я, Шура, этих детей, поглядела на них — пропадут ведь артисты! — и повезла их с собой: пусть под нашим присмотром находятся.

— Где? — скосила Смирнова глаза на Самойленко.— Поместила куда?

— А еще никуда. Сидят в Управлении. Я с вокзала прямо туда, услыхала, что с тобой нелады, вот и приехала.

— Сперва бы ребят...— произнесла с укоризной Смирнова.— Иди... Иди, Лена.

— Да я посижу еще.

— Иди! — повторила Александра Владимировна и, давая понять, что беседовать больше не хочет, плотно смежила веки, отвернула голову к стенке.

«Ждать профессора, везти детвору на устройство в детдом (да в какой еще, нужно придумать,— забиты все до отказу), передачу для Шуры готовить, в прокуратуру идти — куда кинуться, с чего начинать?» — размышляла Елена Георгиевна за дверью палаты.

Перебью свой рассказ записью недавней беседы.

Сарра Григорьевна Мирославская — начальник планового отдела ташкентского телевизионного ателье:

«К началу войны мне было 11 лет. Жила я в детдоме — отца уже не было, мать незадолго до того умерла. Дом наш полным составом отправили в Среднюю Азию. Наманган нас встретил торжественно: музыка, флаги, объятия. Словно не приютских детей, а героев ждали каких-то. Женщины в теплых платках, старики в длинных халатах и белых чалмах повели нас в клуб, усадили на огромный ковер, начались угощения. Дело было зимой, а перед нами — дыни, арбузы, какие-то фрукты диковинные. Потом уж узнали — инжир, гранаты, айва.

В детдоме, где нас разместили, пробыла я недолго: в больницу отправили. Сколько там пролежала, сказать не могу. Знаю только, что ушла я зимой, а когда возвращалась, было уже по-летнему жарко.

Через несколько дней шла я по улице, упала, потеряла сознание. Очнулась в узбекской кибитке. Гляжу: стоят надо мной старик и старуха, говорят что-то мне, втолковывают, а я ну ни слова понять не могу. Тогда на ломаном русском языке старик меня спрашивает:

— Твоя кибитка где будет? А, дочка, понимаешь,— кибитка?

Я объяснила. Старик перевел жене на узбекский, и вдруг я заметила, как по щеке ее побежала слеза. Они о чем-то тихо между собой пошептались и снова ко мне. Старик говорил очень длинно, и мне показалось, увещевательно. Таращу глаза, отвечаю виноватой и, наверное, глупой улыбкой — разобрать не могу. Тогда, уже отчаявшись видно, стал он руками показывать. И тут догадалась я: предлагают остаться у них. Почему я тогда отказалась, уже не припомню. Старик уговаривал ласково, мягко. Жена в подтверждение взяла

меня за руку, гладила. А я упрямо твердила: нет, спасибо, вернусь. Меня накормили, вручили мне узел с лепешками и какими-то фруктами. Старик пошел меня провожать.

С тех пор, пока я была в Намангане, каждую пятницу — приемный день это был — он появлялся с узлом у ворот, расспрашивал, как я живу, как себя чувствую, не передумала ли.

Милый старик! Знала б я его имя, помнила б, где та кибитка, поехала б поклониться.

В детдоме после больницы посадили меня за стол для ослабленных. Давали нам больше других, сразу с добавкой, а впрок отчего-то не шло. Ходила я тощая, бледная, за первым обмороком, который свалил меня прямо на улице, были другие.

К какому-то празднику, помню, детдом готовил концерт. Привлекли и меня — танцевала. В тот день, когда последняя репетиция шла, появилась у нас какая-то тетя — худая, как я, глаза в красных прожилках, голос резкий, осипший. У порога стянула, бросила в угол огромных размеров резиновые сапоги с подвернутыми голенищами, сняла телогрейку и вдруг оказалась маленькой, хрупкой. На репетиции сидела хмурая, могло показаться — недовольная чем-то, с одного плясуна на другого глазами водила, будто ощупывала. А кончили — хлопала, «браво» кричала. Только раскланялись мы, поднялась, вместе с директором нашим ушла в кабинет. Минут через десять семерых самых тощих, и меня в том числе, к себе вызывают. Зашли мы, сгрудились у порога, а гостья поглядела на нас, усмехнулась по-доброму, огорошила: «Собирайтесь, да побыстрей. Со мною поедете». Куда? Надолго? Где будем жить? От всех этих вопросов, нахлынувших разом, в голове помутилось. Мнемся, с ноги на ногу переступаем, а спросить не решаемся. Директор сам разъяснил: «Елена Георгиевна Самойленко — начальник над всеми детдомами Узбекистана. Хочет увезти вас в Ташкент, чтобы там подлечились, поправились. Согласны? Поедете?» Переглянулись, загомонили мы, а потом давай бить в ладоши, топать, приплясывать. Еще бы — кому ж не охота в Ташкент?!

С вокзала повезла нас Елена Георгиевна к себе на работу. Сказала: «Сидите. Чтоб никто никуда! Договорюсь с хорошим детдомом — сама отвезу». И уехала. Ждали мы долго — почти что весь день. Потом появилась Елена Георгиевна, нам показалось, сердитая или чем-то расстроенная, сообщила устало: «Будете жить в детдоме для одаренных детей».

В течение нескольких лет, пока мы жили в этом детдоме, Елена Георгиевна навещала нас часто, следила за нашей поправкой, опекала, как самый родной человек. Недаром мы мамой ее называли. Я и сейчас, тридцать шесть лет спустя, только так и обращаюсь к ней — мама. Потому что, если получила я хорошее образование, если судьба моя сложилась счастливо, да просто уж так — если выжила я в ту страшную пору,— это во многом, очень многом благодаря Елене Георгиевне. Уверена, что не иначе считают и Павлик Жарун, Вера Бобруйко, Мария Левко, Фаня Аккерман, которых вместе со мной увезла она тогда из Намангана в Ташкент. Вот только где они

ныне, в каких краях обретаются, жаль, не знаю ни я, ни Елена Георгиевна. После войны кто куда, в разные стороны разлетелись. Зато другие (а наша семерка — теперь-то известно — на счету у Самойленко далеко не единственная), другие и пишут, и навещают ее. Только и слышишь: «Здравствуйте, мать! Я ваш сын. Не забыли?» или «Помните, мама, свою дочь из Бобруйска?..» Нет, никого не забыла, всех до единого помнит Елена Георгиевна. Мы и сейчас, давно уже взрослые, остаемся для нее родными детьми».

...Дождалась профессора, поговорила с ним о Смирновой. Отвезла ребятишек в детдом. Вместе с сотрудниками своего Управления наладила дело с передачами в больницу для Александры Владимировны. Облегченно вздохнула: «Ну, теперь еще выяснить, кто мне передачи будет носить, и можно идти к прокурору».

Дело, заведенное на Управление детских домов, было серьезное и добра не сулило. Как ни раскидывала умом Елена Георгиевна, что ни придумывала себе в оправдание, выходило одно: сидеть ей вместе с Фридой Абрамовной Триерс на скамье подсудимых. Что ж, виноваты, граждане судьи, преступленье свое признаем! А преступленье, вот оно в чем — без допроса, сами расскажем.

Еще в самом начале войны, озабоченный судьбой осиротевших, потерявшихся во время эвакуации, одиноких детей, Совнарком СССР разослал на места распоряжение, конкретно решавшее этот вопрос. Распоряжением предусматривалось: осиротевшие, беспризорные дети до трехлетнего возраста помещаются в Дома младенца, подведомственные Наркомату здравоохранения; от трех до восьми — в дошкольные детдома; от восьми до четырнадцати — в школьные детдома, дети, старше четырнадцати лет, определяются в ремесленные и железнодорожные училища или трудоустраиваются. Таков был закон, и всеми его положениями неукоснительно руководствовалось при распределении одиноких детей Управление детских домов республиканского Наркомпроса. Всеми, за исключением одного.

Большинство подростков, проходивших по Управлению детдомов, если исполнилось им четырнадцать, как и было оно предусмотрено распоряжением Совнаркома, тотчас направлялось в училища, на заводы, в колхозы. В первое время, нужно сказать, руководители промышленных предприятий, колхозов и строек принимали их нехотя, а то и вовсе отправляли обратно: какой там с них толк, с пацана необученного или с девчонки зеленой? Одни только хлопоты. Помощи от них на копейку, а всяких забот — не оберешься: и общежитие устрой для него потеплее, и накорми, и поглядывай в оба, как бы он там в цеху или на складе не покалечил себя, по озорству чего не испортил. Нет уж, увольте: не детский сад тут у нас — производство, для фронта работаем!

Настроения эти были довольно сильны и устойчивы. Своими силами Наркомпрос побороть их не мог.

СОВНАРКОМ УЗССР И ЦК КП(б) УЗ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 — 31 января 1942 г. № 135 г. Ташкент

ОБ УСТРОЙСТВЕ ЭВАКУИРОВАННЫХ ПОДРОСТКОВ ИЗ ПРИФРОНТОВОЙ ПОЛОСЫ

В целях дальнейшего организованного размещения и устройства эвакуированных подростков из прифронтовой полосы Совет Народных Комиссаров УзССР и ЦК КП(б)Уз ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Обязать нижеуказанные наркоматы выделить по своей системе дополнительно 2250 мест для трудоустройства подростков:

Наркомместпром	150
Наркомтекстильпром	150
Наркомпищепром	100
Наркомлегпром	150
Наркоммясомолпром	50
Наркомкомхоз	25
Наркомторг	50
НКСовхозов	400
Наркомзем	150
Наркомавтотранспорт	150
НКВодхоз	125
Узпромсовет	350
Узбекбрляшу	100
Управление стройматериалов	50
Управление связи	25
Уполнаркомуголь	250

2. Рекомендовать всем обкомам, райкомам широко популяризировать инициативу колхозников Янги-Юльского района, уже разместивших 103 человека эвакуированных детей в колхозах района, организовав прием от 5 до 10 человек в каждый колхоз, обеспечить их необходимыми условиями и работой. Всего в таком порядке разместить по колхозам до 1 июня с. г. 7000 подростков, из них по областям:

Фергана	600
Наманган	1300
Андижан	1700
Самарканд	1100
Бухара	500
Ташкентская область	1800

3. Обязать наркоматы и ЦК ЛКСМУз выделить своих представителей для сопровождения и устройства детей в районах.

Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров УзССР
П. КАБАНОВ

Секретарь ЦК КП (б)Уз
У. ЮСУПОВ

К этим вопросам за годы войны Центральный Комитет Компартии Узбекистана и Совнарком республики возвращались не раз. Вот еще одно подтверждение — еще один документ:

СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ УЗБЕКСКОЙ ССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 июня 1943 г. № 724 г. Ташкент

О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ПОДРОСТКОВ — ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ НАРКОМПРОСА, ДЕТПРИЕМНИКОВ УПРАВЛЕНИЯ ЛАГЕРЕЙ НКВД УзССР И ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕТСКОГО ЭВАКОПУНКТА

Придавая исключительное значение делу трудоустройства подростков, СНК УзССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план трудоустройства на 1943 г.— 12000 подростков, достигших 14-летнего возраста и старше, из детских домов Наркомпроса, детприемников Управления лагерей НКВД УзССР, детей, проходящих через детский эвакопункт, комнаты привода отделений милиции г. Ташкента, по наркоматам и предприятиям республики.

....

3. В целях полного сохранения за производством передаваемых подростков и правильного их использования руководители наркоматов и предприятий обязаны:

а) обеспечить принимаемых подростков обмундированием, общежитием, постельными принадлежностями и трехразовым питанием в день в закрытых столовых;

б) прикрепить подростков для производственного обучения к квалифицированным рабочим с тем, чтобы в ближайший срок из подростков вырастить кадры квалифицированных рабочих.

4. Организации и ведомства, направляющие подростков на трудоустройство, обязаны:

а) обеспечить передаваемых воспитанников обмундированием на сумму 250 руб., денежным пособием в сумме 50 руб. каждому, продуктами питания на время пути и средствами на проезд.

7. Выделить на III квартал 1943 г.. специально для обеспечения обмундированием 12 тысяч трудоустраиваемых детей различных товаров на сумму 3 млн. руб.

О том, как жили, обучались, рядом со взрослыми трудились для фронта эти подростки, как сами взрослели они и духовно мужали,— об этом рассказ впереди. Теперь же вернусь к уголовному делу Самойленко — Триерс.

Эшелон с Украины доставил очередную группу осиротевших детей. Порядок обычный: в Карантинный детдом или сразу в больницу, затем по возрастному признаку в дома младенца — одних, в детдома — других, в училища или на трудоустройство — третьих. Все как положено.

Ребята, которым выписывали путевки, толпились за дверью. К Фриде Абрамовне Триерс — инспектору Управления, ответственному за работу с подростками,— входили по одному. Час за часом сидела она за столом, уже почти механически выводила одно и то же: имя, фамилия, год рождения, откуда прибыл, куда направляется. К по-

лудню чернильные пятна на красной сатиновой скатерти, что покрывала рассохшийся столик, начали прыгать, мельтешить перед глазами инспектора, будто весенние бабочки. Фрида Абрамовна взглянула на тщедушного, без кровинки в лице, большеглазого паренька, который стоял перед ней, рукой опираясь о стол, подумала — хлипкий, желтушный какой-то — и вернулась к анкете: имя, фамилия, год рождения... И вдруг пятнистая скатерть вместе с чернильницей, бумагами, конторскими книгами поползла, поползла. Фрида Абрамовна в удивленьи, в испуге вскинула голову, успела заметить, как, хватаясь за стол, валится на пол большеглазый парнишка.

Обморок был глубокий и долгий. Врач Скорой помощи, вызванный Триерс, привел большеглазого в чувство, а в больницу везти отказался: ему не в больницу — в столовую нужно, не лекарство, а хлеб.

В этот день инспектор Фрида Абрамовна Триерс сделала первый шаг к преступлению: вместо того, чтобы выписать мальчику путевку на трудоустройство, направила его, пятнадцатилетнего, в один из детских домов. Елена Георгиевна Самойленко, поставленная ею в известность, не только не воспротивилась этому, но, подписав путевку и скрепив ее печатью Управления, сама, таким образом, стала соучастницей противозаконного акта.

Первый проступок, оставшийся безнаказанным, как известно, влечет за собою другие. Так оно вышло и на сей раз. Из следующей группы подростков, доставленных вагоном-распределителем, Триерс снова нескольким, самым ослабленным, выписала путевки в обычные детдома. И под путевками этими снова стояла подпись Самойленко.

Руководители детдомов, куда направлялись по незаконным путевкам эти подростки, зачисляли их, как говорится, со скрипом, а бывало и так, что, несмотря на приказ Управления, и вовсе отказывались их принимать. И в общем, не столько потому, что не желали нарушать известного им закона, и даже не потому, что к этому времени детдома уже были набиты, как трамваи в час пик. Была тому другая причина. Долго держать такого подростка в детдоме никак не возможно, на улицу тоже не выгонишь, а трудоустроить его потом — морока страшенная. Поглядят бывало кадровики заводские на такого парнишку или девчонку и ни в какую — не примем, и все. Приходилось упрашивать, убеждать по-хорошему:

— Да вон у вас на воротах объявление висит: требуются рабочие руки.

А в ответ неизменно все то же:

— Так требуются ж рабочие руки, а с этим... К нему самому еще руки нужны — нянькины.

После второй или третьей неудачной попытки устроить ослабленного подростка в детдом, после того как с выданным ему направлением он возвращался обратно на улицу Пушкина, Фрида Абрамовна к установленной форме путевки прибавила еще один пункт: «Направляется на срок — до восстановления здоровья». А снизу дописывала: «Трудоустроить обязуюсь сама». И дело пошло поживей. Тех подростков, которых по состоянию здоровья еще нельзя было направлять на завод, на стройку, в колхоз, зачисляли на время

в какой-то детдом, а затем, как только окрепнут, поправятся,— на трудоустройство.

Из случая с большеглазым парнишкой, потерявшим сознание, Фрида Абрамовна извлекла еще одну «выгоду»: по ее настоянию руководство Наркомпроса республики выделило небольшой денежный фонд, предназначенный на то, чтобы ребенок, приведенный в Управление детских домов мог бы там хоть чем-нибудь подкрепиться. На первых порах ассигновано было 300 рублей. И тогда появилась еще одна книга учета: выдано такой-то, такому-то булочка — 1 руб., стакан чаю — 10 коп., трамвайный билет — 10 коп. И дальше — корявая детская подпись. Эта тетрадка — еще один документ Отечественной войны — сохранилась в архиве.

Может быть, незаконные действия сотрудников УДД и сошли бы им с рук, если б однажды не обратили на себя внимания дотошного ревизора. Сколько ни убеждала его Елена Георгиевна, что нарушение это не связано с какими-либо корыстными целями работников Управления, что отступление от закона продиктовано было единственно заботой о сохранении жизни ребенка, ревизор стоял на своем: нет и не может быть таких обстоятельств, которые бы позволяли игнорировать правовые установления, оправдывали, освобождали бы повинного в этом от уголовной ответственности. Ничто не могло поколебать ревизора, смягчить его сердце. Через несколько дней дело о противозаконных действиях начальника Управления детских домов Е. Г. Самойленко и инспектора того же Управления Ф. А. Трирс было передано в прокуратуру. Следствие началось.

Повестка на имя Самойленко уже больше недели лежала на ее канцелярском столе — подследственная в этот момент устраивала подобранных ею беспризорных детей в одном из наманганских колхозов. Фрида Абрамовна Трирс при первом же допросе, не отпираясь, признала себя виновной во всех предъявленных ей обвинениях. Официальным письмом в Наркомат прокуратура предписывала в связи с заведенным на нее уголовным делом немедленно освободить Ф. А. Трирс от занимаемой должности. О деле коммуниста Ф. А. Трирс был информирован райком партии, где состояла она на учете.

Но за несколько дней до возвращения Елены Георгиевны произошел инцидент, неожиданно повернувший весь ход событий.

Рабочий день давно уже кончился. Фрида Абрамовна сложила бумаги, заперла стол и, натянув телогрейку, вышла во двор. Погода уже больше недели стояла гнилая, унылая — не то дождь, не то снег, порывы колючего ветра. Под ногами хлопала черная болотная жижа.

У ворот, не разглядев в темноте, Фрида Абрамовна угодила в глубокую лужу. Не подхвати ее кто-то, наверняка бы свалилась. Фрида Абрамовна вскинула голову. Вид мужчины показался ей странным: в халате, а голова не покрыта, в рукавицах, а ноги в галошах — босые.

Мужчина спросил:

— Детдомовскую контору ищу. Не знаешь, где будет?

— Здесь она. Но все разошлись. Поздно уже. Закрыта.

— Очень нужно контору. Пожалуйста, апа, помоги.

— А что случилось? Зачем?

Он рассказал:

— Понимаешь, шофер я, в детской больнице работаю. Врач приказал: которых выписываем, в главную контору вези. Адрес вот дал: улица Пушкин, номер 17.

— Что так спешно? До утра, что ли, нельзя подождать?

— И я ему так: зачем, говорю, торопиться? У нас переспят, утром отвезу, куда скажете. Нет, говорит, нельзя до утра. Новых с вокзала прислали, много прислали, а коек свободных совсем нет в больнице. Ну, поехал, конечно.

— Где ж они, ваши дети? — уже заволновалась Фрида Абрамовна.

— А тут, апа, за воротами.

На улице под тусклым фонарем, заштрихованным снегом, стоял грузовик. Над кузовом, перекрытым брезентом, бугрилось что-то бесформенное.

— Сколько их? — спросила у шофера Фрида Абрамовна.

— Ровно семнадцать.

Дети были различного возраста — и совсем еще крохи, и школьных годов, и подростки. Малышей, одного за другим, Фрида Абрамовна вместе с шофером перенесли на руках. Дети постарше шли сами.

Только теперь, в освещенной комнате Управления, Фрида Абрамовна разглядела их всех. Это было тяжелое, скорбное зрелище: худые, изможденные лица, тонкие шеи, на которых, точно былинки, покачивались обритые наголо головы, сухие пожелтевшие руки.

Фрида Абрамовна вышла во двор. Таково было не писанное, но твердое правило, установленное для всех, кто в ту пору работал в Управлении детских домов: при детях не плакать, нюни не распускать. Для этого использовалось другое помещение — сколоченное из неструганых досок, покрытое толем, то, что стояло в дальнем конце большого двора Наркомпроса.

После многих ночей, проведенных на Центральном детском эвакопункте, после больниц, распределителей, домов младенца и детских домов, куда Фрида Абрамовна отвозила осиротевших, одиноких ребят, после всего, что кошмаром прошло перед ее глазами и через сердце ее, казалось, ничто уже не может ее поразить. Ошиблась.

Вернувшись в комнату Управления, она обомлела: дети, только что доставленные из больницы, раздевались почти донага, бросали одежду и обувь в общую кучу. Туда же летели и байковые одеяла, простынки, которые прежде были наброшены на плечи детей. Склонившись над маленькой девчонкой, шофер снимал с нее ичиги.

— Что вы делаете?! — вскрикнула, не понимая, что происходит, Фрида Абрамовна.

Шофер объяснил: все, что было на детях,— штаны, ботинки, рубашки, одеяла и простыни — имущество районной больницы, числится на балансе ее. Отправляя ребят в Управление, кастелянша

наказала шоферу: привезешь все обратно, иначе такое ей будет — не расхлебаться, а главное, пришлют через час — через два новую партию хворых — во что их оденешь?

— Хорошо. А где тогда та одежда, в которой они поступили в больницу? — еще пыталась спасти положение Фрида Абрамовна.

— Э, апа, вся рубашка, иштан, шара-бара, какой у них был, давно печка топил. Иначе совсем плохо будит — зараза, инпекция.

Сняв с девчушки огромные ичиги, шофер тут же натянул их на свои посиневшие ноги. Только теперь догадалась Фрида Абрамовна, почему он ходил с босыми ногами в галошах без головного убора. Уже никаких надежд не питая, она попросила:

— Ну, может, хоть до утра, под расписку мою оставите что-нибудь. Я сама привезу. Честное слово, ака.

— Нельзя. Ругайт меня будит, с работы гоняйт.

Отвернувшись от молящего взгляда инспектора, шофер вздохнул, потоптался на месте, начал сгребать, увязывать в одеяло одежду и обувь. Фрида Абрамовна не уговаривала больше, поняла — бесполезно.

Ежась, наблюдали за происходящим молчаливые дети.

Закинув узел за плечи, шофер ступил к двери, не подымая глаз, попрощался и вдруг, словно во гневе, швырнул узел на пол, крикнул чуть не с отчаянием в голосе:

— Думаешь, такой я, да — фашист настоящий?! Э-э, пусть ругайт, прогоняйт меня — ладно! — и, хлопнув дверью, ушел.

Минуту стояла тревожная тишина. Затем Фрида Абрамовна сказала ребятам:

— Одевайтесь. До завтра походите в этом. Раздобуду другую, сама отвезу.

Пока детвора разгребала одежду, натягивала штаны, рубашки и платья, снова набрасывала на плечи одеяла и простыни, Фрида Абрамовна лихорадочно соображала. Хорошо, с малышами, с ребятами школьного возраста, с этими ясно: сейчас созвонюсь с детдомами, устрою. А что делать с теми, которым явно больше четырнадцати? Трудоустраивать? Но как же можно прямо из больницы, истощенных, ослабленных, как можно таких вот отправлять сейчас на завод? Пропадут ведь, наверняка пропадут! Значит, в детдом? А как посмотрит на то прокурор?.. Нет, с ума сойти, с ума сойти можно!

— Ждите меня. Я скоро вернусь,— приказала она детворе и, накинув телогрейку, пошла через двор к фасадному зданию Наркомата.

В коридорах было пусто, темно, только в приемной наркома горел еще свет. Секретарша сказала: да, Исхак Раззакович у себя, но пропустить к нему она никого не пропустит — идет выездное заседание Совнаркома.

Уже долгое время работавшая в Наркомпросе, Фрида Абрамовна знала, что это такое. В годы войны в целях координации действий всех наркоматов и ведомств республики, для оперативного решения самых острых проблем периодически, в разных наркоматах поочередно собирались такие «летучки». На этой неделе, к примеру, в

Наркомате тяжелой промышленности, на следующей — в Наркомздраве или в Управлении железной дороги, затем — в Наркомфине, Узпромсовете, Наркомторге. На таких заседаниях непременно присутствовали руководители республиканского эвакоуправления. В тот день, когда из больницы привезли в Управление детских домов семнадцать осиротевших детей, заседание шло в Наркомпросе.

Решение пришло неожиданно. Фрида Абрамовна вернулась во флигель, подняла детвору, повела за собой в фасадное здание. Еще прежде чем секретарша успела понять, что происходит, Триерс распахнула дверь в кабинет Исхака Раззаковича, и дети — кто в простыне, в одеяле, кто в платье с чужого плеча — шумной ватагой ввалились туда. Решение было, конечно, отчаянно дерзкое, но что оставалось еще?

Наркомы, руководители ведомств, все, кто был в кабинете, вскочили, в полном смятении уставились на ребят, на Фриду Абрамовну, которая застыла в дверях. Выйдя из-за стола, Раззаков направился к своей подчиненной, о чем-то спрашивал, что-то ей говорил. А она не слыхала: после всего, что пришлось пережить в этот вечер, после огромного нервного напряжения наступила разрядка — она плакала и раз за разом повторяла одни и те же слова: «Вы видите?.. Нет, вы видите?.. Вы посмотрите!..»

Потом, уже успокоившись несколько, но все еще всхлипывая, Фрида Абрамовна объяснила присутствующим причину своей партизанщины.

В тот же вечер, поддержанный всеми наркомами, руководителями ведомств и эвакоуправления, что находились у него в кабинете, Исхак Раззакович Раззаков подписал приказ из двух пунктов:

1. Просить Совет Народных Комиссаров УзССР ходатайствовать перед Советом Народных Комиссаров СССР о внесении в утвержденное им положение такого рода дополнения, которое бы в особых случаях разрешало направлять в детдома подростков 14 лет и старше до восстановления их здоровья. 2. Впредь до директивного решения указанного вопроса разрешить Управлению детских домов в исключительных случаях направлять в детдома подростков 14 лет и старше до полного восстановления их здоровья. Детдомам на том же условии разрешить прием этих подростков.

Приказ Наркомпроса выручил Елену Георгиевну Самойленко и Фриду Абрамовну Триерс — дело их было прекращено. Но главное, конечно, не в том: приказом Наркома была спасена жизнь многих осиротевших подростков, хотя сами они ни тогда, ни теперь, когда им уже близко к пятидесяти, об этом не знают, как говорится, и слыхом не слыхивали.

На следующий день, оформив путевки, Фрида Абрамовна сама развела всех семнадцать своих подопечных по разным детским домам, а затем с немалым узлом одежды, простыней, одеял и ботинок пошагала в больницу.

Эшелоны с полным контингентом детских домов и беспризорными одиночками продолжали прибывать в Узбекистан вплоть до глубокой осени 1942 года. К этому времени система приема и устройства

детей была уже четко налажена и отработана: из Центрального детского эвакопункта звонили в Управление детских домов и оттуда без промедления получали разнарядку, куда и сколько детей отправлять. Но как составлялась эта разнарядка в самом Управлении?

— Конечно, мы не знали, сколько детей к нам прибудет сегодня, сколько завтра, но какое количество резервных мест имеется в Ташкенте и в областях — об этом у нас сведения были заранее,— вспоминает Елена Георгиевна.— По детдомам и приемникам Ташкента такие данные Управление собирало само. О наличии мест в областях нас информировало Республиканское эвакоуправление, функционировавшее при Совнаркоме УзССР. Оно вообще проявляло о детях особую заботу. И эвакоуправление в целом, и начальник его — Родичев — в частности.

В повествовании об узбекистанской эпопее спасения осиротевших детей не назвать имена Сергея Дмитриевича Родичева и его жены Нины Степановны Сургуновой было бы просто несправедливо.

Семья Родичевых — муж, жена и двое малолетних детей — переехала в Ташкент незадолго до начала войны. Сергей Дмитриевич был назначен заместителем Председателя Совнаркома УзССР. Нина Степановна работала и одновременно занималась на последнем курсе вечернего отделения института иностранных языков. В первые же месяцы после начала войны, оставив институт, она без отрыва от производства проходит краткосрочные медицинские курсы и затем, до самого дня Победы, работает операционной сестрой в эвакогоспитале № 365, который располагался в Ташкенте. Она выполняет многочисленные поручения горкома партии, становится активным членом городской комиссии помощи эвакуированным детям.

Еще летом 1941 года Сергей Дмитриевич и Нина Степановна берут на воспитание из дошкольного детского дома значившуюся там сиротой бесфамильную Розу. Однако через несколько месяцев, когда девочка привыкла уже к своим новым родителям, вошла и в семью и в сердца этих добрых людей, ее разыскала родная мать.

Расставание с Розой было для Родичевых тяжелой душевной драмой. Плакала Нина Степановна. Крепко прижимая к себе обретенную заново дочь, рыдала счастливая мать. Только Дима и Люба — родные дети Сергея Дмитриевича и Нины Степановны — никак не могли взять в толк, отчего какая-то незнакомая тетя уводит от них сестренку. А Роза допытывалась, по какой такой непонятной причине мама Нина и просто мама не согласны жить вместе.

После трудного расставания с Розой Родичевы через какое-то время снова направились в детский дом. Но на этот раз решили не рисковать — выбрать «надежного» сироту. Таким оказался Слава Вильчинский. Как значилось в деле, отец его — старший лейтенант, пограничник — погиб в первые дни войны, мать скончалась от тифа в поезде, не доезжая Ташкента.

Остановив свой выбор на Славе, Нина Степановна пообещала мальчишке, что придет за ним завтрашним утром, а сама пошла добывать необходимые для оформления справки.

На следующий день Нина Степановна явилась в детдом и, сдав документы, попросила привести к ней ребенка. Каково же было ее удивление, когда Слава вошел в канцелярию, ведя за руку другого мальчугана, года на два, а может, и три постарше.

— Тетя, возьмите Валерика тоже. Он послушный.

Нина Степановна растерялась.

— Нет, малыш. Вот я тебя заберу, а потом другая тетя придет, заберет и Валерика. Ладно? Мы будем ездить к ним в гости, они — к нам, вы будете видеться часто. Согласен?

Слава расхныкался:

— Не хочу, не пойду без Валерки!

Нина Степановна попросила работников детского дома разыскать документы Валерия. И тут открылась причина упрямства Славы Вильчинского: в деле Валерия значилась та же фамилия. Они были братьями.

Увезя Славу с собой и твердо пообещав Валерию забрать его завтра, Нина Степановна, дождавшись вечером мужа, сообщила ему с невинной улыбкой:

— Это — Слава. Знакомься. Но знаешь, Сережа, ты не сердись — у нас, кажется, будет еще один сын.

С тех пор прошло 35 лет. Валерий Сергеевич Родичев, кадровый офицер, отец двух детей, человек, немало уже испытавший, утверждает отнюдь не шутейно: самая страшная, самая темная ночь в его жизни — та. Когда не смыкая глаз метался он по жаркой постели и ждал — придут не придут за ним утром и настанет ли это утро вообще?

Дети росли, учились, получили специальность. О Валерии я уже рассказал. Слава — Станислав Сергеевич Родичев — старший инженер одной из научно-исследовательских лабораторий Москвы. Он женат, растит дочь и по сегодняшний день живет вместе с отцом.

О своем участии в грандиозного размаха работе по приему и устройству эвакуированных Сергей Дмитриевич вспоминает со скромностью поистине благородной:

«Эту работу возглавлял один из заместителей Председателя Совнаркома. Наряду с другими, обычными функциями он персонально ведал вопросами размещения эвакуированных предприятий и прибывшего в республику населения и отвечал за это перед Центральным Комитетом партии и Совнаркомом Узбекистана.

В Совнаркоме организационно объединялась и направлялась хозяйственно-экономическая деятельность советских органов, различных ведомств и учреждений, общественных организаций, так или иначе связанных с делом приема, размещения и устройства эвакуированного населения, в том числе, разумеется, и детей».

Вероятно, не во всякой семье проявляют столько заботы о собственных детях, сколько проявляли ее — изо дня в день, по делам принципиальным, крупным и общим, так сказать стратегическим, и по вопросам, казалось бы, частным, тактическим — Центральный

Комитет Компартии Узбекистана и правительство Узбекской республики. Та небольшая, лишь выборочная часть документов, которые уже были приведены, должна дать читателю какое-то представление о масштабах и ритме этих спасательных работ. Чтобы расширить картину и в то же время детализировать ее, приведу еще два-три факта.

31 марта 1943 года Совнарком УзССР принимает Постановление № 360, которым, в частности, предусматривается:

«Организовать в г. Ташкенте для ослабленных детей от 8 до 13 лет детскую столовую усиленного и диетического питания на 1000 детей».

Прошло меньше месяца, и Совнарком возвращается к тому же вопросу опять, но теперь уже в объеме более крупном. 26 апреля он принимает Постановление № 481 «Об организации питания детей эвакуированных граждан». Пункт 1:

«Обязать Наркомторг УзССР включить, начиная со второго квартала 1943 г., в план снабжения питанием в столовых 11000 детей эвакуированных граждан и детей военнослужащих».

Со второго квартала 1943 года 11 тысяч детей ежедневно получали в столовых республики обеды, причем 6 тысяч из них — бесплатно. Хочу подчеркнуть: в данном случае речь уже шла не о сиротах, а о детях домашних, «родительских», как их тогда называли.

А вот совсем уж, казалось бы, частные факты. Но сколько за каждым из них открывается!

Совнарком УзССР. Распоряжение № 5525-р. 27 ноября 1942 г: «1. Обязать Узэаготстрой неиспользованные остатки мануфактуры в количестве 700 метров и кирзы в количестве 150 метров передать Наркомместпрому УзССР для пошивки одежды и обуви эвакуированным детям системы Наркомпроса УзССР; 2. Обязать Ташгорместпром в срок до 15 декабря с. г. изготовить детскую одежду и обувь и передать таковую эвакуированным детским домам Наркомпроса УзССР по разнарядке последнего».

Совнарком УзССР. Распоряжение № 5841-р. 14 декабря 1942 года. «Обязать Наркомторг УзССР и Узбекбрляшу выделить за счет рыночного фонда IV квартала 1942 г. 20 тонн хозяйственного мыла детским домам и эвакуированным интернатам системы Наркомпроса УзССР...»

Совнарком УзССР. Распоряжение № 6020-р. 24 декабря 1942 года: «В целях обеспечения минимальной потребности в топливе на январь месяц 1943 г. детских учреждений Наркомпроса УзССР обязать УзТОП при СНК УзССР выделить в декабре 1942 г. единовременно Наркомпросу для детских домов и детских яслей 50 тонн угля».

Посвящая повествование исключительно судьбам одиноких детей, эвакуированных в годы войны в Узбекистан, я рискую внушить читателям книги представление одностороннее, а следовательно, и ошибочное, будто Центральный Комитет и вся партийная организация, правительство, наркоматы и ведомства, общественные органи-

зации республики, ее народ занимались в этот тяжелый период только или по преимуществу проблемой спасения осиротевших детей и подростков. Это не так. Подобное представление не соответствует истине и далеко отстояло бы от реальной картины жизни республики в годы Великой Отечественной войны.

На огромном фактическом материале, вобравшем в себя почти миллион человеческих судеб, еще более драматичном, значительном по историческому значению и смыслу, такого же рода документальное повествование можно бы написать о бессмертном подвиге воинов-узбекистанцев, в едином интернациональном строю сражавшихся под Москвой и у стен Ленинграда, насмерть стоявших на Волге, освобождавших Европу и штурмовавших Берлин. 280 из них, самых доблестных и отважных, удостоены звания Героя Советского Союза.

Можно бы на строгой документальной основе рассказать и о том, как громили врага авиаэскадрильи и танковые колонны «Советский Узбекистан», «XX лет Узбекистана», «Колхозник Узбекистана», «Комсомолец Узбекистана», построенные на средства, добровольно внесенные населением республики в фонд обороны.

Можно вспомнить о подвиге рабочего класса Узбекистана, давшего фронту 2090 самолетов, 17342 авиамотора, 2318 тысяч авиабомб, миллионы мин, снарядов, гранат, снабжавшего действующую армию обмундированием. Недаром в газетных статьях и стихах того времени Узбекистан называли арсеналом социалистической Родины.

Впрочем, боевым арсеналом стала не только индустрия, но в равной мере и сельское хозяйство республики. Его вклад в общенародную битву — это 4 миллиона 806 тысяч тонн хлопка, 282 тысячи тонн зерна, 482 тысячи тонн картофеля и овощей, 54 тысячи тонн коконов, десятки тысяч центнеров фруктов и винограда, мяса и шерсти. Ценой каких усилий давались эти центнеры и тонны, когда на полях, на фермах и пастбищах, в садах, огородах, на машинно-тракторных станциях оставались только рабочие руки женщин, стариков и подростков,— особая тема.

Так же как особой темой, воссоздающей в совокупности с другими общую картину жизни республики в период войны, является история перемещения в Узбекистан из западных районов страны более ста крупных промышленных предприятий и среди них заводов. «Ростсельмаш», «Красный Аксай», Сумской завод насосно-компрессорного оборудования им. Фрунзе, днепропетровские карборундовый и вагоноремонтный заводы, «Электростанок», московские заводы «Электрокабель» и «Подъемник», машиностроительный завод Наркомата путей сообщения, завод «Красный путь», киевский «Транссигнал». Усилиями рабочих, инженеров и техников — тех, что прибыли вместе со станками и оборудованием, и местных, узбекистанских,— эти заводы монтировались день и ночь, безостановочно и уже через несколько недель начали давать продукцию, нужную фронту.

Но и это не всё.

Республика приняла, разместила на своей территории, наладила жизнь многих военных академий, 60 военных училищ, 115 эвакогоспиталей, десятков высших и средних специальных учебных заведений,

ремесленных и железнодорожных училищ, театров, библиотек, киностудий.

О том, с какой огромной цепью взаимосвязанных вопросов, трудностей, пертурбаций была сопряжена эта работа, может дать представление документ, который я процитирую лишь как пример.

СОВНАРКОМ УзССР И ЦК КП(б)Уз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 августа 1942 г. № 1102

О РАЗМЕЩЕНИИ 5100 УЧАЩИХСЯ, ЭВАКУИРОВАННЫХ РЕМЕСЛЕННЫХ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ УЧИЛИЩ ИЗ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ.

В соответствии с телеграфным распоряжением Главного Управления трудовых резервов при СНК СССР от 29 июля 1942 г. о направлении в Узбекскую ССР из Краснодарского края учащихся (и производственного оборудования) ремесленных и железнодорожных училищ в количестве 5100 человек СНК УзССР и ЦК КП(б)Уз ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Разместить прибывающих в Узбекскую ССР учащихся ремесленных и железнодорожных училищ по следующим городам:

в Ташкенте .... 2800 человек
в Самарканде .... 600 —»—
в Андижане .... 500 —»—
в Коканде .... 500 —»—
в Беговате .... 400 —»—
в Янги-Юле .... 300 —»—

2. Для размещения оканчивающих контингентов учащихся, а также дополнительно эвакуируемых в Узбекскую ССР учащихся школ ФЗО и ремесленных училищ Южных областей СССР — обязать Ташгорисполком и директоров крупных заводов в двухдекадный срок построить 30000 кв. метров временных (бараки, землянки) жилищ с упрощенным перекрытием за счет средств по городскому бюджету и средств заводов.

3. Обязать Ташгорисполком в двухдневный срок утвердить отвод земельных участков, закрепив участки за каждым заводом.

4. Обязать командование Военной Академии им. Сталина:

а) в двухдневный срок перевести штаб Академии им. Сталина из помещения школы им. Пушкина по Полиграфической ул. в помещение школы № 57 по Ленинградской ул., ранее занимаемое Академией им. Фрунзе;

б) передать помещение школы им. Пушкина по Полиграфической ул. Управлению трудовых резервов СНК УзССР;

5. Обязать Ташгорисполком в трехдневный срок передать во временное пользование Управлению трудовых резервов при СНК УзССР помещения:

а) зимнего кинотеатра «Искра» по ул. Ленина;

б) клуба Октябрьского райсовета и районо по ул. Максима Горького №№ 57 и 133;

в) ранее занимаемое Московской ювелирной фабрикой по Ленточной ул., пер. Юльчи, № 1.

6. Обязать Узбекбрляшу в трехдневный срок ликвидировать мебельные мастерские Узбекбрляшу на железнодорожной ветке Чирчик — Горный, передав квалифицированных рабочих этих мастерских в другие однородные предприятия,

а производственные, складские и конторские помещения — Управлению трудовых резервов при СНК УзССР.

7. Обязать Ташгорисполком разместить в г. Ташкенте 2800 учащихся ремесленных и железнодорожных училищ в следующих помещениях:

а) в школе им. Пушкина по Полиграфической ул.	—500 чел.
б) в помещении, ранее занимаемом Московской ювелирной фабрикой	—500 —»—
в) в помещении зимнего кинотеатра «Искра»	—600 —»—
г) в помещении мебельной мастерской Узбекбрляшу на железнодорожной ветке Чирчик — Горный	—600 —»—
д) в помещении клубов Октябрьского райсовета и района	—250 —»—
е) в помещениях, занимаемых школами ФЗО в порядке уплотнения в два яруса	—350 —»—
	2800 чел.

8. Поручить Управлению трудовых резервов при СНК УзССР в трехдневный срок совместно с директорами заводов разработать порядок размещения учащихся ремесленных и железнодорожных училищ на указанных заводах для прохождения производственного обучения.

9. Обязать председателя Ташоблисполкома, председателя Самаркандского облисполкома, председателя оргкомитета Верховного Совета УзССР по Андижанской области, председателя Кокандского горисполкома — разместить указанное в п. 1 настоящего постановления количество учащихся ремесленных и железнодорожных училищ в соответствующих городах, создав им нормальные бытовые и учебно-производственные условия.

10. Обязать Наркомторг УзССР обеспечить прибывающих учащихся ремесленных и железнодорожных училищ в количестве 5100 человек фондами питания в соответствии с заявкой Управления трудовых резервов при СНК УзССР.

Зам. Председателя
Совнаркома УзССР
Р. ГЛУХОВ

Секретарь
ЦК КП(б)Уз
У. ЮСУПОВ

Всего за годы войны Узбекистан принял, устроил, дал кров, работу и хлеб, по приблизительным подсчетам, миллиону советских людей, эвакуированных из западных районов страны.

Сказать обо всем этом, напомнить хоть вкратце мне кажется важным, чтобы читатель мог представить себе на каком «общем фоне» вершилась та эпопея, которой я посвятил свое повествование, воспринимал ее не изолированно от всего остального, но в органической связи с широким и бурным потоком жизни Узбекистана времен войны.

Эта эпопея уже сама по себе — акт великого гуманизма, благородства, высокого интернационализма народной души. Но, кроме того, спасенье детей, обездоленных кровавой войной, потерявших родителей — навсегда или временно, имело еще и другое значение — значение фактора, который во многом собой обусловливал моральное состояние, боевой дух советских бойцов. Это не умозрительное предположение. Это факт, подтвержденный самими бойцами в тех письмах, что слали они из окопов в детдома, интернаты, детприемники, в Наркомпрос Узбекской республики.

1943 год. Из письма фронтовика Исурина директору детдома, принявшего 55 детей, эвакуированных из Ленинграда, В. В. Антоновой:

«...Спасибо Вам, Валентина Васильевна, и всему обслуживающему персоналу за хорошее воспитание Вали и Эдика. За детей я спокоен, ибо знаю, что они находятся в надежных руках. Воспитайте их патриотами своей Родины, а я буду еще крепче бить фашистских гадов...»

1944 год. Из письма интенданта 3-его ранга Ю. Шпекторова в Наркомпрос УзССР:

«...Наконец-то я узнал, что мои дети живы, здоровы. Можете представить мою радость! Итак, мои долгие розыски, запросы, муки неизвестности кончились: Витя и Игорь — в детдоме № 8, Ниночка — в семье Гражданкиных. Теперь волноваться мне нечего. Спасибо! Большое спасибо и Вам, и директору детдома Амировой, которая, как Вы мне писали, относится к моим сыновьям с материнским теплом, и славной семье Гражданкиных. Что заставило всех вас проявить такую заботу о чужих для вас детях? Что заставило вас с таким участием отнестись к беде совершенно незнакомого вам человека, столько сил и энергии потратить на розыск его детей? Деловитость? Конечно. Глубокая гуманность? Бесспорно. Но есть здесь и что-то еще: большая нравственная сила. Вот эта нравственная сила и является залогом нашей победы над врагом...»

Да, благодарственных писем в архиве многие тысячи. Но не меньше и писем-запросов: «помогите найти», «прошу разыскать», «нет ли у вас каких-либо сведений?..» Они шли, эти письма, в годы войны, они продолжают идти вот уже больше тридцати лет после войны: «где мой сын?», «что случилось с моей дочерью?» Характер этих запросов меняется. С годами все меньше родительских писем, все больше сыновних и дочерних: кто я? откуда? кем были мои родители? Быть может, они еще живы и ищут, ждут меня где-то?..

Ответить на эти вопросы не просто: ведь в годы войны Узбекистан приютил, обогрел, вернул к жизни сто тысяч осиротевших, одиноких детей.

Сто тысяч человеческих судеб.

1976 г.

Майя Иосифовна Слуцкая (по мужу Залкинд) — кандидат исторических наук, доцент кафедры истории КПСС Ташкентской высшей партийной школы.
Вместе с другими осиротевшими детьми и подростками из Польши, Румынии, Испании была согрета, обласкана, выпестована материнским сердцем Узбекистана.

Бахрихон Аширходжаева — жительница Ташкента.
Двадцать двух сирот усыновила, вырастила, вывела в люди эта простая, скромная женщина.

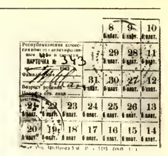
Шарафат Ташбаева — уполномоченная Ташкентской городской комиссии помощи эвакуированным детям по махалле Жангоб.

В одном из детских домов Коканда. Среди десятков тысяч сирот, вихрем войны заброшенных в Среднюю Азию, было немало больных, истощенных и раненых.

Сестры Юсуповы — Зоя, Инесса, Фанна. Одной из первых в Узбекистане усыновила эвакуированного осиротевшего ребенка семья первого секретаря ЦК КП(б)Уз Усмана Юсупова. Это была Фанна Барышева из Ленинграда.

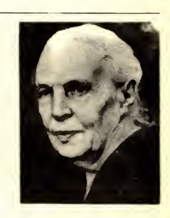
С. А. Журавская, Е. П. Пешкова (вдова А. М. Горького), Т. В. Иванова (жена писателя Вс. Иванова) — организаторы и активные сотрудники образованного при Наркомпросе республики Детского адресного стола, стараниями которого были воссоединены многие разбросанные войною семьи.

Карточка детского питания.
По таким вот карточкам, начиная со второго квартала 1943 года, шесть тысяч эвакуированных детей ежедневно получали в столовых республики бесплатные обеды.



Александра Владимировна Смирнова — старший инспектор Управления Детдомов Наркомпроса УзССР.
В том, что сеть детдомов республики возросла со 106 предвоенных до 267 в 1943 году, есть — и немалая — доля ее душевного вклада.

Наталия Павловна Крафт —
организатор и первая заведующая Центральным детским эвакопунктом, осенью 1941 года созданного на ташкентском железнодорожном вокзале.



Наталия Добрыниина с сыиом.
«Что было со миой до войиы, до Ташкеита — не знаю. Но с тех пор, как прншла ко мие память, и до сегодняшинх дней... рядом со мнюй всегда былн друзья и товарнщн, были люди, для которых я ие чужая».

Евангелина Аидреевна Кашуро — человек трудиой судьбы.
Бывшая воспитаиинца детскнх домов Узбекнстаиа, миогие годы прикованная тяжелым иедугом к постели, ныие педагог-воспитатель одиой из кокандских школ-интериатов.

Фрнда Абрамовиа Триерс — нНспектор Управлеиия детдомов Наркомпроса УзССР.
Миого снл и душевной энергнн было отдаио ею уже в мнриые годы для розыска н воссоеднееиия разобщеииых войной роднтелей н детей, сестер н братьев.

Три богатыря — три Героя Советского Союза в гостях у воспитанников детского дома. Фамилии Героев установить, к сожалению, не удалось.

А. Сиденко и А. Шор с Розой, Любой и Витей — воспитанниками ташкентского хлебокомбината № 1.
Сотни предприятий, колхозов, учебных заведений Узбекистана брали осиротевших эвакуированных детей на коллективное патронирование.

Четырнадцать осиротевших детей различной национальности усыновила в годы войны семья ташкентского кузнеца Шаахмеда Шамахмудова и его жены Бахри.

Медпункт в ташкентском детдоме № 8. Широкая сеть медицинских учреждений республики была поставлена на службу здоровья эвакуированных сирот — дома ребенка, больницы, поликлиники, амбулатории, специально созданные санатории, оздоровительные городки.

Домой!
В связи с коренным переломом в ходе Великой Отечественной войны в декабре 1943 года постановлением Совета Народных Комиссаров УзССР Центральный детский эвакопункт был преобразован в Центральный пункт по приемке и отправке детей.

Дворовые подруги. Слева — Светлана Витолина.
5 января 1942 года взята из Карантинного детдома семьей ташкентцев Витолиных.

Первое исполнение в Ташкенте.
Сотни концертов, выступлений, спектаклей были даны деятелями советского искусства в фонд помощи эвакуированным детям.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОРДЕНА ЛЕНИНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ

Четверг 25 июня

Лауреат Сталинской премии **Д. ШОСТАКОВИЧ**

СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ

Сбор поступит в пользу эвакуированных детей

Евгения Валерьяновна Рачинская, зам. наркома просвещения УзССР (справа) — один из организаторов службы спасения детства — среди членов ташкентской городской комиссии помощи эвакуированным детям.

Саламат — Насиба — Луиза — Масиба — Майя Петровна Турсунова — с мужем и дочерью.
Воспитанница узбекистанского детдома, в годы войны потерявшая и только 35 лет спустя нашедшая свое настоящее имя, землю, где появилась на свет.

Корней Иванович Чуковский читает свои стихи детдомовцам.
Писатели, артисты кино и театра, художники, музыканты были частыми гостями воспитанников узбекистанских детдомов.

На этот банковский счет
поступали добровольные взносы коллективов промышленных предприятий, государственных учреждений, колхозов, учебных заведений, частных лиц. Эти взносы были существенным подспорьем для детских домов республики, их малолетних питомцев.

Республиканская комиссия при СНК УзССР по устройству и воспитанию эвакуированных детей и сирот

открыла свой текущий

счет № 160676

в Горуправлении Госбанка.

Ташкентская городская комиссия помощи эвакуированным детям также имеет свой текущий **счет № 160871** в Горуправлении Госбанка.

Все пожертвования в пользу эвакуированных детей просьба сдавать на указанные счета.

Начальник Харьковского артиллерийского училища полковник Лисицкий и начальник политотдела училища гвардии подполковник Овчинников.
Теплая встреча с воспитанниками подшефного училища 4-го ферганского детского дома.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

КОМНАТА № 38

Слово свидетелю:

«Самая обыкновенная канцелярская книга. На ее синих страницах — скучный перечень каких-то имен и фамилий.

Угрюмо перелистывала ее усталая женщина и вдруг вскрикнула, всплеснула руками, засмеялась, заплакала, вскочила на ноги и всем своим измученным телом рухнула без чувств на стол...

Придя в себя, она снова заплакала и, указывая на книгу, прошептала с восторгом:

— Тут мой Володя.

И набожно целовала ее, канцелярскую книгу в измызганном шершавом переплете.

И опять заплакала от счастья.

Это не мелодрама, не кинокартина, это — подлинный случай, происшедший на днях в Наркомпросе. Женщина несколько месяцев тщетно разыскивала своего потерянного сына Володю в разных городах и колхозах Союза. И, наконец, добралась до Ташкента и здесь, в этой книге, среди прочих записей, вдруг увидела такую строку:

«Кардонский Владимир, 13 лет. Передан на воспитание в 149 ташкентскую школу».

Мудрено ли, что эта бедная книга показалась ей прекраснее и умнее всех книг какие она когда-либо читала за всю свою жизнь.

В книге — список детей и подростков, эвакуированных из прифронтовой полосы и не знающих, где находятся их родные.

Эта книга у нас на глазах принесла человеку величайшее счастье: благодаря ей осиротелая мать нашла своего осиротелого сына...

— Тридцать шестая! — тихо сказала мне одна из сотрудниц. (Значит, за последнее время тридцать шесть женщин разыскали своих ребят при помощи наркомпросовских списков.)

Я люблю эту тесную комнату. Хотя на официальном наречии та работа, которую делают здесь, называется весьма прозаически: «учет и регистрация эвакуированных детей», но гуманная советская общественность придала ей столько задушевности, что эта комната кажется мне самой поэтичной и обаятельной во всем трехэтажном наркомпросовском здании».

Свидетель, чьи слова я цитировал,— Корней Чуковский. Это написано им в феврале 1942 года.

Как и во многих иных случаях, о которых уже было говорено, установить с абсолютной достоверностью, кто конкретно и персонально был инициатором, кому принадлежала идея создания при Наркомпросе республики Детского адресного стола, сегодня, спустя чуть ли не сорок лет, весьма затруднительно. Бывшие работники Наркомпроса — Наталия Павловна Крафт, Фрида Абрамовна Триерс — вспоминали об этом так:

— Все началось с легкой руки корреспондента «Комсомольской правды» Евгения Мара. Побывав в осенние дни 41-го года в Ташкенте, он напечатал в газете статью о Центральном детском эвакопункте, о том, как здесь принимают, регистрируют в книге, распределяют по детским домам, больницам, колхозам и предприятиям детей и подростков, при эвакуации потерявших родителей. С этой статьи и пошло. Уже через несколько дней после того, как она была напечатана, на ЦДЭП хлынула буквально лавина писем — сотни, тысячи, многие тысячи,— и в каждом такое кричащее горе, столько боли и слез — душа разрывается. Нужно было зарыться в списки — а их уже были целые кипы,— установить, разобраться, прошел ли ребенок по нашему пункту, и, если прошел, куда получил направление. А где же этим заняться, когда и прочесть-то как следует некогда,— встречай эшелоны, веди детей в баню, накорми, напои и скорее, скорей выпроваживай дальше! Так и лежали они, эти кровоточащие треугольнички писем, пока как-то раз не пришла к нам на ЦДЭП Екатерина Павловна Пешкова — жена Алексея Максимовича Горького, жившая в ту пору в Ташкенте. Прочитала одно, прочитала другое, разрыдалась, ушла. А через несколько дней организовала в Наркомпросе республики, в комнате 38, Детский адресный стол.

Такова одна версия возникновения Центрального республиканского детского адресного стола.

Но есть и другая. Я напомню.

СОВНАРКОМ УзССР И ЦК КП(б)Уз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1758

15—26 ноября 1941 г

ОБ УСТРОЙСТВЕ ДЕТЕЙ, ЭВАКУИРОВАННЫХ ИЗ ПРИФРОНТОВОЙ ПОЛОСЫ

В целях устройства детей, эвакуированных из прифронтовой полосы, потерявших при эвакуации родных или отставших от детдомов и учебных заведений, СНК УзССР и ЦК КП(б)Уз ПОСТАНОВЛЯЮТ:

13. Обязать Эвакоуправление при СНК УзССР немедленно организовать централизованный учет несовершеннолетних, принятых в приемники-распределители НКВД, в детдома Наркомпроса, Наркомсобеса и др. или устроенных на производство и сельскохозяйственные работы, организовав розыск родных этих несовершеннолетних через Переселенческое управление при СНК СССР и органы милиции.

Эти функции добровольно взяла на себя и в течение всей войны исполняла группа женщин-общественниц и при них лишь один штатный работник Наркомпроса республики — Катя, как тогда называли ее друзья и сотрудники, Шамсикамар Салаховна Сибгатуллина.

Кто-то, может быть, скажет — опять то же самое, опять двузначность ответа: рождение адресного стола — результат инициативы, проявленной снизу,утверждают свидетели; рождение адресного стола декретировано сверху, убеждает архив. Да, двузначность, но такая двузначность, поначалу смущавшая, уже не тревожит, не удивляет меня. Напротив, я вижу за ней конкретное проявление диалектики связи, слияния партийно-правительственных решений тех лет с инициативой, исходившей от масс в этих решениях,юридически узаконенной. И, конечно же, именно эта двузначность, это прекрасное двуединство предопределило собою исход большого сражения за детские жизни, что развернулось в Узбекистане в 1941—45 годах, так же как и нашу Победу в целом.

Но тогда, в те дни, о которых здесь речь, до победы было еще далеко. О ней еще только мечталось. Ее прозревали сквозь пот и лишенья, сквозь голод, пламя и кровь.

С чего начинался Детский адресный стол? Со списков, взятых из ЦДЭПа, из городских детприемников, вагонов-приемников, из детских больниц и домов младенца — с одной стороны, из писем-запросов — с другой. Позже, специальным приказом-инструкцией Наркомпроса УзССР, руководителям детских домов вменялось в обязанность регулярно, через каждые полгода, представлять в Республиканский детский адресный стол — в 38-ю комнату — списки наличного контингента детей, оперативные сведения об «отданных в дети»— кому и когда, под какой фамилией будет отныне ребенок значиться, о заболеваниях, смертности и побегах.

Сперва представлялось: составить по спискам алфавитную картотеку, сличить ее с родительскими запросами — чего же проще, какие тут могут быть сложности? На деле оказалось не так. Первая сложность, с какою столкнулись,— рабочие руки. На то, чтобы силами Кати Сибгатуллиной — единственного штатного работника Детского адресного стола — составить такую картотеку, понадобились бы месяцы, годы. Такого времени не было. Адресный стол должен был сразу, без промедлений начать свою добрую службу — разыскивать потерявших друг друга детей и родителей, соединять сестер с братьями, сообщать на полевую почту отцу, что сын его или дочь живы-здоровы, благополучно растут в таком-то детдоме.

С этой трудностью справились быстро. По зову Е. П. Пешковой в 38-ю комнату Наркомпроса явились добровольцы-общественницы: Надежда Алексеевна Пешкова — сноха М. Горького, жены эвакуированных в Ташкент известных советских писателей — Людмила Ильинична Толстая, Анна Никандровна Стукалова-Погодина, Ирина Ивановна Вирта, Тамара Владимировна Иванова. Затем это ядро обросло другими бескорыстными помощницами. Пришли и на многие годы включились в работу Анна Алексеевна Малинина-Терентьева, Людмила Здиславовна Непомнящая, Ольга Владимировна Лебедева,

Галина Васильевна Анохова, Анфиса Владимировна Лазаревская — да разве всех назовешь?

Так, вроде б сама собою, без посторонней помощи решилась одна проблема. Другая оказалась сложней.

Бумага. Где было взять в тех трудных условиях хоть самую плохую бумагу, чтоб завести именные карточки — не десятки, не сотни — сто тысяч, чтоб рассылать деловые запросы по детдомам и приемникам, отвечать на слезные письма родителей? Приносили свою. Собирали по школам. Кто-то надумал пустить в ход обои. Но и эта счастливая мысль, эта большая находка не решали проблемы. Доброе дело грозило заглохнуть, сорваться из-за нехватки бумаги. И тогда, сколь ни бестактным казалось общественницам в тот напряженный, драматический час — зима 1942 года! — обращаться к правительству с такой малостью, нужда приневолила — пришлось обратиться.

СОВНАРКОМ УзССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 5732-р.

8 декабря 1942 г. **г. Ташкент.**

Поручить Госплану УзССР выделить Наркомпросу УзССР из фондов Совнаркома Узбекской республики:

1. Обложечной бумаги — 150 кг для учета и заведения картотеки на эвакуированных детей.

Многие годы спустя, перебирая старые карточки, одна из бывших работниц адресного стола при Наркомпросе республики — Людмила Здиславовна Непомнящая рассказывала:

— Для других это что — бумажка, простая бумажка, с ничего не говорящими сердцу фамилией, именем, указанием возраста и места рождения. Для меня за этой бумажкой, за каждой из них — детские лица, измученные, растерянные и вопрошающие, лица с недетски серьезными, испуганными глазами, так беспощадно увидевшими насилье, разруху и смерть. Не нужно было быть матерью, чтоб, глядя на них, душа не разрывалась от боли. Вот почему бывало часами, днями, неделями копаешься в списках и письмах — а вдруг да мелькнет в каком-то из них имя, и что значится в карточке? И какая огромная радость, когда такое случалось! Помню, искал своих братьев Ваню и Васю старший лейтенант Медведев. Я обнаружила их — и того, и другого — в различных детских домах. Он потом прислал мне открытку, полную благодарственных слов. Я храню ее до сих пор.

«Многоуважаемая товарищ Непомнящая! (Прошу простить, если неправильно разобрал Вашу фамилию, а следовательно, неправильно и пишу.)

Ваше сообщение от 24.X.44 г. о розыске Вами моих братьев Васи и Вани Медведевых я получил, за что искренне Вам благодарен. По указанным Вами адресам послал запросы и, если там работают такие же чуткие, сердечные советские люди, как Вы, надеюсь в скором времени наладить с братьями связь.

Желаю Вам здоровья и благ.

Безмерно обязанный Вам

Ст. Лейтенант Медведев С. М.
Полевая почта 10480 «А».

06.XI.44 г.

Другое признание — Анны Алексеевны Малининой-Терентьевой:

— Странное дело: чем дольше бывало ищешь ребенка, чем больше сил на это истратишь, тем ближе тебе он, родней, хотя и в глаза ты его никогда не видала. Порой до того природнишься, что ночью лежишь, засыпаешь — о нем твоя дума, утром проснешься — первая мысль опять же о нем. Привычка? Сочувствие? Не знаю, не знаю, Тогда не могла разобрать, теперь не пойму. Только правда... правду вам говорю. Вот было, к примеру, такое. Одно за одним получаю письма из Горьковской области. Ищут Войновскую Лидочку. Отец, мол, на фронте, девочка с матерью еще в начале войны уехали, по слухам, в наши края. С тех пор ничего — ни слуху ни духу... Стала искать я по картотеке, по спискам, запросы разные делала. Безрезультатно. И вдруг — совсем уж отчаялась — сижу как-то днем за столом, одна была в комнате — Первое Мая,— вдруг в списке детей по тридцать третьему детскому дому в Ташкенте читаю такое: Ванновская Лида. И будто что толкнуло меня: да это ж она, моя дорогая Лидуся, она, моя девочка! Как была побежала в детдом к Зайнутдину Асамову — директором был. Привели мою девочку, еще ни о чем не спросила, а я уже чую, сердце подсказывает: Лида Войновская!..

«Уважаемая товарищ Малинина!

Спасибо за открыточку, которую прислали Вы нам. Мы слов не найдем, чтоб сказать, как счастливы, что разыскалась наша Лидочка. С начала войны, как с матерью вместе бежали от фронта, так больше ни слова. И вот Вы сообщаете нам, что Лидочка жива и здорова. Благодарим Вас несчетное число раз. Низкий поклон Вам.

Просьба, с которой сейчас обращаемся к Вам,— привезти Лиду к нам. Сами мы поехать за ней не можем, так как я (сестра ее мамы) с ребенком грудным на руках, а бабушка ее очень старая.

Вот адрес, куда привезти Лиду: г. Горький, ул. Карла Маркса, дом 7, квартира 5, Арбекову Василию Порфирьевичу. Это брат Лидочкиной мамы, а он уже привезет ее к нам, то есть в деревню, где Лида и будет жить у бабушки. Просим по возможности сделать это скорей. Никак до сих пор не верится, что скоро увидим Лидочку.

Вот адрес, где Лида будет жить: Горьковская область, Д-Константиновский район, село Борисово-Покровское, Шумилова Наталия Васильевна.

Передайте привет нашей девочке. Крепко целуем ее и ждем с нетерпением.

Очень просим Вас сообщить, когда можно ждать.

С сердечным приветом Елисеева.

P. S. *Еще просим Вас, если можно, узнайте, что случилось с Лидиной мамой, какое несчастье постигло ее. Отец нашей Лидочки погиб на фронте».*

Не знаю, как в дальнейшем сложилась судьба Саши Юлиш. Хочется думать, что счастливо. Хочется думать, что Александр Юлиш, человек давно уже взрослый, сполна возвращает людям ту доброту и отзывчивость, которыми в давние годы он был спасен от сиротства.

Об этой истории — одной из тысяч и тысяч — вспоминает бывший общественный инспектор Детского адресного стола Ольга Владимировна Лебедева:

— Помните, как сказано у Льва Толстого: мол, все счастливые семьи похожи одна на другую, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Не знаю, были ль в войну счастливые семьи, но что каждая несчастливая семья была несчастлива по-своему, это уж точно... Первые письма от неведомого мне Юлиша были с фронта, потом из тыловых городов — из госпиталей, наверно, наконец из Челябинска, с номером дома, квартиры — демобилизовали, выходит. Так по обратному адресу мало-помалу вырисовывалась передо мной судьба человека. Потом уж узнала подробней. Семья их жила до войны где-то на Украине. Бежали. В дороге жена тяжело заболела. Сдал он ее в больницу, сына единственного определил в детский дом, сам ушел в армию. Через несколько месяцев, когда фронт подошел к тому городу, детдом и больницу эвакуировали в разные стороны. С тех пор он и ищет жену и сынишку. Нашел ли жену — не скажу. А сына, Сашулю, я ему отыскала — в Ташкенте, в десятом детдоме воспитывался.

«Многоуважаемая товарищ Лебедева!

Только что получил Ваше письмо, в котором Вы сообщаете точное местонахождение моего дорогого сынишки Саши. Я надеюсь, Вы поймете мою невыразимую радость и беспредельный восторг отца, уже потерявшего было надежду найти когда-либо сына. Не нахожу слов, форму, которые могли бы передать всю глубину моей благодарности Вам за Вашу чуткость, отзывчивость, которые меня опять возродили. Сын — это все, что осталось у меня дорогого и близкого. Жену постигла трагическая участь. Постараюсь в ближайшее же время приехать в Ташкент за Сашей и тогда уже лично выражу Вам свою благодарность.

От души сочувствую постигшей Вас утрате. Простите мой естественный восторг.

С глубоким уважением.
Жму Вашу руку.
г. Челябинск. 15/V-44 г. *Юлиш М. А.»*

Письма, открытки, официальные заявления — сгустки горя, крик наболевшей души.

«Многоуважаемый общественный инспектор тов. Малинина!
Ваш ответ на мой запрос о розыске сына Вовы Песина, 1935 г. рождения, я получила, и у меня закралась маленькая надежда, что найду его, ибо все же из Воронежа больше эвакуировали в Вашу сторону. Одного боюсь: что ребенок забыл свою фамилию и числится в списках Незвановым. Он у меня голубоглазый, у него на лбу и на животике под правым ребром швы от осколочного ранения. Я буду Вам очень благодарна, если Вы поможете мне найти сына. Ведь, может быть, Вы тоже мать и понимаете, что значит потерять ребенка.
С надеждой Катя Песина».

Мне не удалось, к сожалению, установить, чем закончился этот розыск — в архиве нет таких данных. Не сумею я также порадовать читателей развязкой и той печальной истории, что стоит за письмом-заявлением А. В. Кунцевич.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу помочь мне разыскать моих детей — Тревого Михаила (Мишу) и Женю, мальчиков-близнецов четырех с половиной лет, и Сергея (Сергутю) полутора лет — детей военнослужащего из города Бреста Тревого Сергея Ивановича (находится на фронте).
Мать Кунцевич А. В.

Десятки светлых, радужных сцен возвращения ребенка родителям чередуются в памяти бесконштных сотрудниц Детского адресного стола со сценами трагическими, невыразимо тяжелыми. Порой они, эти случаи, разыгрывались там, где если слезы и ожидались, то слезы радости, а не боли. Об одном из таких эпизодов рассказала Ольга Владимировна Лебедева:

— Не помню фамилии мальчика, переданного на воспитание, а затем по ходатайству матери нами разысканного. Мальчик оказался в хорошей семье, был окружен вниманием и любовью. И вот обе матери сошлись в нашей комнате. Здесь же был и ребенок. Усыновившая мать, безутешно рыдая, умоляла оставить мальчика ей, обещала родной, что даст ему воспитание самое лучшее, что всегда, в любую минуту та сумеет его навестить. Родная и слышать ее не хотела — вся в слезах благодарила спасительницу своего малолетнего сына и тут же решительно, категорично отвергала все ее предложения. А ребенок, не знаю что понимавший ли, терся головкой о локоть его приютившей и все потихонечку хныкал: «Мама, ну, мама, уйдем...» Конца этой сцены я не видала — сдали нервы, ушла. Ушла и сама разрыдалась: когда за учиненное зло человека наказывают, и то

смотреть больно, а как же стерпеть, когда его заставляют страдать за им же содеянное добро?.. А мать? Ей за что такие страдания?.. Война, война... Что натворила проклятая!..

В первые месяцы существования Республиканского детского адресного стола сфера его «интересов»— зона поиска — ограничивалась пределами Узбекистана — его детдомами, детприемниками, коллективами предприятий, колхозов и школ, бравшими детей на воспитание, семьями, усыновлявшими их. Вскоре, однако, стало понятно, что такая замкнутость сужает возможности поисков. И тогда, как вспоминают бывшие нештатные инспекторы комнаты № 38, по инициативе тогдашнего наркома просвещения Исхака Раззаковича Раззакова и Екатерины Павловны Пешковой решено было установить оперативную связь с Центральным адресным бюро в Бугуруслане, со справочными службами Москвы, Свердловска, Куйбышева и многих других городов, с наркомпросами братских республик. Посылались обменные списки, запросы, устанавливались деловые контакты.

Результат — возвращенные родителям дети, сведенные вместе братья и сестры, десятки и сотни восстановленных, счастливых семей.

По запросу солдата Михайлова Республиканский детский адресный стол в течение короткого срока устанавливает, что старшая дочка его — Люба — находится в детдоме селенья Каджары, неподалеку от Тбилиси, младшая — Галя — в Доме младенца деревни Вязники Ивановской области.

В 1943 году семья Максимовых узнает через Детский адресный стол, что их десятилетняя Тамара, потерявшаяся при эвакуации, живет в детском доме Кузнецка под Пензой.

Рабочая одного из ташкентских заводов Х. М. Ткач, прибывшая из Армавира, получает от сотрудниц 38-й наркомпросовской комнаты точную справку: дочь ее Роза, пропавшая по дороге полтора года назад, воспитывается в одном из колхозов на Ставрополье.

Число примеров подобного рода можно многократно умножить — к концу войны стараньем женщин-общественниц более тысячи детей были возвращены в свои семьи.

Но не всегда, нет, не всегда поиск венчался радостной встречей матери с сыном, брата с сестрой. Случалось и так, что проходили недели и месяцы, а запрос отца или матери все еще без ответа. Канцеляризм, бездушное отношение к людям? Что ж, не будем таить — и такое бывало.

НАРКОМПРОС УзССР
ПРИКАЗ № 259

26 марта 1946 г.

...Непонимание отдельными директорами детских домов значения розыска детей и возвращения их родителям приводит к тому, что ответы на запросы различных организаций и отдельных граждан, разыскивающих детей, посылаются несвоевременно.

Так, например, Колясин Вячеслав, 1937 г. рождения, по запросу матери был

обнаружен сотрудниками Адресного стола Наркомпроса в Самаркандском № 6 (директор тов. Б.). На телеграммы Адресного стола от 17 мая, 7 июня, 2 августа, 25 сентября и 10 октября 1945 года с просьбой подтвердить пребывание мальчика в данном детдоме и через Ташкентский детский эвакопункт направить его к матери ответа не поступило. Только 16 февраля 1946 г. мальчик был взят из детдома специально командированным из Наркомпроса человеком.

За допущенную халатность и бездушное отношение к людям директору Самаркандского детдома № 6 тов. Б. объявить строгий выговор с предупреждением.

Приказ обсудить во всех детдомах Наркомпроса республики.

К приказу приложена подробная инструкция «О ведении учета детей в детдомах и об оперативной отчетности о заболеваниях, смертности и побегах», утвержденная Наркомпросом УзССР 18 июня 1943 года.

Да, бывало и так, что причина задержки ответа на запрос родителей, родственников, официальных организаций — в бюрократизме, душевной глухоте, а то и просто неделовитости отдельных руководителей детских учреждений. Но все же чаще, чаще причина бывала в другом.

...На обочине неширокой дороги, что тянется от Бухары к Ромитану,— маленький холмик. Ранней весной он рдеет густыми сочными маками. Цветы тихо колышутся, и кажется, будто это не ветер, а какая-то тяжкая скорбь клонит и гнет их тонкие стебли.

Июльское солнце выжигает и цветы и траву на придорожном холме, и стоит он тогда с непокрытым ржавобурого цвета морщинистым теменем.

Это могила. Но нет на ней имени того, кто здесь захоронен. Имени его не знает никто. У него не было имени.

Старая женщина, всю жизнь прожившая в этих местах, рассказала:

— Привезли его в наш кишлак вместе с другими малятами первой военной зимой. Откуда были они, точно нам не известно. Одни говорили — из Гомеля, другие — из Ленинграда. Да что там было гадать: только глянешь на них — сразу поймешь: оттудова, где полыхала война. Бескровные, тощие, а у иного — рана на тельце. Возьмешь его на руки — никакого в нем веса, пушинка... Ну, других сумели мы выходить, можно сказать, второй раз родили на свет. А этого нет, не смогли — совсем уж был плох. Кричать, плакать сил не хватало — стонал, стонал только... Годка полтора ему было, когда схоронили. Так и остался безвестным...

Еще одна жертва войны. Могила неизвестного ребенка.

И сколько б, куда бы ни слали запросы родители — ответа не будет. А если и будет...

В начале 1973 года в один из районных отделов милиции Полтавы с просьбой о розыске Александра Николаевича Уткина, 1940 года рождения, обратился его брат Михаил Васильевич Трошков.

Вот ответ, направленный в полтавскую милицию из Ташкента членом группы женщин-общественниц Ф. А. Триерс:

«...Трудно отвечать на запрос, когда разыскиваемого ребенка

давно уже нет в живых. Был бы Михаил Васильевич здесь, я сумела бы по-матерински разделить его скорбь и, показав ему частично сохранившиеся архивные документы, подробно все рассказать и не так ранить его сообщением о смерти брата Саши.

Рассказать подробно Михаилу Васильевичу о страшном прошлом, о трагедии ленинградских детей, перенесших блокаду и дважды эвакуацию (сначала на Кавказ или на Кубань, затем в Среднюю Азию), необходимо, чтобы он смог понять: порой даже самые лучшие условия и уход уже не могли спасти этих детей — жертв войны и фашизма.

Так случилось и с Александром Николаевичем Уткиным, 1940 года рождения, уроженцем деревни Амосово Крестецкого района, Ленинградской области. (Все эти сведения выписаны мной из справки Амосовского сельсовета, датированной 6 июля 1942 года.)

Письмом в Крестецкий райздравотдел Амосовский сельсовет сообщал, что мать Саши Уткина умерла, отец — погиб на фронте, старший брат мобилизован на военный объект, и поэтому сельсовет просил поместить ребенка в детское учреждение.

Судя по документам, 9 июля 1942 года Саша Уткин был принят в Дом младенца города Боровичи Ленинградской области. Выбыл, эвакуировался он оттуда 25 декабря 1942 года.

В медицинской карточке из Дома младенца Боровичей записано: Уткин Саша, 2-х лет — дистрофия II — III степени, рахит II степени. За время пребывания в Доме перенес заболевания коклюшем, ветрянкой, конъюнктивитом, экземой, корью. В легких прослушиваются сухие хрипы, дыхание — жесткое.

В Ташкент он приехал в начале 1943 года с группой (из сорока человек) детей дошкольного возраста из Дома младенца Ленинградской области. В ташкентский Дом ребенка все эти дети поступили 15 января 1943 года.

Записи о состоянии здоровья и о лечебных назначениях Саше Уткину велись главврачом этого дома.

Надо видеть эти чудом сохранившиеся старые документы! Время было тяжелое. Бумага, каждый клочок — проблема. Врачебные записи сделаны на обрывках санитарных плакатов, на оборотной стороне каких-то документов, на обоях.

Но это вовсе не мешало врачам вести обстоятельный и вдумчивый дневник состоянья здоровья ребенка. Из этого дневника узнаешь все — какое настроение было у Саши, какая температура, аппетит, цвет лица, стул. То отмечается, что он очень вял, бледен, покашливает, то некоторое улучшенье здоровья. Врачебные записи в дневнике почти ежедневные, и только в периоды, когда казалось, что ребенок идет на поправку,— через два или четыре дня.

Война, ужасы бомбежек, голод, осложнения после перенесенных в блокаду болезней, трудности эвакуации сделали свое страшное дело — сломили крохотный организм. Ни квалифицированная медицинская помощь, ни заботливый уход, ни усиленное питание не могли уже восстановить здоровье ребенка. «Острая гипотрофия, упорная мокнущая экзема на голове и на всем теле, конъюнктивит

обоих глаз, сухие и влажные хрипы в легких, частый стул и выпадение прямой кишки, афтозный стоматит, шейные лимфатические железы увеличены с фасоль, в области затылка — с большой орех, гингивит верхней и нижней десен». Здоровье мальчика ухудшалось. 31 июля его перевели в больницу.

И вот последняя запись: умер 31 августа 1943 года от номы».

Это письмо о скорбной, несостоявшейся человеческой судьбе — еще одно тяжкое обвинение войне и фашизму — написано в 1973 году. Розыск окончен. Но это был далеко не последний запрос, пришедший в Ташкент: не отзвучало еще, не заглохло эхо войны, еще и сегодня продолжают идти щемящие душу письма-запросы. Но кто ответит на них?

В апреле 1944 года приказом № 389 по Наркомпросу республики единственный штатный работник Республиканского детского адресного стола Ш. С. Сибгатуллина в связи с упразднением этой должности переводится воспитателем ЦДЭПа. Теперь вся работа по учету и розыску детей, потерявших родителей, ложится исключительно на плечи женщин-общественниц. К этому времени, после реэвакуации в Москву Е. П. Пешковой, Н. А. Пешковой, Л. И. Толстой, К. Н. Стукаловой-Погодиной и других активисток, ее возглавляет Лидия Яковлевна Беленькая. Какое-то время по окончании войны Детский адресный стол еще действует. Затем так много сделавшая для счастья людей 38-я комната постепенно пустеет — переходят на другую работу одни, на заслуженный отдых — другие. Заботы о розыске берет на себя группа бывших сотрудниц Наркомпроса республики — пенсионерки Е. В. Рачинская, Е. Г. Самойленко, Ф. А. Триерс, Н. П. Крафт, С. А. Журавская и другие. Но время неумолимо — уходят из жизни Е. В. Рачинская, С. А. Журавская, Ф. А. Триерс. Уезжает из Ташкента Н. П. Крафт. Возраст, болезни лишают возможности действовать с прежним напором, энергией, страстью Е. Г. Самойленко. Дело разваливается. Бесценные списки детей и подростков, в годы войны эвакуированных в Узбекистан, распыляются по разным архивам и даже частным домам. Картотека, способная еще много добра сделать людям, бросить свет на многие судьбы, до сегодняшних дней не разгаданные, эта поистине уникальная сокровищница человеческих историй и драм, с таким трудом и душевной щедростью создававшаяся женщинами-общественницами, когда я видал ее в последний раз, находилась в состоянии, мягко говоря, удручающем — все перепутано, свалено в кучу.

«РАЗВЕ ТЫ СИРОТА...»

В одном из дореволюционных рассказов — «зарисовок с натуры» — М. Горький повествует о рабочих какого-то южного города, на несколько дней приютивших у себя детей своих забастовавших то-

варищей. Писатель увидел в этом поступке вещественное проявление классовой солидарности трудового народа, чувств пролетарского интернационализма и пишет о нем с восхищением.

Какие ж слова нашел бы великий трибун революции, чтоб воспеть и прославить беспримерный интернационалистский подвиг целого народа, который не на день или два — на многие годы, не в мирное, спокойное время — в лихолетье войны взял на себя заботу о жизни, здоровье и воспитании не горстки соседских ребят — ста тысяч бездомных сирот!

Разовым порывом, пусть ярким и броским, но разовым — многого тут не добьешься. Тут нужно было другое: готовность изо дня в день делить последний кусок, нет, не между собой и посторонним ребенком — это еще не вся доброта,— между своим голодным ребенком и ребенком чужим! Тут нужна была непоказная душевная щедрость, благородство высочайшего рода, тот особый дар человечности, при котором чужую боль, чужую беду ощущаешь как собственные.

Я говорю не только о тех, кто брал ребенка в семью, кормил, одевал и воспитывал,— я говорю о целом народе, который на многие годы добровольно, без мысли о возмещении, вознаграждении в будущем взял на себя большие материальные и моральные заботы о детях — жертвах войны.

Да, не будем стыдливо умалчивать о том, что вся эпопея спасения осиротевших, бездомных детей была сопряжена, помимо многого прочего, с огромными по тем временам материальными затратами. Оно и понятно, если припомнить, что число детдомов за годы войны возросло в Узбекистане в два с половиной раза, контингент их утроился. Для наглядности такое сравнение: в 1937 году бюджет детдомов республики — 33 миллиона, в 1943 — 99 миллионов 418 тысяч рублей. Но это не все. К этому нужно добавить еще и те солидные ассигнования, что шли на содержание многочисленных по республике Домов младенца, детских больниц, санаториев, детприемников, вагонов-приемников, которые содержались на средства Наркомздрава и Наркомата внутренних дел республики. Так,— еще немного статистики — ассигнования на дошкольное дело в 1944 году составили 77 миллионов рублей, что превышало бюджет по этой статье последнего предвоенного года двукратно и более.

Но даже этих крупных дополнительных государственных вложений было явно недостаточно для содержания всей разросшейся сети детских учреждений. А потребности росли и росли — на питание и обмундирование, на приобретение инвентаря и содержание штатов, на отопление и медицинское обслуживание, на организацию новых классов, на учебники и культурные нужды, на десятки, десятки с каждым днем возникавших потребностей.

СОВНАРКОМ УзССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1121

10 августа 1942 г. г. Ташкент

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОТПУСКЕ СРЕДСТВ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДЕТДОМОВ

В целях обеспечения необходимого капитального ремонта помещений детских домов, в первую очередь эвакуированных, СНК УзССР постановляет:

1. Увеличить ассигнования на капитальный ремонт помещений детдомов в 1942 г. до 2 миллионов 500 тысяч руб. против первоначально утвержденной суммы в 900 тыс. руб.

Да, государственных средств не хватало. Но изыскать, умножить ассигнования на содержание детских домов — это была лишь одна, только первая трудность. За нею вставала другая, ничуть не более легкая: как при общем и остром дефиците продуктов питания, самых необходимых промышленных товаров — дефиците, войной обусловленном,— как израсходовать эти средства, как обеспечить весь многотысячный контингент детдомов питанием, одеждой, топливом, инвентарем, бумагой, учебниками, всем прочим, необходимым ребенку?

Как и все иные проблемы той давней истории, о которой я повествую, и эти решались слиянием партийно-правительственных директив, установлений органов власти с инициативой и творческой самодеятельностью масс, причем решались в единстве и комплексе.

Директива государственной власти:

СОВНАРКОМ УзССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 187

3 февраля 1942 г. г. Ташкент

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО СНАБЖЕНИЯ ДЕТСКИХ ДОМОВ

В целях улучшения снабжения продуктами питания детских домов Совнарком УзССР постановляет:

1. Выделение основных фондов питания для детских домов с 1 февраля 1942 г. производить в централизованном порядке.

2. Утвердить нормы обеспечения воспитанников детских домов по основным пунктам питания в следующих размерах:

хлеб печеный	**— 400 г**
мука	**— 20 г**

крупа и макароны	— 70 г
мясо, рыба	— 56 г
жиры	— 32 г
сахар	— 20 г
кондитер. изделия	— 15 г

5. Обязать Наркомторг УзССР и Узбекбрляшу мясные продукты из своих подсобных хозяйств направлять в основном в детские дома.

7. Учитывая, что потребность детских домов в мясо-молочных продуктах не может быть удовлетворена полностью за счет централизованных фондов, предложить облисполкомам организовать прикрепление детских домов к колхозам для приобретения ими мясо-молочных продуктов, а также овощей.

8. В целях увеличения снабжения детдомов овощами предложить Наркомпросу УзССР и облисполкомам организовать при каждом детском доме огороды, обрабатываемые силами обслуживающего персонала и воспитанников детских домов.

9. Обязать Наркомторг и Узбекбрляшу установить строгий контроль за целевым использованием выделяемых фондов детских домов.

Председатель СНК УзССР А. Абдурахманов
Управделами СНК УзССР П. Коваленко

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ

ПЛАН

отпуска мяса детским домам из подсобных хозяйств горторгов и райпотребсоюзов на февраль — март 1942 г. (в тоннах)

Ташкентская область	— 11,7
Ферганская область	— 4,8
Андижанская область	— 3,8
Наманганская область	— 3,4
Самаркандская область	— 4,2
Бухарская область	— 5,6
Сурхандарьинская область	— 0,3
Хорезмская область	— 0,9
	34,7

Инициатива и самодеятельность масс: больше заботы о детях!

Обращение колхозников и колхозниц сельхозартели им. Ворошилова Ташпулакского сельсовета, Наманганского района

...Мы взяли шефство над детдомом им. Крупской в Намангане. Колхоз выделил для отопления этого детдома 5 тысяч снопов гузапаи. Приятно сознавать, что ребятам зимой будет тепло.

Справедлива старая узбекская пословица: «Кто поделится с сиротой, сам станет богаче». Как же нам не помочь детям, родители которых погибли на войне с озверелым врагом, защищая родную советскую землю!

О воспитанниках нашего подшефного детского дома мы будем заботиться, как о своих родных ребятах, до их совершеннолетия.

На первое время колхозники выделили для детдома 4 тонны разных круп, 2 тонны овощей, 2 баранов, 2 свиньи. К весне выделим

12 ягнят, 5 поросят и засеем 1 гектар овощей и 1 гектар шалы.

Колхозники и колхозницы, следуйте нашему примеру, берите шефство над детдомами, обеспечьте их всем необходимым!

Ни одного колхоза в республике не должно остаться вне нового патриотического движения!

Позаботимся о детях!

Директивы государственной власти:

Совнарком УзССР. Распоряжение № 6008-р. 28 декабря 1942 г.: «Обязать Наркомторг УзССР отпустить из резерва декабря 1942 г. зерно — муку и крупу для обеспечения детских домов 38 тонн».

Совнарком УзССР. Постановление № 587. 20 мая 1943 г.: «Обязать облисполкомы, Совнарком Каракалпакской АССР организовать дополнительное снабжение продуктами питания и топливом детских домов и детприемников в порядке шефства над ними колхозов, оказать практическую помощь в организации подсобных хозяйств при детских домах и установить повседневный контроль за постановкой дела питания и снабжения одеждой, обувью и хозяйственным инвентарем детских домов, детприемников, школ ФЗО и ремесленных училищ».

Инициатива и самодеятельность масс:

«Летом комсомольцы Ташкентской области засеяли более 200 гектаров бобовыми и овощными культурами в фонд помощи детдомам.

Комсомольцы Ташкентского сельского района организовали в подарок детдомам Ташкента красный обоз со свежими овощами и шалой. Вслед за ними продукты для детдомов города привезли комсомольцы Среднечирчикского и Нижнечирчикского районов.

Детдома Ташкента уже получили дополнительно около 9 тонн шалы, кукурузы, пшеницы и овощей. Ребята радостно встретили колхозников, привезших им подарки, устроили для них концерт художественной самодеятельности, рассказали, как они живут и учатся.

Сейчас готовят к отправке продукты для детдомов Ташкента комсомольцы Чиназского, Мирзачульского и других районов»,— сообщала газета «Правда Востока» 8 декабря 1943 года.

Шефство государственных учреждений, колхозов и воинских частей, учебных заведений, комсомола, различного рода общественных организаций стало в ту пору вторым, и притом довольно весомым, существенным источником материального обеспечения и снабжения детских домов. Формы участия шефов в жизни детдома, их функции были настолько многообразны, что даже назвать, перечислить их все весьма затруднительно.

Ташкент. Коллектив сельскохозяйственного института взял на полное свое обеспечение пять эвакуированных школьниц. В течение всей войны сотрудники института ежемесячно отчисляли из своей зарплаты 1100 рублей на содержание девочек. Преподавателям Ахмедову и Грузо поручено оказывать подопечным помощь в учебе. Ученый секретарь Гуцкова ответственна за бытовое обслуживание детей.

Бухара. Колхозники Карачарбагского сельсовета, Ромитанского района оборудовали детдом для ста эвакуированных детей. Правления колхозов выделили для питания воспитанников овощи, фрукты, мясо. Отпущены средства на закупку теплой одежды.

Наманган. На собрании комсомольской организации хлопкоочистительного завода № 3 вынесено постановление о сборе теплых вещей для эвакуированных детских домов. Уже приобретено 50 комплектов теплой одежды, собрано большое количество детских сапог, фуфаек, пальто, шерстяных рубашек, чулок и т. д. Почин молодежи хлопкоочистительного завода подхвачен коллективами всех предприятий города и колхозов. На 31 декабря 1941 года детским домам Наманганской области передано 600 комплектов теплой одежды.

Севастополь. Команда миноносца «Сообразительный», совершившего за годы войны 218 боевых операций, отразившего 250 воздушных атак, вывезшего из Одессы и Севастополя 14 тысяч детей, женщин и раненых,— заботливый шеф одного из кокандских детских домов. Как вспоминает бывший шеф экипажа В. А. Курзаков — сейчас он живет в Ленинграде, работает на заводе «Большевик»,— только бывало причалит корабль к восточному берегу, первым делом — на почту, подарки детдому: тетради, учебники, игры, какие сумели найти и собрать. А завтра опять идем в море, опять под обстрел.

Работавшая в годы войны заведующей Ферганским гороно Л. П. Баскакова вспоминает:

— Как-то в конце 41-го в обком на бюро меня вызывают — вопрос. о работе детских домов, а их тогда в нашу область прибыло много — из Москвы, Ленинграда, с Украины, из Белоруссии. Разговор о шефстве идет. Я и вношу предложение: пусть бы за каждый детдом ответственность нес один из партийных, советских руководителей области, не вообще, а конкретно. Поддержали. Решение приняли: шефом детдома № 1 назначить Х. И. Турдыева — секретаря обкома партии, за детдомом № 4 закрепить заместителя председателя облисполкома товарища Кичанова Михаила Ивановича, за детдомом № 3 — секретаря Ферганского райкома партии П. И. Братышева.

Новые шефы при нашем содействии сразу ж организовали попечительские советы, куда вошли руководители промышленных предприятий, председатели колхозов, командиры воинских частей. Несмотря на всю свою занятость — чего уж тут говорить: война передышки никому не давала!— и Турдыев, и Кичанов, и Братышев нет-нет да придут в детский дом. Не по рассказам, официальным отчетам знали товарищи, как дети живут, в чем нуждаются, какая им помощь требуется.

Помню, первую зиму совсем у нас туго было с питанием, с одеждой и топливом. Шефы очень нам помогли. С особым теплом вспоминаю председателей близлежащих колхозов и первым из них — жаль вот, имя запамятовала — Назаров фамилия, начальника Харьковского артиллерийского училища, которое тогда в Фергане находилось, полковника Лисицкого и начальника политотдела этого училища подпол-

ковника Овчинникова. У меня даже фото с тех пор сохранилось, где оба они в детском доме, среди детворы засняты. Очень любили их дети!

Большую заботу о детских домах проявили тогда командиры и курсанты Армавирского военного училища, начальник военстроя товарищ Колесниченко. Он выделил средства, стройматериалы, рабочих, которые отремонтировали помещение детдома № 4, благоустроили его территорию, сделали электропроводку. Другие шефы: — из маслозавода — построили для этого детского дома летний пионерский лагерь. Словом, честно скажу: если б не шефы, не знаю, как справились мы с таким вот наплывом детей. Зато какая ж радость была, когда в 44-м отправили мы группу ребят из Четвертого детского дома — а все здоровые, крепкие да как подросли! — обратно в Москву. Через месяц-другой оттуда пакет прибывает. Вскрываем — почетная грамота, благодарность Ферганскому гороно за спасенные детские жизни, за заботу, за хорошее обучение и воспитание тех малышей. И подпись стоит — Моссовет. Я и сейчас как взгляну на ту грамоту — слезы текут...

Уже в самом начале 1942 года Республиканская комиссия помощи эвакуированным детям сочла необходимым разработать обстоятельную инструкцию, которая бы четко регламентировала всю многостороннюю и разнообразную деятельность шефских комиссий, ясно определяла их права и обязанности. Мне удалось разыскать ее в одном из частных архивов.

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАБОТЕ ШЕФСТВУЮЩЕЙ НАД ДЕТДОМОМ ОРГАНИЗАЦИИ

(наркомат, предприятие, учреждение, колхоз)

Шефствующая над детдомом организация (наркомат, предприятие, учреждение, колхоз) помогает детдому осуществлять коммунистическое воспитание детей, обеспечить хорошую учебу в школе, подготовку их к разным видам труда, к обороне Родины, а также улучшить материально-бытовое и санитарно-гигиеническое состояние воспитанников, для чего:

1. Выделяет из числа своих сотрудников (рабочих, служащих, колхозников) комиссию по шефству от 3 до 5 человек и лиц для систематического посещения детских домов, бесед с детьми и учебно-воспитательским персоналом, проверки санитарно-гигиенического состояния воспитанников, их учебы, подготовки к труду и т. п.; разрабатывает календарный график посещения детдома, доводит его до каждого сотрудника своей организации и директора детдома.

2. Во время посещения детского дома шефы внимательно знакомятся с состоянием спален, кухни, столовой, кладовой детдома, с ходом учебы воспитанников в школе, приготовлением ими уроков, их работой в кружках, в частности — в оборонных кружках, мастерских — и все свои наблюдения тут же сообщают директору детдома, одновременно предлагая мероприятия по улучшению учебно-воспитательной работы в детдоме и хозяйственно-бытового обслуживания детей. Если директор не принимает надлежащих мер к устранению указанных ему недостатков, то шефствующая организация сообщает об этом в Наркомпрос (Управление детдомами).

3. Периодически директор детдома отчитывается в своей работе на партийных и профсоюзных собраниях шефствующей организации. С другой стороны, члены шефской комиссии постоянно присутствуют на педагогическом совете детдома, на совете детского актива, а также на общих собраниях воспитанников детдома, на которых вносят свои предложения по улучшению учебно-воспитательной и материально-хозяйственной работы детдома.

4. Содействует детдому в налаживании трудового обучения воспитанников, помогает оборудовать мастерские, приобрести необходимые машины, инструменты, сырье и закрепляет квалифицированных специалистов (из числа инженерно-технических работников своей организации) для руководства кружками по обучению детей трудовым навыкам.

5. Содействует культурному обслуживанию воспитанников детдома, для чего устанавливает связь с городской или областной комиссией помощи детям и следит за выполнением плана культурного обслуживания по данному детдому, намеченного городской или областной комиссией (посещение артистами, писателями, кинопередвижкой), а также выделяет из среды своих сотрудников людей, способных организовать детские самодеятельные художественные кружки (хоровой, музыкальный, драматический), прикрепляет их к детскому дому для работы с детьми и для периодических личных выступлений перед детьми.

6. Из своих материальных ресурсов и добровольных взносов сотрудников образует материальные фонды для благоустройства детдома (покупка недостающей мебели, одежды, белья, посуды, продуктов питания и т. д.), которые передаются детдому по акту и приходуются в его инвентарных и материальных книгах.

7. Устанавливает связь с прикрепленной к детдому поликлиникой и проверяет медицинское обслуживание детей, в необходимых случаях сигнализируя в райздрав, горздрав и Наркомздрав.

8. Проводит среди своих сотрудников сбор детской художественной литературы и помогает детдому в комплектовании библиотеки.

9. Из числа своих наиболее подготовленных агитационно-пропагандистских кадров периодически выделяет докладчиков для чтения лекций и докладов в детдоме, в особенности на темы Отечественной войны.

10. Организует экскурсии воспитанников детдома на подведомственные данному Наркомату предприятия, в лаборатории, на поля и фермы и знакомит детей с основами технологии наблюдаемых процессов.

Всю свою работу проводит, опираясь на воспитателей, детский актив, способствуя развитию и укреплению в детдомах самообслуживания и детской самодеятельности.

12. Шефствующая организация ежемесячно отчитывается перед отделом агитации и пропаганды горкома (обкома) КП(б)Уз о проделанной работе, сообщает горкому (обкому) партии о достижениях и недостатках в учебно-воспитательной и хозяйственно-финансовой деятельности детдома. Копия отчета направляется в Управление детдомами Наркомпроса УзССР.

Но государственными ассигнованиями и помощью шефствующих организаций не исчерпывались источники материального обеспечения широкой кампании по спасению обездоленных войною детей. Уже в самом начале 1942 года во всех республиканских газетах появилось объявление, которое затем в переписанном виде расклеивалось в учреждениях и заводских цехах, а нередко и на стенах домов.

Призыв не остался без отклика.

105 тысяч рублей на содержание эвакуированных детей внесли на счет Республиканской комиссии члены колхоза имени Калинина Ташкентской области.

К денежному перечислению мопровцев Ташкентского мясокомбината была приложена такая записка:

«Это наш однодневный заработок. Мы отдаем его Республиканской комиссии на оборудование и содержание одного из организуе-

мых в Узбекистане детских домов для детей, пострадавших от зверств фашизма. Члены МОПРа Ташкентского мясокомбината обращаются ко всем мопровцам Узбекистана с призывом последовать нашему примеру!»

Красноречивая статистика: к 1 февраля 1942 года на текущий счет № 160676 поступило 877800 рублей добровольных взносов различных организаций и отдельных граждан республики; к марту того же 42-го счет Республиканской комиссии помощи эвакуированным детям исчислялся уже в 2 миллиона 74 тысячи; к 43-му году этот фонд достиг 3,5 миллиона рублей.

Особо значителен — и в материальном своем выражении, и в аспекте моральном тем более — тот вклад, что внесли тогда в дело спасения детства советские писатели и поэты, деятели всех видов искусства.

Афиша 1942 года.

Их были десятки и сотни — концертов, выступлений, спектаклей в фонд помощи эвакуированным детям. В них принимали участие виднейшие советские артисты, музыканты, писатели.

О том, как готовились эти концерты, можно судить по сохранившемуся в архиве протоколу заседания Самаркандской областной комиссии помощи эвакуированным детям от 10 февраля 1942 года.

ПРОТОКОЛ № 2

Слушали: Доклад председателя Городской комиссии помощи эвакуированным детям тов. Долговых о сборе средств на организацию и снабжение детдомов города.

Постановили: Поручить Областному управлению искусств совместно с гороно организовать 22 февраля 1942 г. всеми артистическими силами г. Самарканда вечер-концерт. Сбор передать в распоряжение Областной комиссии помощи эвакуированным детям. Для распространения билетов привлечь пионеров местных школ.

Председатель облисполкома Махмудов.

Об этих концертах и выступлениях бывшие воспитанники узбекистанских детских домов, как правило, узнают лишь теперь, когда демонстрируешь им афиши и объявления военного времени: эти концерты давались для взрослых. Зато другие концерты и встречи запомнились им навсегда — те, что происходили прямо в детдоме или же в театрах на специальных утренниках.

Бывшие воспитанники андижанского детдома № 7, в 42-м году эвакуированного из станицы Барсуки, Невиномысского района, Ставропольского края, не захотели расстаться с дорогой для них фотографией, но разрешили мне ее переснять: популярный киноактер Борис Андреев в Андижане, в гостях у детдомовцев.

Многие воспитанники ташкентских детских домов до сих пор не могут забыть того впечатления, какое на них произвела встреча в каком-то большом, амфитеатром построенном зале с Алексеем Толстым, Корнеем Чуковским, Иосифом Уткиным, Хамидом Алимджаном

и Аркадием Райкиным. По старым газетным подшивкам мне удалось найти подтверждение этим рассказам. Встреча такая действительно не ребячья фантазия. Она проходила 12 января 1942 года в помещении ташкентского театра имени Свердлова. Через день газета «Правда Востока» писала:

«...Собравшиеся приняли обращение ко всем школьникам Узбекистана, призывающее крепить дисциплину, прочнее и глубже овладевать знаниями, готовить себя к защите Родины. Вслед за тем начались выступления писателей и артистов — настоящий праздник искусств, посвященный детям. Затаив дыхание, с блестящими глазами слушали ребята писателя-академика А. Н. Толстого. Он прочел им главу «Желтухин» из своей повести «Детство Никиты». Горячими аплодисментами благодарили школьники поэтов Иосифа Уткина и Хамида Алимджана, выступивших с чтением своих стихов. Большое удовольствие принес юным слушателям лауреат Всесоюзного конкурса чтецов Э. Каминка. Восторженно приветствовали дети своего старого друга — писателя-орденоносца К. Чуковского. Взрывами веселого смеха наполнился зал во время выступления известного мастера эстрады Аркадия Райкина».

Но, разумеется, участие советских писателей, деятелей искусства в эпопее спасения детства, развернувшейся в годы войны на узбекской земле, не ограничивалось выступлениями в концертах, сборы с которых шли на организацию и содержание детских домов, встречами с их воспитанниками. Это по тем временам было весомой, хорошо ощутимой помощью в борьбе за жизнь тысяч детей. И все же главный, самый существенный вклад, который внесли тогда в эту борьбу советские поэты, писатели, артисты, художники,— в созданных ими проникновенных стихах, написанных кровью души рассказах и очерках, в призывной, пронзающей сердце читателя, трибунной публицистике, в героических образах экрана и сцены — образах, побуждавших людей к великим подвигам патриотизма, гуманности и интернационализма.

Можно смело сказать, что благую и добрую роль в восстановлении духовного здоровья детей, на себе испытавших ужасы кровавой войны, сыграли созданные и изданные тогда в Ташкенте, специально адресованные детской аудитории стихи Корнея Чуковского «Одолеем Бармалея», поэтический сборник «Михасик» Эди Огнецвет, ее же написанная совместно с композитором Л. Шварцем детская опера-сказка «Джаннат», которая в 1944 г. была поставлена учениками ташкентских школ, участниками художественных кружков Дворца пионеров и Дома художественного воспитания детей, многие тогда же переведенные на русский язык стихи узбекских детских поэтов.

Не менее важное общественное значение имели в те годы и в той обстановке произведения о детях, но не для детей, а для взрослых. Среди этого ряда весьма многочисленных, неизменно взволнованных произведений первым по праву должно быть с благоговением названо стихотворение выдающегося узбекского советского поэта, лауреата Ленинской премии Гафура Гуляма «Ты не сирота». Оно было создано в начале 1942 года.

Я цитирую эти прекрасные строки, потому что они — глубочайшее выражение общенародного чувства, которому в конечном итоге

обязаны жизнью все сто тысяч сирот, оказавшихся на узбекской земле. Я цитирую эти стихи, потому что сами они силой страсти, болью сердца, в них заключенной, пробуждали в читателях эти высокие, благородные чувства. Я цитирую их: в книге, посвященной истории спасения обездоленного войною детства, без этих стихов обойтись невозможно.

Разве ты сирота...
Успокойся, родной!
Словно доброе солнце,
склонясь над тобой,
Материнской
глубокой
любовью полна,
Бережет твое детство
большая страна.
Здесь ты дома,
здесь я стерегу твой покой,
Спи, кусочек души моей,
Маленький мой!
День великой войны —
это выдержки день.
Если жив твой отец,—
беспокойная тень
Пусть не тронет его
средь грозы и огня,
Пусть он знает:
растет его сын
у меня!
Если умер отец твой,—
крепись, не горюй.
Спи, мой мальчик,
Ягненок мой белый,
усни.
Я — отец!
Я что хочешь тебе подарю,
Станут счастьем моим
все заботы мои.
...Почему задрожал ты?
Откуда испуг?
Может, горе Одессы
нахлынуло вдруг?
Иль трагедия Керчи?
И в детском уме
Пронеслись,
громыхая
в пылающей тьме,
Кровожадные варвары,
те, что, губя
Все живое,
едва не убили тебя!
Может, матери тело,
родимой твоей,
С обнаженными ранами
вместо грудей,
И руки ее тонкой
порывистый взмах
Отпечатались в детских
тоскливых глазах?

Спи спокойно, мой сын,
Скоро кончится ночь!
Спи спокойно, мой сын...
В нашем доме большом
Скоро утру цвести.
И опять за окном
Зацветут
золотые тюльпаны зарниц.
Улыбаешься ты,
и улыбка светла.
Не впервые ль
за долгие, долгие дни
На лице исхудавшем
она расцвела,
Как фиалка
на тающем снеге весны?
И продрогший простор
словно сразу согрет
Полусонной улыбки
внезапным лучом.
Это — скоро рассвет,
Это — белый рассвет.
Это белый рассвет
у меня за плечом!

(Перевод С. Сомовой)

Многие годы спустя, незадолго до смерти, Гафур Гулям рассказал своему переводчику, поэту и литературоведу Александру Наумову, как были написаны эти стихи:

«Вы знаете, конечно, о прославленном кузнеце Шаахмеде Шамахмудове, который с женой взял на воспитание и вырастил четырнадцать сирот войны, эвакуированных в Ташкент? Выступая где-то недавно, он сказал, что взял детей, прочтя мое стихотворение «Ты не сирота». Я был тронут этими словами — но приходится их опровергнуть. Все произошло в обратном порядке.

Однажды, в промозглый, давящий день первой военной зимы я зашел в редакцию республиканской газеты. Тут мне рассказали о Шамахмудовых. У меня защемило сердце... мне явилось свидетельство такой человеческой общности, противостоящей бедам, насилию, смерти, какая была просто немыслима во времена моего детства...»

Да, сопоставляя даты, когда Шаахмедом Шамахмудовым были подписаны первые договоры на усыновление, с временем первой публикации стихотворения «Ты не сирота», нетрудно установить, что все происходило именно так и в той хронологической последовательности, на которой настаивает Гафур Гулям. Тут, конечно, он прав. Но десятки и сотни других договоров, подписанных уже после и, безусловно, в результате, под сильным воздействием стихов Гафура Гуляма, дают основание считать справедливыми (не в хронологии, а — что важнее — по сути) приведенные выше слова Шамахмудова.

Впрочем, само собой разумеется, это было результатом влияния, следствием большого и сильного эмоционального воздействия на тысячи человеческих душ не только прекрасных стихов Гафура Гуляма: в унисон с ними, пробуждая и укрепляя во многих и многих

сердцах те же добрые чувства, те же порывы, мощно звучали тогда публицистические книги Корнея Чуковского «Дети и война», «Узбекистан и дети», в 1942 году выпущенные Госиздатом УзССР на русском и узбекском языках, там же вышедший коллективный сборник «Наши дети», составленный В. Луговским и С. Сомовой, очерк «Возвращенное детство» Ефима Дороша, опубликованный в андижанской газете «Коммунист», многие другие газетные публикации узбекских, русских, украинских, белорусских писателей и поэтов, живших тогда в Узбекистане.

В конце 1942 года известный русский прозаик и драматург Николай Вирта писал в «Правде»:

«Советская Азия — не только грозный воин на полях сражения, не только стахановец на заводах, производящих вооружение, не только отличник урожая, не только поставщик продовольствия, хлопка, лошадей, витаминов и прочего и прочего,— она еще и заботливая мать многих, кто лишен фашистами родины, крова, родителей.

В Узбекистан из областей, оккупированных временно фашистами, прибыло большое количество детей. Это сироты или дети, потерявшие своих отцов и матерей при бегстве из родных сел и городов. Приезжали они организованными группами, а то и сами по себе.

Правительство республики образовало специальную комиссию, которая занимается приемом и распределением детей... Количество детей, устроенных комиссией исчисляется во всяком случае десятками тысяч.

...В своем большинстве отцы ребят дерутся на фронте. Тем благороднее то, что начато Узбекистаном и его народом.

...Один мой знакомый, побывавший в Коканде, рассказал: «Мы с товарищем стояли около кинотеатра и слушали передачу известий по радио. Диктор читал статью фронтового корреспондента. В ней описывался разгром фашистской испанской части на нашем фронте.

— Это они разбили мой дом,— сказал кто-то рядом с сильным иностранным акцентом.— Они его сначала разграбили, потом подожгли. И вот возмездие!

Я оглянулся и увидел смуглую, красивую девушку. Она не могла быть ни русской, ни узбечкой — это был испанский тип женщины.

— Вы испанка?— спросил я соседку.

— Да,— сказала она,— я Рамона Санта Зувалия из Мадрида. Я ушла из моего города, когда фашистские мятежники входили на его окраины. Я ушла одна, моя мать сражалась вместе с мужчинами, она попала в плен к фашистам, ее повесили. Мне было тогда двенадцать лет.

Рамона Санта Зувалия пригласила меня побывать там, где работают она и ее подруги.

Я пошел в швейную мастерскую, где за станками рядом с русскими и узбекскими женщинами работали испанки. Все они очень молоды, но они очень хорошо знают, что такое фашизм. Они пришли в мастерскую недавно — всего год назад, но уже успели завоевать уважение опытных, старых мастеров и мастериц.

Рамона Санта Зувалия познакомила меня со своими подругами. Лола Бордо сказала, что она уже читает русских писателей, а говорит по-русски свободно. Фаустина Санчес показала только что законченный ею заказ и с гордостью заявила, что заказ выполнен раньше срока на целых десять часов. Пила Гарсия, Тереза Родригес, Роза Вильясека очень много расспрашивали о Москве, ни на минуту не прерывая работы.

Испанки полюбили Узбекистан.

— Тут,— заявила Рамона,— много думают о фронте и много делают для него. Мы гордимся нашей новой Родиной».

Девушки, о которых здесь речь,— лишь небольшая группа испанцев, в годы войны нашедших приют в Узбекской республике. Основная их масса — 150 человек — обосновалась в Самарканде, где сразу же по приезде, в конце 41-го года, им было отдано помещение школы № 29. Дети младшего возраста так и прожили в этой школе все годы до возвращения в Москву. Для старших...

СОВНАРКОМ УзССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1794

10 декабря 1941 г. г. Ташкент

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕЖИТИЯ ДЛЯ ИСПАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ В г. САМАРКАНДЕ

1. Организовать в г. Самарканде общежитие на 80 человек испанской молодежи, обучающейся в вузах и техникумах г. Самарканда.

2. Обязать Самаркандский горисполком в срок до 15 декабря с. г. предоставить для общежития необходимое помещение и оборудовать его кроватями и постельными принадлежностями...

Русские, узбеки, украинцы, белорусы, литовцы, молдаване, евреи, поляки, испанцы — воистину большая семья. В ней не было избранных и не было париев, она не делилась на «своих» и «чужих». Материнская ласка, тепло и забота народа-родителя делились в этой интернациональной семье на всех детей поровну, вне всякой зависимости от того, где родился, откуда прибыл в детдом осиротевший ребенок — из кишлака ли джизакского или полтавской деревни, из Ленинграда, Бобруйска, Мадрида, Винницы, Кракова, Бухареста или Алтыарыка. Хотя — чего же таить — и эта семья, по суровым условиям времени, знала свои непростые проблемы, свои каждодневные трудности. О главных из них я уже говорил: содержание многократно разросшейся сети детских домов, обеспечение их контингента продуктами питания, одеждой и топливом. Уже были, вы помните, названы основные источники решения этих проблем: значительный рост

бюджетных ассигнований и централизованное снабжение детских домов — с одной стороны; всемерная, многообразная помощь шефствующих учреждений, общественных организаций и колхозов, добровольные взносы коллективов трудящихся и отдельных граждан — с другой.

Но с течением времени появился еще один, третий источник обеспечения детских домов продуктами питания, а частично и топливом. Вот этот источник.

СОВНАРКОМ УзССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 745

17 июня 1943 г. г. Ташкент

О СОЗДАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ СНАБЖЕНИЯ ДЕТСКИХ ДОМОВ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ

...Организовать в 1943 г. при каждом детском доме и детском интернате подсобное хозяйство и обеспечить их земельными участками под пашни из земельных государственных фондов и, по договоренности с директорами совхозов, из земель совхозов.

Продать детским домам к 1 июля 1943 г. 200 поросят, 200 дойных коров, к 1 августа — 10000 штук цыплят, в двухмесячный срок заготовить и передать детдомам и интернатам 750 лошадей, выделить для подсобных хозяйств при детдомах и интернатах необходимые лесосеки для заготовки лесоматериалов на строительные работы.

По сведениям, почерпнутым из архивов, уже к осени 1943 года общая площадь подсобных хозяйств при детских домах республики составляла 1039 гектаров. Большая часть этой земли засевалась зерновыми культурами, остальное — овощами и бахчой. Прибавка к столу оказалась весьма ощутимой и все же, как решили в правительстве, еще недостаточной. И тогда, в ноябре того же года, Совнарком УзССР снова возвращается к этому вопросу и принимает Постановление «Об улучшении работы детских домов», которым, не оставляя забот об их централизованном снабжении («Обязать Наркомпищепром, Главрыбпром, Наркоммясомолпром, Узбекрляшу УзССР отоваривать продовольственные и промтоварные фонды детдомов (интернатов) полностью в соответствии с установленными нормами — преимущественно перед всеми другими организациями»), обязывает облисполкомы, Совнарком Каракалпакской АССР и горсовет г. Ташкента — «До 1 декабря с. г. выделить земельные участки для детдомов, не имеющих подсобных хозяйств, в радиусе не далее 5 километров от местонахождения детдома. Оказать помощь детдомам в проведении вспашки земельных участков через МТС и колхозы, а также в проведении озимого сева зерновых культур в текущем году не менее, чем по 2 гектара на детдом».

Архивы свидетельствуют (а воспоминания лиц, причастных к этой истории, подтверждают), что партийно-правительственные орга-

ны республики не ограничивались принятием того или иного полезного решения, но своей организаторской деятельностью создавали условия, обеспечивающие реальные возможности практического выполнения принятых ими решений. Вот лишь один конкретный пример.

СОВНАРКОМ УзССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 764-р

1 марта 1944 г. г. Ташкент

Для кормления рабочего скота, находящегося в детских домах Наркомпроса УзССР.

1. Обязать Узбекрасжирмасло отпустить Наркомпросу УзССР за счет резерва Совнаркома УзССР с Янгиюльского маслозавода 10 тонн шелухи.

2. Разрешить Узбекской конторе Главрасжирмасло отпустить 2 тонны жмыха Наркомпросу УзССР за счет фонда, выделенного Наркомтекстилю УзССР.

Мне б не хотелось, чтоб у читателя сложилось превратное представление, будто, уделяя огромное, повседневное внимание детям — воспитанникам детских домов, Центральный Комитет Коммунистической партии (большевиков) Узбекистана, Совнарком УзССР, Республиканская комиссия помощи эвакуированным детям забыли, освободили себя от забот о тех малышах, что были «отданы в дети», о патронируемых. Нет, это не так. Я рассказал уже раньше, как их регулярно посещали в новой семье общественные инспекторы детских комиссий, как выясняли эти дотошные женщины, хорошо ли к ребенку относятся новые папа и мама, а если, случалось, закрадывалось в этом сомнение, тотчас его отбирали. Я говорил уже выше об 11 тысячах обедов, из которых 6 тысяч — бесплатных, ежедневно выдавалось детям «домашним». Подтвержу свою мысль еще одним документальным свидетельством.

СОВНАРКОМ УзССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 481

26 апреля 1943 г. г. Ташкент

...Обязать Наркомторг УзССР предусмотреть в плане II квартала по промтоварам выделение для патронируемых детей:

обуви — 1 тыс. пар
чулок и носков — 2 тыс. пар
верхнего платья — 750 штук
трикотажных изделий — 1500 комплектов
ниток — 1500 катушек.

Чулок, носков, ниток... Не мелко ли? Да стоит ли об этом вспоминать и рассказывать? Стоит ли это сегодняшнего внимания нашего? Стоит. Потому что в подвиге, о котором здесь повествуется, как и в подвиге солдата на фронте, помимо мгновений высокого пафоса, были недели, месяцы, годы тяжелых и вроде бы мелких будничных дел,

потому что сама поэзия подвига вырастала из прозы трезвых расчетов и всеохватной кропотной бухгалтерии, ею подготавливалась и обеспечивалась. И, может быть, именно в этом мудром сочетании поэзии возвышенных чувств с трезвой прозой расчетов, с сухой бухгалтерской цифрой — одно из главных условий нашей великой Победы — победы на фронте и победы в тылу. Вот отчего, даже рискуя потерей читательского интереса, я не считаю себя вправе высокомерно пренебрегать прозаической стороной истории, описываемой на этих страницах.

Впрочем, кто скажет, к какому разделу — поэзии, прозы? — отнести такую вот архивную запись 42-го года:

«В оккупированной части Ленинградской области, в тылу немецкой армии оперируют многочисленные отряды отважных советских партизан. Они пускают под откос поезда фашистов, взрывают мосты и склады, громят обозы, не давая гитлеровцам покоя.

Советское правительство позаботилось о семьях партизан: дети и старики через линию фронта переправлены в глубокий тыл.

98 партизанских детей недавно прибыли в Ташкент. Здесь их тепло, по-матерински встретили. После отдыха и лечения ребята переведены в один из лучших детских домов в окрестностях Ташкента.

В живописной местности в большом фруктовом саду расположены флигеля детдома. Для усиленного питания ребят при детдоме создается животноводческая база. Уже приобретены 5 баранов, 2 телки, 5 свиней. Отпущено 70 тысяч рублей на покупку молочных коров. Администрация детдома проводит заготовку топлива и овощей на зиму.

Сейчас ленинградских ребят не узнать. Они заметно поправились и поздоровели».

При всем многообразии забот об осиротевших детях, оказавшихся по эвакуации в Узбекистане, на первом месте, безусловно, стояла забота об их здоровье. Об этом говорят и официальные документы того времени, и архивные записи, и сегодняшние воспоминания спасителей и спасенных.

Уже 24 марта 1942 года Бюро ЦК КП(б)Уз принимает решение: «Обязать Наркомздрав УзССР, местные партийные, комсомольские и профсоюзные организации уделить максимум внимания охране здоровья детей, обеспечив систематическое медицинское обслуживание их в школе и на дому, особенно детей, эвакуированных из прифронтовой полосы...»

В начале июня того же 1942 года ЦК КП(б)Уз и Совнарком УзССР возвращаются к этому вопросу опять, принимая специальное постановление «О летней оздоровительной кампании 1942 года». «Предложить областным оздоровительным комиссиям,— говорится в нем, в частности,— охватить пионерлагерями детей, наиболее нуждающихся в оздоровлении, в первую очередь — детей, потерявших родителей во время эвакуации, детей красноармейцев-фронтовиков и инвалидов Отечественной войны... Одобрить предложение ЦК

ЛКСМУз о передаче на содержание пионерлагерей, организуемых исполкомами, 500 тысяч рублей, собранных от разных массово-зрелищных мероприятий».

Особой формой, рожденной потребностями времени, стали детские дома санаторного типа. Такой детский дом на 350 человек слиянием 10-го дошкольного и 33-го школьного был образован в Ташкенте, на 100 человек — в Самарканде, во многих других городах и сельских поселках. Самой крупной оздоровительной базой для ослабленных эвакуированных детей был детский городок под Наманганом.

История его такова.

СОВНАРКОМ УзССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1011

14 июля 1942 г. г. Ташкент

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОГО ГОРОДКА В ГАВИНСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ

1. Передать временно, на время войны, Наркомпросу УзССР принадлежащее дому отдыха Узпромсоюзкасс помещение с мебелью и инвентарем в Гавинском сельсовете, Чустского района, Наманганской области для организации детского городка в составе существующего детдома на 116 детей и вновь организуемого детдома выздоравливающего ребенка для эвакуированных детей на 250 человек.

2. Скот и подсобное хозяйство остаются в ведении Узпромсоюзкасс с обязательством снабжения детского городка необходимыми ему продуктами.

3. Увеличить нормы на питание в доме выздоравливающего ребенка на 50 процентов по сравнению с детдомами.

4. Обязать Наркомпрос УзССР довести контингент детского городка до 400 человек.

Ввести в эксплуатацию вновь организуемый дом выздоравливающего ребенка к 30 июля с. г.

События развивались стремительно. 22 июля 1942 года приказом № 745 по Наркомпросу республики на первоочередные организационные нужды Гавинского детского оздоровительного городка — ремонт помещений, приобретение лошади, брички и сбруи, коров и корма для них — ассигнуется 110 тысяч рублей. Контингент городка определяется в 400 человек. Директором назначался Павел Софронович Медведев, освобожденный (в связи с переходом) от должности директора наманганского детдома № 3. Это о нем одна из бывших сотрудниц детгородка мне недавно рассказывала:

— За день до приезда первой группы ребят собрал нас Павел Софронович, сказал со всей строгостью:«Дети, что доверены нам,— дети войны: слабые, после болезни, а то и после ранения — не физического, так другого — душевного. Отсюда, обратно в детдом, должны возвратиться здоровыми. Предупреждаю:каждого, кого спасти не

сумеем, врач, медсестра, педагог, санитарка будут провожать до могилы. Рядом со мной. Перед гробом.

— Гава выбрана была неслучайно — горы, прохлада, а для слабых ребят из центра России, с Украины да с Белоруссии, непривычных к нашему летнему пеклу,— это спасенье,—вспоминает Павел Софронович.*— Смету составили нам в миллион, даже больше, но при этом — условие: врачебный надзор и лечение, санаторное питание, культурный отдых, домашний уют. Задача по тем временам не из легких. Правда, и область пошла нам навстречу: лучших врачей — облздрав, педагогов с душою и опытом — облоно, всего, с техперсоналом,— шестьдесят человек. Ну, скажу откровенно, если справились тогда мы с задачей, первое наше спасибо — работникам облторга. Уж как они старались для нас, чего только ни делали! Масло сливочное, масло растительное, крупы там всякие, мука, сахар, яйца, овощи, фрукты, даже какао — все для нас, для нас в первую очередь. Хуже было поначалу со снабжением мясом: пока на кляче своей по июльской жаре довезешь — глядишь, и протухло,— как-никак от Наманагана до Гавы километров семьдесят да по горной дороге. Самое свежее сдохнет. В облторге придумали так: всю норму, что на летний сезон нам положена, выделить сразу, в живом весе, это значит — скотом. Так и сделали,— целый табун перегнали к нам в Гаву, а мы уж распорядились по своему: которая скотина упитанная — ту на убой, остальную на пастбище выгнали нагуливать вес. С тех пор всегда у нас свежее мясо было.*

Помню, как прибыла первая партия — четыре сотни ребят из разных детских домов. Больные, слабые, хилые. Иных приходилось нести от арбы до самой постели кого на руках, кого на одеяле развернутом. Провели медосмотр, поделили на группы. Одна — просто слабые, истощенные. Другая — пеллагрики да те, что прямо к нам из больницы. У каждой группы — свой корпус, свой особый режим, меню, распорядок. Первым — лекарства, процедуры различные, настольные игры, чтение вслух. Вторым — питание усиленное, игры на воздухе, а потом и походы, костры, соревнования спортивные, художественная самодеятельность. Все, конечно, под присмотром врачей, под руководством воспитателей. Нужным, даже полезным считали мы привлекать наших питомцев, тех, что покрепче, к хозяйственному труду — на кухне, в огороде, на разбивке спортивных площадок. Большим праздником было для всех — и для детей, и для нас, к ним приставленным,— когда ребенка, по приезде в больничную группу назначенного, переводили в группу здоровых.

В летний сезон 43-го года через наш городок прошло 1200 детей: в июне и июле — две смены школьников, в августе — ребята школьного возраста. Результаты, как говорится, были налицо: за время пребывания в Гаве ребенок поправлялся в среднем на пять-семь килограммов, те, которых по приезде приходилось переносить на руках, уходили от нас на собственных крепких ногах. Ну а если такой уж ослабленный к нам попадал, что в одну смену не успевал восстановить здоровье и силы,— такой оставался на вторую, а при нужде и на третью смену, на весь сезон, значит. Во всяком случае, сколько пом-

ню, не было у нас ни единого случая, чтоб неокрепшего выписали, тем более обратно в больницу отправили. Не было этого.

Так провели мы оздоровительную кампанию и в 44-м и в 45-м, когда война уже кончилась.

Не знаю, вспоминают ли нас когда те ребята, которым сегодня уже за сорок. Мы их помним всегда.

За три летних месяца 1944 года более 10 тысяч ребят прошли курс лечения в санаториях Наркомздрава республики и детских оздоровительных городках, 17 тысяч воспитанников детских домов отдыхали на предоставленных им загородных дачах и в пионерлагерях.

Не следует думать, однако, будто все заботы об осиротевших детях, нашедших прибежище в Узбекистане, сводились единственно лишь к тому, чтоб их накормить, напоить, одеть и обуть, дать им кров, восстановить их физическое здоровье и силы. Изучая архивы, вникая в рассказы множества лиц, причастных в ту пору к спасению детей, читая письма воспитанников узбекских детдомов, все больше и глубже убеждаешься в том, что это была борьба не только за спасение физическое, за жизнь и здоровье детей, но даже тогда, даже в сложных, в тех крайних условиях — борьба за душу ребенка, за нравственное здоровье его. Что наряду, параллельно и вместе с огромной суммой задач организационных, финансовых, хозяйственных, в едином комплексе с ними и тогда, несмотря ни на что, без отсрочки до лучших времен, решались на практике — в коллективной работе с отрядом и группой, в персональном подходе к каждому отдельному воспитаннику детского дома — большие проблемы социальной и индивидуальной педагогики и психологии, вопросы идейного, этического и эстетического формирования личности.

Но об этом рассказ еще впереди.

ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ

Имя Лени Поклонского — воспитанника Зуевского детского дома имени Воровского Харцызского района, Донецкой области,— если вы помните, уже называлось в первой части повествования. Пришло время рассказать о нем обстоятельней. Собственно, нет — пока еще не столько о самом Леониде Поклонском, сколько о связанной с ним загадке.

Расскажу в той последовательности, в той хронологии, в какой продвигался поиск.

Летом 1970 года в адрес комиссии женщин-общественниц — бывших сотрудниц Узбекистанского Наркомпроса одно за другим поступили три письма — аналогичного содержания, с одной и той же настоятельной просьбой.

Письмо со станции Щербинка, Подольского района, Московской области

Уважаемые товарищи!

Решила обратиться к Вам с просьбой: помогите найти сына моей соседке — Надежде Ивановне Погорельской. Она ищет его все послевоенные годы и до сегодняшних дней — безрезультатно.

Надежда Ивановна — защитница Родины, инвалид Великой Отечественной войны, пенсионерка.

Еще в 1935 году ее сын — пятилетний Леня Поклонский — по сложным, можно сказать трагическим, семейным обстоятельствам попал в детский дом имени Воровского в селе Зуевка тогдашней Сталинской области. К началу войны ему было одиннадцать лет. В 1945 году, сразу после демобилизации, Надежда Ивановна поехала в Зуевку. В районо ей сказали, что детдом, где находился ее сын, был эвакуирован куда-то в Среднюю Азию. Она едет в Ташкент. Затем Самарканд, Фергана, Наманган. Но все понапрасну — ни сына, ни даже каких-то следов его пребывания там. В 47-м — вторая поездка в Донбасс. Потом письма, обращения, запросы, куда только можно — в милицию, в Общество Красного Креста, на радио в программу «Найти человека», к случайным однофамильцам пропавшего сына. Ответ отовсюду один: нет, не знаем, сведений о таком не имеется. Так до сих пор ничего не узнала несчастная мать о судьбе своего единственного ребенка — жив ли, приключилась ли с ним какая беда?

Дорогие товарищи! Может, по спискам, которые сохранились у вас с военного времени, удастся хоть что-то узнать о Лене Поклонском? Может, откликнутся люди, вместе с ним когда-то воспитывавшиеся в Зуевском детском доме? Помогите, пожалуйста. Нету сил смотреть на страдания матери.

Гуськова Елизавета Михайловна, мать двоих детей.

Второе письмо — из Москвы.

...Может быть, вам, в годы войны занимавшимся делом спасения эвакуированных сирот, где-то встречалось имя одиннадцатилетнего Лени Поклонского? Может, кто-то из вас запомнил светловолосого, голубоглазого мальчика, который попал в ваши края вместе с детдомом имени Воровского? Ведь дети тех лет, наверно, особо запомнились вам, воспитателям, тем более дети такого возраста, как Леня Поклонский, которые могли уже быть и помощниками.

Все годы, сколько я знаю ее, Надежда Ивановна Погорельская живет надеждой на встречу с сыном. Об этом все ее помыслы, все ее разговоры. Даже во сне не расстается она с образом своего мальчугана, которого в последний раз видела, когда ему было лет восемь. Страшные муки! Вот отчего Вы должны сделать все, что возможно, для розыска Лени Поклонского или хотя бы того, что с ним сталось.

Ваша комиссия, о которой мы прочитали в газете, стала теперь последней соломинкой для исстрадавшейся матери.

Не знаю, имею ли я право такое писать совсем не знакомым мне людям, и все же пишу: дорогие товарищи, от вас зависит человеческая жизнь. Спасите ее!

Потехина Ирина Валентиновна,
учительница школы № 503.

Третье письмо — из Донецка.

Уважаемые товарищи — члены комиссии!

Очень прошу Вас: помогите найти единственного сына женщине, которая когда-то, в трудное время стала для меня ласковой матерью, а теперь — что родная сестра,— Надежде Ивановне Погорельской.

С Надеждой Ивановной и сыном ее Леней Поклонским я познакомилась еще до войны. Случилось это так. В 1931 году, когда мне, Анастасии Федоровне Сердюк, было десять лет, моему брату Павлику — семь, а сестренке Марии — пять лет, мы осиротели — ни родителей, ни близкой родни. Все трое, голодные, бездомные, оборванные, бродили мы по Макеевке, выпрашивали милостыню. Спали где придется — то в подъезде, то в трущобах каких-то, а то и просто на улице. Как-то раз — зимой это было — забрели мы во двор, в одну, в другую дверь поскреблись — не отворяют. И вдруг откуда-то сбоку, где мы и не думали, чтоб быть могло жилье человеческое, появляется женщина. Молодая, красивая, глаза, как незабудки, голубые, только очень, совсем уж худая. И одежда на ней — нашей не лучше. Уставились мы на нее, привычных слов выговорить не можем. А она поглядела на нас, озябших, от голода ссохшихся, и ласково так стала выспрашивать: кто такие, где живем, чего ищем в их доме. Я как старшая все рассказала, а под конец по привычке заклянчила: подайте, тетенька, Христа ради!.. Тут и младшие свое затянули. Дрогнуло что-то в ее добром лице. Сгребла она нас и всех троих за собой потащила. Комната, где жила эта женщина, когда-то, должно быть, летней кухней служила. Плита, большая кровать, столик под заклеенным газетами оконцем. На кровати, укутанный в драное одеяльце,— малыш годовалый. А главное, что нас поразило тогда,— иней по стенам. Ближе к плите он потаял, чуть подальше — ручейками струится, а над окном, вокруг дверей — снежное кружево. Теснота в этой комнате такая была — едва разместились. Покормила нас добрая женщина, стала я малышей своих тормошить: пора, мол, пошли! А она говорит:«Куда вам идти? Оставайтесь! Вместе до лучших времен будем жить». Так и остались мы с тетей Надей и с Леней — сыном ее.

Работала тогда Надежда Ивановна откатчицей на какой-то шахте в Макеевке. На рассвете уйдет, до самого вечера нету. Как вернется, хватаем мешок да ведро и с нею вдвоем к площадке, где уголь грузят в вагоны, крадемся. Наберем и обратно. Нам, недавним бродягам, жизнь такая чуть не сказкой волшебной казалась. Проснемся бывало,

увидим, за ночь иней на целый палец нарос — давай забавляться. И никак не поймем, отчего тревожится, ахает наша общая мама — а маме-то и самой едва двадцать стукнуло!

Сколько прожили мы у Надежды Ивановны, точно сказать не могу — всю зиму, наверно. Помню, несколько раз она в гороно нас водила, что-то там говорила, доказывала и, раздосадованная, вела всех обратно. Потом уж узнала: метрики, справки на нас требовали там у Надежды Ивановны, а какие ж у нас, беспризорных, справки да метрики! И все ж добилась-таки своего Надежда Ивановна — определила нас в детский дом, сама отвезла нас в Харцызск, где этот дом находился. Меня и Павлушу взяли в старшую группу, которую после перевели в Нижнюю Крынку. Марию отделили от нас, направили в другой дошкольный детдом. Отделили навечно. Больше я ее никогда не видала. Брат мой Павел Сердюк — погиб за Родину в самом конце войны, пал смертью храбрых, освобождая Венгрию.

С Надеждой Ивановной мы разыскали друг друга уже после войны, поддерживаем постоянную связь.

Тогда, десятилетней девчонкой, я мало понимала, конечно, что стоило ей, самой из девичьего возраста едва-едва вышедшей, с трудом концы с концами сводившей, со слабым, болезненным младенцем на руках,— что стоило ей держать при себе еще трех ребят, какая щедрость душевная и доброта человеческая лежала за этим. Теперь понимаю. И если тогда она была мне как мать, то теперь для меня Надежда Ивановна — родная сестра. Пока я жива, я не оставлю ее никогда. Вот эта любовь, эта вечная благодарность и надоумили меня написать Вам письмо.

Определив нас в детдом, Надежда Ивановна часто к нам приезжала, привозила гостинцы, расспрашивала как нам живется. А сама все больше спадала с лица, худела, ссыхалась. Видно, очень уж тяжко ей доставалось. После войны я узнала, что в 35-м году, не видя выхода из своего положения, она устроила Леню как ребенка-подкидыша, которого вроде б подобрала на улице, в Зуевский детский дом, рядом с нами, а сама переехала жить в Ростов.

В следующий раз свиделись мы уже в 45-м, когда Надежда Ивановна после фронта приехала разыскивать сына. Но след его затерялся.

Как мать я хорошо понимаю, какое горе несет в себе Надежда Ивановна, и мучаюсь вместе с ней. Очень прошу вас, товарищи, помочь нам в розыске Лени Поклонского. На вас теперь все наши упования.

Ковалевская Анастасия Федоровна.

Из трех этих писем, пришедших одно за другим, еще разумеется, контурно, лишь в общих чертах, прорисовывался образ доброй, отзывчивой женщины с загадочной тяжкой судьбой, образ страдающей матери, на горе которой нельзя не откликнуться. Но в то же время, в противовес этим чувствам, возникло другое, и волей-неволей встали вопросы: какие же это такие особые обстоятельства заставили

мать отправить родного ребенка в детдом, назвавшись сердобольной прохожей, случайно на улице подобравшей его? И могут ли быть вообще обстоятельства, пусть самые страшные, которые бы оправдали собой такой нематеринский поступок? И опять, в голове не укладывается: как могла эта женщина, столь добрая, столь сострадательная к детям чужим, как могла она обернуться бессердечно-жестокой по отношению к собственному ребенку? Как связать это вместе? Раздвоение какое-то. Будто первый поступок совершен каким-то одним человеком, второй — кем-то иным, абсолютно несхожим. Но оба поступка — и тот и другой — факты одной биографии. А что убедительней факта?

Мой давний знакомый — коллекционер афоризмов (есть, как видите, и такая разновндность собирательства — разновидность, наверно, не самая худшая) — как-то продемонстрировал мне не без гордости два образца, обнаруженных им при книжных раскопках. Оба звучали, бесспорно, одинаково мудро, и в то же время они кричаще противоречили друг другу, были по смыслу полярны, несовместимы. Чеканная формула первого — «Мудро как факт»— принадлежала Бальзаку. Под другим афоризмом —«Глупо как факт»— стоит имя великого мастера парадоксов Анатоля Франса. Оба, как говорится, авторитеты непререкаемые. Кому ж из них верить?

Полагаю, обоим.

На самом деле, в чем очевидней, убедительней, глубже, нежели в факте человеческого поступка и слова, вскрываются внутренняя сущность индивида, его истинные помыслы, обнаруживается природа его не показных, а подлинных чувств, в чем еще с такой достоверностью выявляется душевная субстанция каждой «вещи в себе»? В этом смысле мудрость факта неоспорима и универсальна — да, универсальна, поскольку является средством познания душевной природы не только отдельной человеческой личности, но открывает пути к познанию сущности целых социальных структур и государственных систем, дает возможность проникнуть в душу событий общественной жизни, в глубокие недра глобальных процессов. Восславим же высокую мудрость факта!

Но разве не приходилось вам замечать, что схожие факты, одни и те же слова и поступки бывают порой результатом принципиально различных, а порой, по сути своей, даже противоположных побуждений и чувств? Вы ждете примеров? Пожалуйста.

Факт: человек — отнюдь не преступник и в здравом уме — убивает старуху. Убивает старуху-графиню Германн — главное действующее лицо пушкинской «Пиковой дамы». Убивает старуху-процентщицу Раскольников — герой романа Ф. Достоевского «Преступление и наказание». Убийцей собственной матери — глубокой старухи становится Яков Лукич Островнов — персонаж романа М. Шолохова «Поднятая целина». Лишает жизни свою старую мать Анна Предайль — героиня одноименной повести современного французского писателя Анри Труайя. При всем различии способов, какими совершаются все эти убийства, факт остается одним и тем же: человек —отнюдь не преступник и в здравом уме — убивает старуху.

Но ограничиться фактом как таковым, рассматривать его самоценно — заранее и неизбежно обречь себя на полное непонимание того, что он значит и что выражает. Потому что мотивы, по которым совершались эти убийства, идейные, нравственные и психологические побуждения, что привели вполне здравомыслящих героев к чудовищному преступлению, абсолютно несхожи, ничего между собой не имеют общего. Неукротимая, всепоглощающая страсть к богатству стоит за поступком Германна. Претензия на «сверхчеловечность своей личности — за преступлением Раскольникова. Животный страх оказаться разоблаченным во всех своих злодеяниях — за изуверством Якова Лукича Островнова. Извращенное понимание гуманизма и превышение своих человеческих прав — за самосудом Анны Предайль.

Так оно и выходит, что факт, взятый сам по себе, факт абсолютизированный, пользуясь формулой Франса, действительно глуп. Но в чем же тогда высшая мудрость? Наверное, в том, чтобы, всесторонне исследовав факт человеческого поступка, решения, слова, вскрыть мотивы, идеи и чувства, которыми он, этот факт, обусловлен, подготовлен, осуществлен. Так, по моему убеждению, примиряются, в конечном итоге не исключая, а дополняя друг друга, полярные точки зрения Бальзака и Франса.

Уберегая автора и читателей от поспешных односторонних суждений, они дадут нам возможность объективней и глубже понять характер поступков, чуть не полвека назад совершенных Надеждой Ивановной, пробудят в нас участие к безмерной трагедии матери, стремление помочь ей в трудных поисках пропавшего сына.

Первый вопрос, в который каждый раз упираешься, размышляя над этой судьбой: что заставило мать, сокрыв свое материнство, сдать ребенка в детдом как подкидыша, какими причинами объяснить, оправдать этот факт?

Письма Надежды Ивановны, горестные рассказы ее при нашей личной беседе помогли мне понять, что толкнуло несчастную женщину на этот поступок. И главное, мне открылось:жестокость этого поступка уже в тот черный день, когда он совершался, была жестокостью не только по отношению к сыну, но прежде всего — по отношению к самой себе, к матери. Но не хочу забегать вперед и упреждать оценки читателей. Я просто перескажу, что узнал. Право судить остается за вами.

Настенька Костылева была самым младшим, двенадцатым ребенком в бедной крестьянской семье. Она не помнила ни деревни Землянки, что затерялась в Донецкой степи, ни дома, где родилась. Уже повзрослев, со слов «мамы Поли» узнала, что она не родная: в 1913 году, когда девочке было два года, овдовевшая мать отдала ее в бездетную семью Шаповаловых, что жила в соседней деревне Ясиновке. Вскоре куда-то пропал «папа Степа», а когда через несколько лет возвратился, Настенька не признала его: был он худой, будто мохом заросший клочковатой седой бородой, заходился клокочущим кашлем, что ни день сгибался все ниже и ниже. Девочка слышала, как говорил он соседям про штыковые атаки, окопы с водой по колено, про немецкие газы, которые выедали глаза, рвотой утробу вывертыва-

ли. Часто рассказ его был про страшные муки, каких натерпелся от швабских надсмотрщиков, про лесоповалы на севере, где от непосильной работы, постоянного голода, от издевательств много осталось русских могил.

Девочке врезалось в память, как однажды «мама Поля» позвала ее со двора, приказала сурово:«Иди в дом. Отец перед смертью благословить тебя хочет». Было Насте тогда десять, наверно.

С тех пор все, что запомнилось девочке,— работа от зари до зари, попреки хлебом и солью, что ест она, дармоедка, костистые кулаки «мамы Поли». Чего только ни делала Настенька! Стирала-катала белье «мамы Поли» и то, что собирала она по соседям для приработка, полола огород, мела и мазала хату, сгибалась под коромыслом с тяжелыми ведрами, кормила домашнюю птицу, пасла за околицей скот. У «мамы Поли» свои заботы и хлопоты: свезти огурцы на базар, да пораньше других, чтоб копейку лишнюю выручить, продать корову яловую, пока про яловость ее еще соседям не стало известно, сбыть горластого петуха, от старости околевшего. Много забот у «мамы Поли»!

Под вечер, пока Настя еще на дворе, подобьет, подсчитает дневные доходы, припрячет в матрац или — для пущей надежности — в потайной карман, пришитый к спиднице, которую и на ночь не снимет. Потом, плотно поужинав в одиночку, кликнет в дом не то дочь, не то служанку свою безответную и, всегда недовольная, воркотней, бранью базарной, а зачастую и скалкой, попавшейся под руку, воздаст непутевой за все ее прегрешения, напомнит, чьей милости и долготерпению молиться той следует. Облегчив таким образом душу, «мама Поля» кряхтя опускалась на жалобно постанывавшие под ней половицы и долго, неистово отбивала поклоны перед почерневшим от времени образком, тускло мерцавшим в углу над лампадой. Но и после того покой и довольство не снисходили, видать, на душу Настиной благодетельницы — всю ночь ворочалась, тяжко вздыхала, сопела и хныкала «мама Поля», немотно кричала сквозь сон, вскакивала, к чему-то тревожно прислушиваясь.

Так, словно ночь без зари и рассвета, прошло Настино детство. Кончилась эта ночь неожиданно, и за нею без солнца и дня, наступила для Насти другая, со своей чернотой и кошмарами. Было тогда ей четырнадцать лет.

Как-то весной, только прошумела над степью гроза, «мама Поля» снарядила Настасью пасти поросенка. Вышла Настя с хворостиной на улицу, а тут девчонки-ровесницы вдоль веселых ручьев с криком носятся, друг за дружкой гоняются, озоруют. Весна! Зацепили Настасью, потянули к ручью: ты чего? Айда с нами! Поддалась, потянулась за всеми.

Сколько времени резвилась и бегала с соседскими девчатами, Настасья не знает — очень уж вольготно да радостно было! А когда, будто гром среди ясного неба, поразил ее зов «мамы Поли», было поздно: поросенок пропал. «Мама Поля» завела ее в хлев, ухватила стебель подсолнуха, толщиной с ту оглоблю, и давай, давай им охаживать онемевшую Настю.

— Ах ты сука поганая! Весь огород загубила!— ярилась все больше сердобольная «мама».— Не я, так к соседям ушел бы, считай пропала скотина!— и опять что есть силы по спине, по лицу.

Изловчившись, девчонка метнулась к дверям, выскользнула из хлева и бежать без оглядки, не видя дороги, только б подальше.

Избитая, голодная и продрогшая, всю ночь блуждала Настасья по голой степи. В виденьях, одно кошмарней другого, точно черные тучи по небу, плывет перед ней вся короткая, нескладная ее жизнь — труд с утра и до ночи, укоры, брань и побои. А вокруг, впереди — непроглядная тьма, ни огонька, ни дороги, ни души человеческой. Куда ж ей податься?

Вторая ночь в степи, под холодными звездами, показалась Настасье более страшной. Больше не было слез. Одиночество приводило в отчаяние. Девушка стала кричать, звать на помощь. В ответ — тишина.

И вдруг — может, ей померещилось, может, детские страхи — горящие волчьи зрачки.

С диким воплем Настя кинулась в сторону, понеслась по степи. Но не назад, не домой — дома у нее больше не было и не было больше «мамы»,— а вперед, вперед, сама не зная куда.

Так с четырнадцати лет стала Настя бездомной поденщицей — ходила из деревни в деревню по хатам, кому белье постирает, стены побелит, за скотиной присмотрит, где нянькой на время наймется, где водоносом. Только б с голоду не пропасть да крыша чтоб на ночь над головою была.

Однажды — в 27-м это было — привела Настасью степная дорога в родную деревню — в Землянки, что вблизи шахтерской Макеевки. Стала спрашивать, кому работница требуется. Присоветовал кто-то: иди, мол, к Поклонскому, не так давно мужик овдовел, хозяйство без женской руки позамшело. Пошла.

Хозяйство, как поглядела Настасья, и правда в грязи да развале, а сам мужик, хоть и молод еще — лет под тридцать, не больше,— да очень хмурый, неразговорчивый, строгий. Поначалу Настасье казалось — по Надежде-покойнице тоскует Григорий Семенович, потом присмотрелась, решила иначе: то ли от роду он такой, нелюдимый, душою насупленный, то ли тайная злоба засела в груди у него. Не разберешь. Да и на что, про себя рассудила Настасья, на что ей в хозяйскую душу заглядывать? Главное, не тиранит ее новый хозяин, не попрекает на каждом шагу, не талдычит, как это бывало у разных других: сделай то, сделай это,— сама себе Настя задает работу, сама перед собой отчет держит. А хозяин как с рассвета уйдет, так до ночи не жди. Где он ходит, какие дела у него — зачем про то работнице ведать? Ее дело служить да прислуживать.

Бывало, однако, хозяин возвращался домой еще засветло, а с ним какие-то люди. Сидят, самогон стаканами глушат, про что-то свое толкуют. Появится в горнице Настя — примолкнут, уйдет — опять разговор. Как-то, запомнилось Насте, вошла она в комнату, гость язык прикусил, а Григорий Семенович рукой это так: дескать, чего — не боись, куда девахе неграмотной, понять, про что у нас речь! И

вправду, не разумела Настасья, о чем там у них разговор, честно сказать, и не слушала.

Уж с полгода, наверно, прошло, весь дом, все хозяйство наладила Настя, когда как-то ночью Григорий Семенович ей говорит:

— Спать бы ложилась, Надежда. Поздно уже.

— Отчего это вы, Григорий Семенович, Надеждой меня величаете?— спросила Настасья.

— А так хозяйку мою бывшую звали. Теперь ты здесь хозяйка — вот и зову.

— Я не хозяйка.

— А хочешь?

Шестнадцатилетняя девушка, кроме печи в чужом доме, лохани со стиркой, огорода да хлева, ничего не видавшая, что могла ответить она? Правда, слыхала Настасья от подруг-одногодок про томленье любовное, сама в хороводе по милому тоску изливала, но так, чтоб и впрямь ей в сердце кто-то запал,— такого с ней еще не бывало.

Хозяин не стал дожидаться, пока Настасья ответ окончательный даст. С тех пор и зовут ее Надей, Надеждой. И в загсе, когда регистрировались, так записали: Надежда Ивановна Поклонская.

15 июля 1930 года она родила. Сына назвали Леней. Но, в общем, как была она в этом доме работницей, так и осталась. По-прежнему чужим и далеким, не мужем, а суровым хозяином был для нее Григорий Семенович. Куда уходил, чем весь день занимался, что за люди дружки его полуночные, так и не знала Надежда.

Когда сыну исполнилось девять месяцев, как-то ночью проснулась от громкого стука в ворота. Григорий открыл. В дом вернулся с двумя мужиками в милицейских шинелях. Молча собрался, кивнул на прощанье Надежде, ушел. Больше она никогда его не видала.

Через несколько дней явилась родня Григория Семеновича. С хозяйственной придирчивостью обошли, осмотрели и дом и подворье, заглянули в коровник, сказали:

— Григория нет, стало быть, и служанка больше не требуется. Сколько желаешь в расчет?

Расчет не потребовался: Надя без слов завернула ребенка, покинула дом. На улице остановилась в растерянности: куда же идти, в какую сторону ей податься?

Вскоре она робко стучалась в калитку своей старшей сестры. Но и здесь Надежда не задержалась надолго. Нет, ни сестра, ни муж ее не гнали Надежду из дома, не попрекали съеденным хлебом. И все же чуяло сердце Надежды — в тягость она, ждут не дождутся хозяева, чтоб ушла поскорей и сына забрала. Отчего нетерпение это, косые, беспокойные взгляды — это Надежда узнала потом. А тогда, повязав узелок, без документов, без денег ушла с годовалым ребенком в Макеевку. Сестра ее не удерживала.

Уж как она мыкалась там поначалу, о том и теперь припомнит — расплачется. Куда ни придет на работу устраиваться, услышат про мужа — отказ. Надоумили люди: на развод подавай. Развелась. А в документах все одно записали Анастасия Ивановна Костылева, с поражением в правах. Кто такую взять на службу решится? И все же

иашелся такой человек — оформил откатчицей иа шахту нмеии Орджоникидзе.

После первой получки подыскала Надежда в каком-то дворе, от шахты поблизости, летнюю кухоиьку, что видио, давио уж без дела стояла, договорилась с хозяйкой за сходиую цену. В этой кухне н зимовала с мальчоикой. Потом, в январскую стужу, жильцов попрнбавилось — забрала к себе трех сирот беспризориых — Аиастасию, Павлика н Марию Сердюк, что по дворам побирались. Считала, иеделю-другую побудут, устроит в детдом. Пробыли всю зиму.

Как решилась она, в ту пору сама та же иищенка, еще тронх малолетиих кормить да поить? А что оставалось? Захлопиуть дверь перед иими: ие свои, ие родня, зиачит, пусть пропадают?! Нет, этого сделать оиа ие могла, сердце ие позволяло.

К весие стало легче — после долгих хождеиий, уговоров и слез удалось-таки Наде определить детвору в детский дом, Леию пристроить в детсад при шахте. Впервые, кажется, жизнь улыбиулась Надежде. Оиа уже стала мечтать, что запишется иа вечерние курсы, как и все в те далекие годы, будет учиться, получит специальность. Будущее рисовалось ей в радужиых красках.

Но вскоре краски померкли. В декабре 34-го года кто-то вспомиил, что Анастасия Костылева, хоть оиа и в разводе, а все ж когда-то была жеиою преступиика. Кто-то бросил в лицо, что доверять ей нельзя, мол, от таких, как оиа, все беды н сыплются. Одна из соседок — по чериой лн злобе, из дурости ль сплетннчьей — шепиула ей по секрету: «Сына б припрятала!» Ходит слух, будто таких, как оиа, прав материиских лишают, а детей их — по казенным домам по особым.

Деревеиская девушка, забитая, почти что безграмотиая, Надежда ие в силах была разобраться во всех этих толках. Кошмары обступили ее, ледяиыми клешиями стесиили ей грудь. По иочам она просыпалась от собствеииого отчаяииого крика, тревожно прислушивалась к зауиывиому стоиу проржавелых ворот, судорожно, с бешеио колотящимся сердцем прижимала к себе безмятежио спящего сына. Лншат материнства, отнимут, оторвут иавсегда!.. Нет-иет, оиа никому не отдаст своего иеиаглядного, свою кровиику родную! Леня, сыиок — это все, что в жизни есть у иее!..

Под тяжестью иесуществующей вины, угиетеииая тайной, которую постояиио иосила в себе, Надежда и раньше стороиилась людей, жила одиноко, без друзей н подруг. Теперь, когда тайиа открылась, оиа и вовсе замкнулась в себе, оиемела, отстраиилась от всех, ходила, не смея взглянуть человеку в глаза.

Наверио, будь в ту пору у Нади подруга, которой бы можно открыться во всем, сроднись оиа с коллективом, в котором работала, воображаемые страхи ее, кошмары, виушеииые ей злоязычиым мещаиством, рассеялись бы как дуриой, болезиеииый сои, и жизиь Надежды Иваиовны пошла бы совсем по-другому. Но подруги такой не было тогда у иее. И к людям, ей казалось чужим, нести свою боль оиа ие решилась. А боль, а предчувствне неотвратимо иадвигающегося гибельиого часа все росло и росло, порой затмевая рассудок. В одну

из таких вот минут она и решила: в Землянки, к родне, там, у старшей сестры, и припрятать сынишку. Никто не найдет, не узнает.

От сестры, от мужа ее Надежда не стала таиться — волнуясь и плача обо всех своих страхах поведала. Родное сердце отзывчиво: сестра и муж ее испугались еще больше самой незваной пришелицы, до того испугались, что на следующий день, когда Надежда с сестрой остались вдвоем, та, потупив глаза, и призналась:

— Голубушка, Настя, уж ты не серчай — лучше б другое место покудова себе подыскала... Мой все тревожится, как бы за то, что племянничка у себя приютим, и с ним, как с Григорием, не было... Нам и самим тебя жалко, да разве тебе оттого полегчает, коль и нас за собою в болото потащишь?.. Может, одежка какая для Лени нужна или с деньгами плохо, так ты не стесняйся — скажи...

Ни одежки, ни денег она не взяла — отказалась. В тот же день вернулась в Макеевку. Не спала до рассвета — снова мерещились ей шаги во дворе, металась и плакала. И вдруг — будто звезда в кромешной тьме небосвода — вспыхнула в ее распаленном мозгу ослепительно ясная спасительная мысль.

Каждый месяц, урвав от себя какие-то крохи, она покупала гостинцы и с ними ехала к Насте, к Павлику, к Маше, которых три года назад сама определила в детдом. Ребята с тех пор повзрослели, одеты-обуты, занимаются в школе. Сколько раз навещала, всегда веселые, довольные, сытые. Поглядишь — ни за что в них сирот не признаешь — дети как дети, будто и у них, как у всех, есть и папа и мама.

Сдать в детдом! Да, в детдом! Вот в чем спасение! Но после долгих хождений по устройству троих беспризорных Надежда запомнила твердо: при живых родителях, даже одном из них, ребенка в детдом не принимают. А если во спасение сына схитрить — сказать, что матери нет у него, что, так же как и тех троих — Настю, Павлика, Машу,— она и этого подобрала просто на улице? Сирота беспризорный. Проезжая актриса какая-то бросила. Поди докажи, что не так: у нее в документах стоит Костылева, у мальчика — Леня Поклонский. Чужие. И никто не узнает тогда, кем был отец у него, какую тайну несет в себе мать. А она — она уйдет в другой город, где никто про нее ничего не знает, на работу устроится, будет учиться. Пройдет время — про нее позабудут. Вот тут, уже имея специальность, она и объявится — мать. Заберет из детдома сынишку, и опять заживут они вместе, заживут спокойно и счастливо...

Первое время, оставшись в глухом одиночестве, Надежда не находила себе места, втихомолку роняла слезы, а порой уже и раскаивалась в том, что содеяла. Пять дней, чем бы ни были эти дни заполнены, она томилась ожиданием. На шестой, чуть забрезжит рассвет, кидалась на станцию, рабочим поездом доезжала до остановки Харцызск, а там уже то пешком, то попутной подводой добиралась до Зуевки.

Сад, в котором стоял детский дом, был обнесен высоким забором. В этом заборе Надя знала уже каждую щель. Притаившись, часами глядела она сквозь ту, что поближе к игральной площадке, ждала, когда выведут туда Ленину группу. И как бывало вдруг заколотится, сладко замрет материнское сердце, только увидит Надежда своего

малыша. Как тянет ее окликнуть сынишку, обнять, приласкать. Но, пересилив себя, Надежда молчит — нельзя: от неожиданности, увидев ее, Леня, конечно же, вскрикнет —«Мамочка! Мама!»— бросится к ней, и тотчас вся хитрость ее обнаружится. И Надя молчит. Только губы ее шевелятся беззвучно.

Но раз, когда воспитательница повела детвору на прогулку в недалекий лесок, Надежда не вытерпела, подкралась, улучив момент, тихо позвала сынишку из-за кустов, а когда он приблизился — удивленный, не видя того, кто явственно так назвал его имя,— быстрым движением потянула его в укрытие, лицом, чтоб не вскрикнул, прижала к груди.

Они оставались вдвоем больше часу. Надя лежала в траве, не сводила слезящихся глаз с заметно подросшего за несколько месяцев сына. А Леня, по-детски быстро приняв появление матери как нечто естественное, долгих восторгов не стоящее, ползал рядом, усердно охотясь за пестрокрылыми божьими коровками. При этом — на многие годы запомнилось Наде — он снова и снова повторял какой-то короткий стишок про одуванчик.

Воспитательница сзывала детей. Настала пора расставаться. Надя прижала сынишку к себе, горько расплакалась.

— Не нужно, мама, не нужно!— утешал ее Леня.— Я буду хороший. Я всегда — вот увидишь,— всегда буду тебя слушаться.

— Главное, сынок мой, фамилии своей не забудь.

— А почему я забуду? Я помню: Полонский.

— Нет-нет, не Полонский — Поклонский. Ну, повтори: Поклонский, Поклонский.

«К» не давалось ребенку. Как ни старался, получалось все то же: Полонский.

— Ну, беги!— заторопилась Надежда.— И о том, что мама к тебе приходила,— ни слова. Ты слышишь — ни слова! Запомнил?

— Запомнил, мама, запомнил. А почему?

— Так нужно, сынок. Ты маленький, ты не поймешь. А потом я приду за тобой, заберу, и мы опять будем вместе. Ты потерпи, мой хороший, это скоро, совсем уже скоро...

Еще несколько раз Надежда приезжала к детдому, из-за забора видела сына. Леня больше не видал ее никогда.

Вскоре, как и было задумано, Надежда перебралась в Ростов. Шло время, и мечты начинали сбываться: она была на хорошем счету сначала в кузнечно-прессовом, затем в электроцехе Ростсельмаша, в 41-м году закончила третий курс заводского рабфака.

22 июня, переломившее жизнь народа, переломило жизнь и Надежды Ивановны.

Несколько дней, желая добраться до сына, она провела на ростовском вокзале. Поезда уходили с воинскими частями и техникой. Она оставалась на затемненном перроне.

Так продолжалось до той страшной ночи, когда на ростовский вокзал прибыл первый эшелон с тяжелоранеными.

Сперва, приткнувшись за дверью, Надежда молча, со страхом в глазах наблюдала, как девушки-санитарки снимали со ступенек ваго-

на, на носилках несли через зал перебинтованных, закованных в гипс мужчин с перекошенными от боли, давно не бритыми лицами. Затем — она и сама не приметила, как это случилось,— подошла, отстранила пошатнувшуюся от непосильной тяжести хрупкую девушку, ухватилась за ручки носилок. Уже рассвело, когда Надя вместе с рослой рябой санитаркой вела через зал последнего пассажира с этого кровью пропитанного, казалось, тяжко вздыхавшего поезда.

Эта ночь была поворотной в судьбе Надежды Ивановны. Еще накануне начальник электроцеха, несмотря на горячие просьбы, не соглашался ее отпускать, отговаривал от поездки в родные места:

— Какая нужда? Война далеко. До Донбасса немцев не пустят. А за сына не бойся — советская власть о детях в первую голову думает, без внимания не бросит. Так что кинь свои страхи, работать иди. Завод наш теперь — тот же фронт.

Так говорил он вчера. Сегодня, когда поутру Надежда пришла к нему снова, ответил иначе:

— Ну, что ж, Надюша, может, ты и права. Коль решила, перечить не стану. Наверно, и правда, там ты нужней.

Прямо с завода Надежда пошла на улицу Энгельса и с этого часа стала санитаркой эвакогоспиталя № 623. Через несколько дней, одетая уже в гимнастерку, перетянутая широким ремнем, она принимала присягу. Верность этой торжественной клятве она пронесла через всю войну, через всю свою жизнь.

Подчиненная жесткой воинской дисциплине, день и ночь занятая уходом за ранеными бойцами, Надя уже и помышлять не могла о поездке в Донбасс. Она лишь с тревогой, с нарастающим страхом следила за тем, как фронт приближался к Зуевке, и в короткие часы, выпадавшие на сон и на отдых, ей мерещились картины пожаров, стрельбы и бомбежек, детские стоны и плач. Она гнала от себя эти видения, с надеждой и верой припоминала слова своего бывшего заводского начальства:«За сына не бойся — советская власть о детях в первую голову думает, врагу не оставит».

Читатель знает уже, как оправдались эти слова, как по заданию Харцызского районного комитета партии коммунист С. Г. Гайворонский вместе с сотрудниками Зуевского и Нижнекрынского детских домов — Елизаветой Максимовной Серафимовой, Андреем Мироновичем Говоровым, Екатериной Ильиничной Гавриловой и другими буквально из-под огня эвакуировал воспитанников этих домов в глубокий тыл, как, не раз подвергаясь налетам вражеской авиации, добрались они до Ташкента и Папа,— об этом, если вы помните, было подробно рассказано в первой части повествования. Но Надежда Ивановна обо всем этом узнала лишь после войны. А тогда, в конце 41-го, когда из сводок Советского информбюро услыхала, что наши войска оставили Сталино, Ясиноватую, Макеевку,— нет, не слегла и не лишилась рассудка — продолжала ходить за ранеными и выполнять приказы начальства, разгружать эшелоны и есть в госпитальной столовой, но все, что делала она в эти дни, делала будто заведенная, все, что происходило вокруг,— происходило, похоже, в густом, разъедавшем глаза, косматом дыму.

Через неделю-другую эвакогоспнталь, в котором работала Надя, превратнлся в полевой подвнжной госпнталь — фронт прнближался к Ростову. Затем прншлось поспешно, уже под грохот артнллерийского обстрела н барабанную дробь пулеметов, переноснть и укладывать раненых в грузовнкн и телегн, впопыхах собнрать меднцннское оборудованне, ннструменты, лекарства. Госпиталь уходнл иа юго-восток.

Наступнл 1942-й. Теперь уже госпиталь постоянно находился в несколькнх кнлометрах от фронта. Тяжелая бомбежка в селеини Ольгнно. Бомбы рвалнсь рядом со школой, в которой тогда вместо ученическнх парт стоялн кроватн. Вдребезгн разлеталнсь окоиные стекла. Ломаные лиинии насквозь пропороли кирпичные стены. Все смешалось, вздыбнлось, замельтешило в глазах санитаркн. Какая-то неодолимая виутренняя снла толкнула ее к запорошенной дверн. В последннй мнг зацепнлась лнхорадочным взглядом за обескровленное, с выражением полной беспомощиостн лицо молодого солдата, которому только вчера ампутнровалн левую иогу. Он пытался подняться, сползтн с высокой кроватн. Но это — как нож, полосиуло Надежду,— это конец! Откроется рана, тогда не спастн!.. Неимоверным уснлнем волн она подавнла колотнвшую ее зиобкую дрожь, метнулась к кроватн, грудью прнпала к нскаженному страшной грнмасой лицу молодого солдата.

— Потерпн, родиой, потерпн... Это недолго... Сейчас улетят...— невнятно бормотала она, сама сотрясаясь всем телом.— Для тебя теперь главное — полиый покой...

В Армавнре бомбежка накрыла ее в тот момеит, когда, подменяя сестру, она прнслужнвала хнрургу прн операцнн. Прнмер хладнокровня, выдержкн, мужества в такие минуты отрезвляет снльиее всего. Хнрург, уже не молодой человек, только поднял глаза, строгнм взглядом окинул Надежду, прн блнзком разрыве фугаскн рванувшую с лнца марлевую повязку, н Надя тотчас взяла себя в рукн, поправила марлю, стала прнслужнвать еще с большнм стараинем. Крепче, уверенней ощутнлн себя н все остальные, кто иаходился тогда в операцноиной палатке, над которой надрывио внзжали пнкнрующне бомбарднровщнки, вздымалась земля, клубнлнсь чериые тучи.

Под натиском фашнстскнх днвнзнй армня отступала в Кавказские горы.

Уже несколько суток, без сна н почтн без прнвалов, вместе с другнми частями госпнталь шел к перевалу. Все уже н круче становнлась тропа. Слева — отвесные скалы, справа — бездоиная пропасть, заполненная молочным туманом. Глухое безмолвне гор. Только сорвавшнйся камень, посвист ветра в ущелье да клекот иеведомой птнцы векамн тревожилн этот покой. Сейчас он нарушеи скрнпом колес и прнглушенным говором, хрустом н шорохом солдатскнх сапог, надсадиым, с захлебом урчаньем моторов.

Прнказом иачальства за Надей закреплен госпитальный ниструмеит. Уложенный в ящики, ои двнжется в бричке, которой правнт не очень нскусный возиица-сержант, уже нз ходячнх, хотя еще и в бнитах. Там же, в бричке,— вещмешок саиитарки, а в ием документ на нмя Аиастасни Иваиовиы Костылевой н еднистваеиная веществен-

ная память о сыне — фотокарточка, где Лене всего десять месяцев. Санитарка, несмотря на усталость, плетется за бричкой пешком — как-никак, а коню все легче на крутом каменистом подъеме. А подъему, похоже, не будет конца.

Но нет: передние по цепи передали — перевал уже близко, а за ним через лес, по словам командира,— дорога в долину, к хутору Шаумяна, где их ждет горячий обед и долгий привал.

К полудню передние части уже добрались до перевала. Обогнув горный выступ, Надя сама его увидала. Подъем продолжался.

И вдруг, когда до этого заветного перевала оставалось каких-нибудь двести метров, горы наполнились гулом. Сперва глухим, отдаленным, но постепенно все более явственным, близким и грозным. Его распознали все сразу — немецкие бомбардировщики!

Загрохотали, содрогнулись угрюмые скалы, будто кровью горячей, брызнули камнепадами. А люди продолжали идти — людям некуда было укрыться: слева — отвесные гранитные стены, справа — бездонная пропасть. Путь оставался один — вперед, к перевалу! И люди шли — задыхаясь и падая, держась за подводы и вместе с ними срываясь в ущелье.

Перевал, куда через силу, на последнем дыхании добралась Надежда,— как лобное место, как мишень для фашистских пилотов. Они изрядно уже перепахали его — то воронка, то завал из камней и щебенки, а вокруг — и в аду не увидишь такого — трупы солдат, побитые кони, колеса и дышла, поклажа с разнесенных бричек. Но не глядеть, не останавливаться — бежать и бежать! И Надя бежала, ни на шаг не отставая от скачущей перед ней перекошенной брички уже без возницы.

Она успела перебежать это лобное место. Успела заметить близкий лесок и озаренную солнцем долину. И сразу, будто клинком отсекли, с лязгом ударилось оземь раскаленное солнце и все зачернила беспроглядная ночь.

Ночь была долгой. Только раз, сквозь тьму и дремоту до нее донеслось:

— Ой, господи, да это же наша Надюша!

После тяжелой операции она несколько месяцев пролежала на госпитальной койке в Боржоми. Вернулось сознание, и вместе с ним явилась едкая горечь: ей казалось,что с утерей единственной фотографии сына, которую она постоянно возила с собой в вещмешке, теперь для нее навсегда утрачена возможность найти и его самого. Никто не мог ее успокоить, утешить — своим тяжким горем она не делилась ни с кем.

Зиму 1942—43 года Надежда Ивановна служила в Ленинакане. Затем — 42-я авиабаза Черноморского флота. Майкоп, Геленджик, Одесса, Румыния. В феврале 45-го — вторая операция по извлечению осколков из легкого. 15 марта инвалид второй группы Надежда Ивановна, к этому времени уже Погорельская — жена фронтовика-офицера,— демобилизована.

С этого самого дня и начинаются розыски сына — розыски, которые длятся поныне.

В 1946 году Надежда Ивановна едет в Харцызск, где ей сообщают,

что Зуевский детский дом в октябре 41-го был эвакуирован куда-то в Среднюю Азию. Она устремляется в Ташкент, потом в Самарканд и, наконец, обнаруживает следы Зуевского детдома в селении Пап под Наманганом. Но обнаруживает уже только следы: большинство воспитателей к этому времени вернулось на родину, воспитанники, уже повзрослевшие, покинули детский дом, разъехались, разлетелись. Вместе с новым директором Папского детского дома Надежда Ивановна просматривает списки ребят, в 41-м году прибывших из Зуевки и Нижней Крынки, но нет в этих списках имени Лени Поклонского.

Из Намангана Надежда Ивановна опять отправляется в Донецк, Харцызск и Зуевку, где когда-то оставила сына, где в последний раз видала его. Все напрасно. Следов никаких, никто не знает, не помнит. Исчез, пропал без вести.

Обосновавшись с мужем в Подмосковной Щербинке, она обращается с просьбой о розыске сына в Министерство внутренних дел, посылает запросы в Общество Красного Креста и Красного Полумесяца, в радиопрограмму «Найти человека». Результат все тот же — в списках не значится, сведений нет.

ОТДЕЛ ПИСЕМ

внутрисоюзного вещания

№ 11924/30 *8 апреля 1968 г.*

Уважаемая Надежда Ивановна!

В Бюллетене розыска родных 29 февраля сего года по радиопрограмме «Маяк» было передано Ваше письмо о розыске сына — Лени Поклонского. Откликов на эту передачу пока не поступило. Если они будут, мы Вас незамедлительно поставим в известность.

С уважением *Редактор Т. Яковлева.*

С 1970 года, после получения трех писем, приведенных мною в начале этой главы, в розыск Лени Поклонского с горячей, я бы сказал — материнской, заинтересованностью включилась комиссия женщин-общественниц — бывших сотрудниц Наркомпроса Узбекистана. Они тщательно, один за другим пересмотрели списки воспитанников детских домов, находившихся, прибывших и вновь организованных в республике в годы войны. Ценой нелегких и длительных поисков им удалось установить место жительства тех, кто некогда работал и воспитывался в Зуевском и Нижнекрынском, а по эвакуации — в Папском детдоме. Используя любую возможность — газетную статью и выступление по телевидению, переписку и личные беседы с людьми, причастными к узбекистанской эпопее спасения эвакуированных си-

рот,— они, хоть вскользь, хоть несколькими словами, упоминали о Лене Поклонском в надежде, что если не сам, то, может быть, отзовется кто-то другой — из бывших его однокашников, из тех, кто помнит его, кто с ним когда-то встречался или просто слыхал о таком,— отзовется, что-то подскажет, даст в руки какую-то новую нить. И многие действительно откликнулись на этот призыв. Множеством писем и телефонных звонков от бывших сотрудников и воспитанников узбекистанских детских домов, а порой и от людей, лично никак не связанных с историей, ставшей предметом моего повествования, но просто чутких, с сочувственным сердцем людей отозвалось на публикацию первой части этой документальной книги. Совершив путь в несколько тысяч километров, специально приехала из Зуевки в Ташкент бывшая воспитательница детского дома, куда в 1935 году был сдан Леня Поклонский, уже пожилая женщина Елизавета Максимовна Серафимова.

Что же дали в конечном итоге эти совместные усилия, чем пополнили наши сведения о его окутанной тайной судьбе?

Осенью 1972 года Надежда Ивановна снова, в который уж раз, выезжает в Донецкую область. Но теперь, благодаря стараниям комиссии ташкентских женщин-общественниц в руках у нее фамилии и точные адреса нескольких бывших сотрудников и воспитанников Зуевско-Папского детского дома. Она встречается в Иловайске с Антониной Матвеевной — вдовой Степана Григорьевича Гайворонского, руководившего эвакуацией детей в 41-м году и первое время, до мобилизации в Красную Армию, бывшего директором Папского детского дома. Она навещает в Шахтерске Максима Ивановича Меда, беседует в Зуевке с Александрой Павловной Пидошвой и Елизаветой Максимовной Серафимовой — воспитательницами, сопровождавшими Зуевский детский дом в Пап и работавшими там до возвращения в родные места весной 1944 года. Она выслушивает подробный рассказ Зины Соловьевой (ныне Мурашко) — удочеренной Гайворонскими, бывшей воспитанницы этого детского дома.

Первый вопрос, который естественно возникает при розыске: был ли Леня Поклонский в Папском детдоме?

В беседе с Надеждой Ивановной М. И. Мед отвечает на него без колебаний:«Был. Хорошо его помню». При этом он достаточно точно описывает матери наружность мальчика, овал лица, цвет его глаз и под конец заявляет решительно:«Ищите. Он жив».

О том же говорит и А. П. Пидошва — воспитательница, в чьей группе по возрасту должен был находиться Леня Поклонский. Она утверждает: был такой в Папе. Она и сейчас очень ясно его себе представляет: голубоглазый, светловолосый, с удлиненным лицом и заостренным носиком, такой подвижный, непоседливый хлопчик, еще какие-то буквы, помнит она, не выговаривал.

Но слова М. И. Меда и А. П. Пидошвы не подтверждаются ни хранящимися в наманганском архиве списками детского дома, в декабре 41-го года прибывшего в селение Пап, ни свидетельствами супругов Гайворонских, Е. М. Серафимовой, Е. М. Гавриловой, А. М. Го-

ворова, поныне живущей в Намангане Л. И. Лукьяновой. На том же стоят и бывшие воспитанники зуевско-папского детского дома.

Сергей Иванович Ломакин из города Дзержинска, Донецкой области:

— Пишет вам бывший воспитанник Зуевского детского дома имени Воровского, который в годы войны находился в Папе... На ваш вопрос о Лене Поклонском не берусь утверждать категорически — такого у нас не было, но лично я его не помню. Не припомнит такого и Саша Синявский, хотя, как и тот, кого вы разыскиваете, поступил в наш детдом в 35-м году. Могу посоветовать вам разыскать там в Ташкенте еще одного нашего воспитанника — Николая Киселева. Он художник, работает в Институте ирригации, что на Дархане. Он многое помнит и, если правда был в нашем детдоме этот Леня Поклонский,— скажет вам точно. Прошлый год я был у него и видел картину (еще не оконченную) про то, как узбекские люди на вокзале встречают наш эшелон. Конечно, в картине всего не передашь, но все же представление о том, как это было, ощущение тяжкого горя и вместе душевной радости встречи картина дает. Я сказал Николаю: должен закончить! Этой картиной мы все как бы скажем, что сколько лет ни прошло, а мы помним их доброту, их сердечность, заботу о нас, помним и, чем старше становимся, тем больше мы понимаем, чем обязаны этим людям и всей Узбекской республике. Пусть, мол, картина твоя, говорю, будет как бы от всех нас спасибо за то, что они тогда для нас сделали. Найдите его обязательно.

Николай Алексеевич Киселев:

— Про картину чего говорить — вот закончу — тогда. А в общем, как Сергей написал вам о ней, так и есть оно, в замысле... Леня Поклонский? Нет, не припомню такого. Может, не было в нашем детдоме, а может, по имени-то не представляю, а в глаза бы увидел — признал. По возрасту ведь мы в разных группах должны: он, сказали сейчас, с 30-го года, я — с 34-го. Александре, сестре моей, напишите, она постарше была — 32-го. Если и вправду он был в нашем доме, она-то, наверное, помнит.

Но не помнят, ничего не могут сказать о Лене Поклонском ни Александра Алексеевна Мирошникова — медсестра, живущая теперь в Волгограде, ни инженер из Чирчика Розалия Дмитриевна Тарышняк, ни только недавно вернувшаяся в родные края Зоя Николаевна Медведева, ни Матрена Стрельбицкая (ныне по мужу Федорова), Екатерина Терентьевна Милицина, Любовь Николаевна Суркова, которые породнились с узбекской землей, с Наманганом и Папом уже на всю свою жизнь.

Показания такого количества беспристрастных свидетелей внушают единственный вывод: не было Лени Поклонского в Папском детдоме. Но чем же тогда объяснить, что М. Мед и А. Пидошва утверждают обратное? Смещением воспоминаний во времени? Облик мальчика запомнился им еще по довоенной Зуевке, а память, по ошибке конеч-

но, привязала его к годам пребывания в Папе? Что ж, бывает такое, случается, тем более, когда между фактом и воспоминанием о нем пролегла полоса в тридцать лет. Но, может быть, есть другие, какие-то более сложные объяснения недостоверным показаниям обоих свидетелей? К примеру, такое: сочувствуя матери, хотели утешить, обнадежить ее? Как говорится, ложь во спасение, из благих намерений. Но разве при этом не понимали они, что недостоверные сведения, пусть даже самыми добрыми побуждениями продиктованные, затрудняют, дезориентируют розыск, направляют его по ложному следу, в тупик?

Если, поверив архивным бумагам, показаниям большинства бывших воспитателей и воспитанников зуевско-папского детского дома, считать, что в Папе Лени Поклонского не было, то первый вопрос, который возникает естественно: а эвакуировался ли он в 41-м с детдомом вообще или, возможно, по каким-то неясным причинам остался тогда в оккупации?

В одну из поездок в Донбасс Надежда Ивановна разыскала бывшую сотрудницу Зуевского детдома Евдокию Кирилловну Цимбалист. Сама по ряду сложных обстоятельств остававшаяся в Донбассе, она была на вокзале, когда пришли туда к эшелону воспитанники Зуевского и младшие группы Нижнекрынского детских домов. Цимбалист вспоминала:

— *Чи знала токого? А як же ж! Скільки разов до кухни вин бигав: тетю, оладушек дай! Сироти не видмовыш — давала... В той день — памятаю неначе вчора це было,— прийшлы воны вси до Харцызьську. Малых на пидводах везлы, хто побильше — пишком. Леня був серед пеших. Чому так рахую? Тому що стояв вин босой — мабуть, ногы пошкодыв,— а ботынки шнурками звязав — один на груди, другый через плече перекынув. Так и пишов вин у тую теплушку.*

Тридцать лет спустя, услышав этот рассказ, Надежда Ивановна горестно всплеснула руками:

— Боже мой, да как же так можно? Конец октября, а мальчик босой! Это же верная простуда!

Через Дебальцево, Ворошиловград, Сагуны и Лиски, где эшелон подвергался нещадной бомбежке, детей вывозили в глубокий тыл. Не пострадал ли Леня при этих бомбежках? Ведь в других детдомах жертвы были и, случалось, немалые. А детдом из села Константиновка, как вспоминает Е. Серафимова, на той же станции Лиски погиб почти целиком. К Зуевско-нижнекрынскому детскому дому судьба благоволила: по словам воспитателей, сопровождавших детей в этой долгой и страшной дороге, ни один из воспитанников младшего и среднего возраста не пострадал, не отстал от эшелона в пути, не потерялся. Если Леня Поклонский действительно был в этом поезде, значит, в декабре он оказался, он должен был оказаться в Ташкенте. Как вспоминают бывшие сотрудники Зуевского детского дома, дети дошкольного возраста здесь и остались. Всех, кто постарше, отправили в Пап. Мог ли Леня остаться в Ташкенте? Воспитатели, все

как один, уверяют: не мог. Но вот письмо Георгия Васильевича Уганина из Подмосковья:

«...Леню Поклонского я не помню, хотя сам вместе с младшими братьями Толей и Володей жил до войны в детском доме села Зуевки, Харцызского района, Сталинской области. В эшелон мы грузились в последних числах октября вместе с младшими воспитанниками Нижнекрынского детского дома того же района (Зуевский детдом был для дошкольников и младших школьников). Во второй половине декабря мы благополучно прибыли в Ташкент. Дорогой наш эшелон неоднократно подвергался бомбежке и обстрелу фашистских самолетов, но ни один человек из наших вагонов не был убит, не потерялся в дороге. Последний раз ужас бомбежки мы пережили в Саратове.

После прохождения карантина в детском приемнике нас направили кого в детдома, кого в колхозы, некоторых на воспитание в семьи. Я, вместе с несколькими своими ровесниками, попал в какое-то село на юг от Ташкента. Братьев моих — Анатолия и Володю — определили в ташкентский детдом № 18. Каждого в отдельности хотели их взять на воспитание добрые люди, но я согласия не давал — боялся, что потеряем друг друга...»

Чем дольше длится поиск Лени Поклонского, тем больше догадок и версий.

Усыновлен? При этом, как часто бывало в таких обстоятельствах, усыновители, чтоб покрепче привязать ребенка к себе, природнить к своей семье навсегда, дали ему свою фамилию, а возможно, и отчество, припрятав или совсем уничтожив те документы, по которым он жил в детском доме? Ведь именно так случилось с Зиной Мурашко — приемной дочерью Гайворонских, о которой уже было сказано выше, со многими другими, кого назвать не могу до сих пор.

И все же, если подумать, применительно к Лене Поклонскому эта версия мало вероятна и должна быть отвергнута. Леня Поклонский мог быть взят на воспитание и усыновлен не раньше 1942 года. К этому времени ему уже шел двенадцатый год. В таком возрасте ребенок знает свою фамилию прочно и, даже заменив ее на другую — фамилию новых родителей, прежней уже не забудет.

Но, может быть, он сам отказался от своей родной фамилии и живет под какой-то другой, им же самим и придуманной? И такое случалось. Вот, скажем, тот же Г. В. Уганин:

«...Горя желанием своими силами помочь Советской Армии в разгроме врага и освобождении Донбасса, мы покидали свои пристанища и пробирались на запад. За время пути мы много раз меняли фамилию и лгали, откуда бежим...»

И случай этот не единичен.

Пишет Анатолий Иванович Гук — инженер-конструктор из города Фрунзе:

«...В Ташкент наш детдом прибыл зимой 41-го. На вокзале провели медосмотр. Меня еще с тремя мальчиками и тремя девочками сня-

ли с поезда и положили в больницу, которая находилась тогда в старом городе. По выздоровлении направили в дошкольный детдом, но меня там не приняли, сказали: в этом году уже в школу идти. Шел 1942-й. Выходит, я 1935 года рождения. Меня поместили в детдом № 27, потом — не знаю уж почему — перевели в Карасуйский № 1. Оттуда я снова попал в больницу, а из больницы бежал — бежал, чтоб найти свою родину. Поймали. Через второй детприемник препроводили в детдом № 17, но здесь я не задержался надолго — опять убежал. В этот детдом я больше уже не вернулся, а край, где родился, ищу до сих пор.

В тот раз, на железнодорожных платформах, на крышах вагонов, удалось мне добраться до станции Арысь. Там задержали, учинили допрос. Чтоб не вернули обратно, присвоил себе фамилию друга по детскому дому — Анатолий Ефремов. «А отчество?»— спрашивает милиционер. Молчу. Таращу глаза на него: откуда же мне было знать, что за штука такая — отчество? «Ладно,— говорит он, как мне показалось с сочувствием,— будешь Ивановичем». Так с тех пор я и числюсь Анатолием Ивановичем. А тогда через детприемник в Чимкенте попал я в детдом Бурно-Октябрьского района. Там я закончил третий класс. А летом пришлось бежать дальше. Беда понудила к этому. И вот какая беда.

Как-то раз иду я мимо подвала, где продовольственный склад у нас помещался. Гляжу, а дверь приоткрыта. Заглянул — никого. Удивился, и нет чтоб от склада подальше,— любопытство взяло: юркнул в дверь, спустился по лестнице. Только успел оглядеться — слышу — идут. Я с испугу за бочки. Ну, конечно, поймали, шум да гвалт; пригрозили отправить в колонию. А этой колонии я пуще смерти боялся. Словом, на другой уже день я опять оказался в Ташкенте. И опять, чтоб меня не нашли, меняю фамилию, опять иду по тому же знакомому кругу: детприемник — детский дом Алтыарыкского района, Ферганской области. Но, видно, оседлая жизнь была не по мне. Через несколько дней, как я поселился в этом детдоме, вывели нас на работу в хлопковое поле. Уж с чего там тогда началось — не припомню, пацаны затеяли драку. У меня еще ни друзей, ни врагов — стою, наблюдаю. Потом кто-то меня зацепил. В долгу не остался. А вечером, когда разбирали ЧП, оказалось, что главные виновники — я и еще двое ребят. Всех троих пристращали отправить в колонию. Ах, в колонию? Прямо с хлопкового поля я подался на станцию. Товарняк. И вот уже я в Бухаре — воспитанник Шафриканского детского дома. Но и на этом не закончилась моя одиссея. В 1948 году я оказался в Чарджоуском детдоме № 6, оттуда, впервые, по-моему, на законных началах, ушел в армию — воспитанником полкового оркестра (в детдомах между бегами научился играть на трубе).

В 1958 году, уже во Фрунзе, женился. Жена — Анна — тоже росла без родителей. Завод сельскохозяйственного машиностроения, на котором я проработал двадцать лет, после женитьбы сразу выделил нам комнату. В 1959-м я поступил во Фрунзенский машиностроительный техникум. В 1965-м в сельскохозяйственный институт. Сейчас работаю на заводе электронно-вычислительных машин инженером-

конструктором. У нас двое детей — дочь Наташа и сын Александр. Оба закончили музыкальную школу по классу фортепиано. Живем хорошо, в трехкомнатной квартире.

Всем, что есть у меня, всем в себе я обязан нашему Советскому государству. Это оно меня, безродного, вынянчило, выучило, поставило на трудовой путь, сделало человеком. Но чем старше я становлюсь, тем нестерпимей туман, которым густо окутано мое детство. Кто я такой и откуда? Наверно, не такой уж безродный, и где-то, быть может, есть у меня сестра или брат, а может, в живых и родители? Но как их найдешь? Как они могли бы меня разыскать, даже при том, что после всех своих долгих скитаний по детприемникам и детским домам, когда я был то Ефремовым, то кем-то еще, я снова ношу родную фамилию — Гук? А как бы хотелось. Как нужно!»

И Г. Уганин и А. Гук в конце концов вернулись к своей настоящей, изначальной фамилии. А Леня Поклонский? Быть может, и он, совершив по мальчишеству какой-то проступок и дабы скрыться от розыска, собственным воображением его нарисованного, назвался какой-то чужой, вымышленной фамилией да так по сей день под ней и живет? Если так, то понятно: все попытки его разыскать и вернуть ему мать, увы, безнадежны. В этом случае только сам он может себя обнаружить и откликнуться на зов изболевшегося материнского сердца. Но вот ведь вопрос: а захочет ли он, так ли мечтает уж Леня Поклонский о встрече со своей матерью?

Для такого сомнения есть все основания. Ведь представьте: человек повзрослел и, вспоминая о детстве, что он может, что должен думать о матери? Какие чувства он может питать, ничего не зная о тех трагических обстоятельствах, которые вынудили Надежду Ивановну сдать пятилетнего сына в детдом как подкидыша, якобы брошенного некой проезжей актрисой и ею, Надеждой Ивановной, случайно подобранного? Ведь он-то наверное помнит, что сдала его не случайная тетя, а мать! Способен ли человек, даже многие годы спустя, простить такую жестокость к себе, еще несмышленому, слабому, беззащитному?

Не буду гадать. Сошлюсь на примеры.

В мае 1945 года в адрес комнаты № 38, где, как вы уже знаете, в годы войны помещался Детский адресный стол Наркомпроса республики, пришло письмо из Коканда.

«Многоуважаемая общественница и товарищ Малинина А.!

Я как мать, разыскивающая свою дочь Валентину Сергеевну М., получила от вас весть о том, что Валя находится на Ташкентском текстилькомбинате. От такой долгожданной вести я даже не могу написать, какая это для меня большая радость. Потому что я уже даже потеряла свою материнскую надежду, что когда-нибудь ее найду и увижу.

Я как мать прошу вас убедительно о том, чтобы вы пошли к ней, то есть к моей Вале, и подошли так, чтобы ее не напугать, чтобы она не убежала куда-нибудь дальше. То, про что она думает, это все детская глупость...»

Что стоит за этим письмом? Можно только предполагать, какая драма детского сердца заставила Валю бежать и скрываться от родной матери.

Но вот другая история, рассказанная Александрой Алексеевной Мирошниковой из Волгограда — бывшей воспитанницей зуевско-папского детского дома:

— Был у нас такой случай. Идем мы на завтрак, а Нина Ш. — девочка из нашей же группы — забилась в угол, сидит сама не своя. Мы и так, и так ее уговариваем — она наотрез: не пойду, и все, не просите! Вернулись, что могли со стола для нее прихватили и опять за свое: что случилось, отчего в столовую не захотела идти? Тут и рассказала она. Новая повариха, которая только вчера у нас появилась,— это, говорит, моя мать. Как же так, обступаем мы Нину: тут радость какая, а ты вся в слезах?! Мы ее за руки — пойдем, не дури!— а она отбивается. Тогда, говорим, если гордячка такая, тогда мы ее сюда приведем. Кричит: не надо, не надо! Потом, когда успокоилась, рассказала. Мать ее в начале войны в каком-то таком же детдоме поварихой работала. Уж как это ей удалось — неизвестно. а сумела-таки пристроить дочку свою, вроде та сирота, воспитанницей в тот же детдом. Не прошло и месяца — скрылась. Нина плакала, ждала, что мать и ее заберет, а та как в воду канула, даже письма не прислала. Три года с тех пор миновало. Нину по возрасту из того детского дома, где раньше была, перевели в наш, и вот теперь эта встреча.

Сколько ни таилась Нина, как ни избегала того, а все ж таки носом к носу столкнулась с матерью. Мы, девчата, были свидетелями, и прямо скажу: встретились хуже, чем чужие. Потом уж у Нины допытывались: может, она неродная? Отвечает: родная, и жили мы не беднее других, не так, чтоб прокормить не могла и потому сдала в детский дом. Просто в тягость ей, видно, дочка была, обузой на душе ее легкой.

Среди детей и сотрудников нашего детского дома пошел разговор. Повариха уволилась. Расстались врагами — мать и дочь...

Не знаю, не берусь утверждать, хотя и не исключаю возможности, что какие-то чувства, близкие к тем, что испытала Нина Ш., заглушили и в Лене Поклонском (если он жив, если дошел до него зов исстрадавшейся матери), убили в нем до конца желание откликнуться, такую естественную, идущую из самых глубин существа человеческого тягу к теплу материнского сердца, к материнской груди. Не знаю, не знаю. Но если эта догадка верна, если глухая обида до сегодняшних дней терзает и гложет Леонида Поклонского и нету в нем сил ее превозмочь, пусть еще и еще раз перечтет эту главу с готовностью вникнуть, понять и пережить сострадательно нелегкую судьбу своей матери, те тяжкие муки, от которых не знает она ни сна, ни покоя, и тогда, может быть, эта глава будет дописана, дополнена счастливой развязкой.

А пока... пока она без конца. Несколько дней назад пришло письмо из Донбасса, от Сергея Ломакина — бывшего воспитанника зуевско-папского детского дома. По-новому осмысленный факт. Еще одна обнадеживающая догадка.

«Дело в том,— пишет нам Ломакин,— *что наш детский дом был до войны детдомом дошкольным да еще для ребят-первоклашек. Тех, кто постарше, начиная со второго класса, переводили в другие детдома, как правило, в Нижнекрынский, который был по соседству. Если правда, что Леня Поклонский 1930 года, значит, еще в 1938-м, в крайнем случае в 39-м, его должны были перевести в Нижнюю Крынку или в какой-то другой детский дом. К началу войны он, стало быть, мог уже перейти в четвертый класс.*

Как я, да и другие, наверное, уже вам сообщали, в 41-м году вместе с нами, с зуевским детским домом, эвакуировались ребята нижнекрынского детского дома, только младшего возраста. Старшие выезжали отдельно. А вот куда — не скажу, узнать не сумел. Может, с ними и был как раз тот Леня Поклонский?»

На этом нить обрывается. Последнее, что удалось установить на сегодняшний день,— фамилию директора нижнекрынского детского дома перед войной: Люшня Павел Григорьевич. Но где искать ныне, чуть ли не сорок лет спустя?

И все же я надеюсь и верю, что человек не пропал. Он найдется. Такой оптимизм внушен мне участием, добротой и отзывчивостью, которые проявляют к судьбе Леонида Поклонского и его матери сотни людей, когда-то имевших касательство к зуевско-папскому детскому дому и вовсе как будто бы посторонних. Вот один из таких, глубоко человеческих откликов на газетную статью, где шел разговор об истории розыска Лени Поклонского и где по ошибке селение Пап было названо Пан:

«Прочел в газете Вашу статью о Н. И. Погорельской, которая разыскивает своего сына — Леню Поклонского, в 1942 году эвакуированного с детским домом из села Зуевка, Сталинской области, в Узбекистан, в село Пан.

Я — бывший военный летчик, множество раз летал над территорией Узбекистана, постоянно пользовался картами самых различных масштабов и потому знаю наизусть чуть ли не поголовно все населенные пункты и другие более-менее крупные ориентиры этого края. Но вот села с названием Пан я что-то не припомню. Зато достоверно знаю, что есть там село Пап, которое находится в северно-западной части Ферганской долины, в 10—12 километрах севернее реки Сырдарья, от того места, где она пересекается железной дорогой Коканд—Наманган, и на таком же примерно расстоянии от железнодорожной станции Пап, принадлежащей той же железной дороге.

Проехать из Москвы туда можно так: сначала прибыть в Ташкент, а оттуда в 18.05 пассажирским поездом № 258 Ташкент—Андижан (через Наманган)— до станции Пап, куда он прибывает ночью в 2.26 (по местному времени — в 5.26).

Можно, конечно, предварительно написать туда письмо по адресу: 717000, Пап (районный центр), Наманганской области. А кому адресовать далее — Вам, наверное, лучше знать.

Адрес я взял из алфавитного справочника на почте.

Я почему-то думаю, что именно там Надежде Ивановне следует

искать след своего сына. Буду весьма рад, если моя консультация окажется полезной и поможет исстрадавшейся матери обрести сына.

С уважением Попович Павел Антонович,
полковник в отставке.

г. Киев

Да, письма идут и идут — от бывших сотрудников и воспитанников зуевско-папского детского дома, от людей, никакого отношения к нему не имевших,— просто добрых, душевных людей, готовых по первому зову прийти человеку на помощь, от матери Лени Поклонского:

«Я и под землей, мертвая, буду кричать и звать своего сына...»
«Что бы я ни делала, куда бы ни шла, скорбь моя вечно со мной. Она не оставляет меня нигде, никогда...»
«И пока не увижу его, мукам моим не будет конца...»
«Поймите горе мое — горе матери, мое страшное горе...»
«Я так выстрадала встречу с сыном, что не верить в нее не могу...»

...Говорят, в Хиросиме, где в 1945-м взорвалась сброшенная американцами атомная бомба, есть книга, куда год за годом, вот уже три с половиной десятилетия, вносятся имена жертв этого варварства. У нас нет такой книги — книги жертв Великой Отечественной войны: двадцать миллионов. Но если б она была создана, в ней должны были б значиться среди миллионов других имена Надежды Ивановны Погорельской и сына ее — Лени Поклонского, независимо от того, жив ли он или погиб.

ТРЕТИЙ, ОСОБЫЙ

О жизни детских домов Узбекистана — и коренных, существовавших давно, с наплывом эвакуированных детей лишь расширившихся, пополнившихся, порой чуть не вдвое, и тех, что создавались заново из одиноких, беспризорных сирот, подобранных на вокзалах, на базарах и улицах, к ним прилегающих, о тех, наконец, которые прибывали в республику с Украины, из Белорусии и западных областей России полным составом,— уже рассказано много. Но все это, так сказать, дедуктивно — от общего к частному. Эту главу мне бы хотелось построить иначе, по обратному принципу — с точки зрения того, как преломлялись, осуществлялись на практике, в повседневной жизни какого-то частного, конкретного детского дома общие директивы, партийно-правительственные постановления и наркомпросовские приказы. Материалов для этого вдосталь. Трудность, пожалуй, в другом: на каком из 267 детских домов — а именно столько их было в республике к 1943 году,— на котором из них остановить свой выбор? И опять же: на столичном, ташкентском, или периферийном, на школьном или дошкольном, на старом, коренном, или откуда-то прибывшем?

После долгих раздумий и колебаний я остановился на детдоме № 3, с особым режимом, который в годы войны находился в сельсовете Ченгельды, Орджоникидзевского района. Отчего именно на этот детдом пал мой выбор? Ну, прежде всего, потому, что он и периферийный, и в то же время как бы столичный: от Ченгельды до Ташкента рукой подать — километров 18, не больше. Во-вторых, потому, что он «с особым режимом», а кому ж неизвестно, что как раз в экстремальных условиях, в ситуациях граничных, критических наиболее полно и истинно выявляется сущность явлений, так же как в характерах с повышенной, насыщенной или даже перенасыщенной концентрацией каких-то свойств — неважно, положительных или ущербных — определенный человеческий тип. Расчет на встречу с такими характерами в детдоме с особым режимом тоже, конечно, сыграл свою роль при окончательном выборе объекта для описания.

Но прежде чем к нему приступить, я должен, наверно, дать разъяснение, что скрывалось под термином «с особым режимом».

Тяжелые страдания, выпавшие на долю осиротевших, заброшенных за тысячи километров от родных краев, голодных, больных, а зачастую и раненых детей, как-то невольно и, в общем, естественно внушают нам представление о них, как о детях спокойных и таких, послушных и кротких. Что ж, были, конечно же, и такие. Такими, можно сказать, были они в большинстве. Но, понятно, не из одних только пай-мальчиков и безответно послушных девочек состояла вся эта масса. Встречались и «трудные дети»— неукротимые беглецы, хулиганы, подростки, одни — от нестерпимого голода, другие — от завлекающей «романтики» таборной вольницы, ставшие мелкими воришками: война с ее неизбежными следствиями. Вот для таких-то непутевых и трудных, дезорганизовывавших жизнь обычных детских домов, дурно влиявших, а случалось, и терроризировавших весь коллектив малолетних воспитанников, и был в конце 41-го года создан ченгельдинский детдом. О буднях этого детского дома, его эволюции, о бурных внешних событиях и внутренних, подспудных процессах, его потрясавших и в конце-то концов трансформировавших, многие годы спустя вспоминала Александра Александровна Кордова — бывший директор этого детского дома.

Для нее эта история началась в январе 1942 года со срочного вызова к замнаркома просвещения УзССР Е. В. Рачинской. Разговор был короткий: по результатам ревизии в ченгельдинском детдоме его руководство снято с работы — полный развал в коллективе, непедагогично жесткое обращение с воспитанниками, жалобы окрестных колхозников, на сады и огороды которых из-за стен ченгельдинского дома совершались опустошительные набеги. Александре Александровне было предложено безотлагательно побывать в детском доме, на месте ознакомиться с состоянием дел и, взвесив все обстоятельства, дать ответ на предложение Наркомата принять на себя обязанности директора этого заведения.

На следующий день, трясясь на подводе по затянутой слякотной жижей мощеной дороге, Александра Александровна про себя раз-

мышляла: чем объяснить, что именно ей предложила Рачинская стать новым директором в этом детдоме, который, должно быть, недаром зовется «особым»? Наверное, прошлым, анкетными данными гражданки Кордовой Александры Александровны. И припомнилось ей, ровеснице века, как семнадцатилетней девчонкой стала она сельской учительницей, как проводила деревенские сходки и разъясняла на них бедноте первые декреты Советской власти, как позже, в годы гражданской войны, участвовала в облавах на беспризорников, отмывала их и кормила, определяла в детколонии, в школы, а кого и в больницы. Да, было что вспомнить — и то, как в 18—19-м годах с отрядом таких же парней и девчат, как сама, по глухим деревням, без медикаментов и хлеба, без керосина и топлива, боролась с эпидемией тифа, а в ночь, с револьвером за пазухой, на облезлой, тощей каурой кобыле неслась через лес с добровольцами-чоновцами, чтоб на заре у балки либо на речной переправе настигнуть и взять озверелых белобандитов. Вспоминала и то, как в самом начале 20-х годов принимали ее в большевистскую партию. Двадцать лет с тех пор миновало. Александра Александровна закончила вуз, еще с предвоенного времени работала инспектором-методистом в Научно-исследовательском институте школ Наркомпроса УзССР. И в этом, как догадалась Александра Александровна, была вторая причина, почему, только возник вопрос о новом директоре в детдом с особым режимом, тотчас и кинулись: Кордова. Что же тут скажешь — логично. Кому же, и правда, лучше владеть всеми новейшими педагогическими методиками, современными средствами воспитания, как не ей — специалисту-ученому! Пусть, мол, на деле докажет и выявит, чего они стоят, эти теории модные, сама пусть на практике их испытает.

И тут же, на тряской, скрипучей телеге, Александра Александровна стала мечтать, как встретится с воспитанниками детского дома, как увлечет их общим трудом и занятиями, как наладит работу кружков самодеятельности и коллективные походы в оперный театр, который сама так любила и так почитала. А главное, в противовес жестким, крутым воспитательным методам прежних руководителей детского дома, методам, которые, по ее убеждению, и привели к развалу и полной дезорганизации жизни всего коллектива, она будет действовать мягко, без принуждения и окрика. Ведь дети так остро нуждаются в ласке и материнском тепле, с такой готовностью на них откликаются — дети вообще, а эти, бездомные сироты, несчастные жертвы войны,— эти особо.

С такими добрыми мыслями, в нетерпеливом желании обласкать, приголубить своих новых питомцев въезжала Александра Александровна в настежь распахнутые ворота ченгельдинского детского дома.

Вид двора и длинного одноэтажного глинобитного здания с какими-то приземистыми пристройками ее не порадовал. Окна с побитыми стеклами, иные закрыты фанерой, листами кровельной жести, иные заложены наглухо сырцовым кирпичом и кукурузными стеблями. Непорядок и бесхозяйственность, подумала Александра Александровна, но, в общем-то, дело легко поправимое. Так же как вытоптанные насаждения под окнами, дувал, порушенный во многих местах, без-

жалостно обломанные молодые топольки и акации, окантовавшие двор. Да и грязь во дворе — не метут его, что ли, не прибирают неделями?— не очень огорчила: ничего, устроим субботник, наладим дежурства, будет у нас, как в раю! Но что действительно ее поразило, так это сами воспитаннички.

Бритые наголо (потом объяснили: чтоб не завелись насекомые),в каких-то рваных штанах, в пиджаках с чужого плеча, дырявых опорках, они разом и очень жестоко порушили все ее ожидания. Кто стоял, плечом привалившись к стене, кто, сидя на корточках, грелся на солнце. Угрюмые, хмурые лица. Враждебные взгляды. Какая-то злая напряженность, готовность взорваться руганью, плевками и зуботычинами, только приблизься к ним кто-то, задень, минутой подольше задержись на них взглядом. И все же, спрыгнув с телеги и при этом, конечно, отметив, что ни один из воспитанников не ступил ей навстречу, не тронулся с места, Александра Александровна с широкой, хотя, быть может, и деланной, улыбкой подошла к этим странным мальчишкам, сказала бодро и весело:

— Здравствуйте, ребята! Будем знакомы: Александра Александровна Кордова. А вас как звать, как по батюшке?

Гробовое молчание. Сторожкие, презрительно-ироничные взгляды. Наконец какой-то подросток, хмыкнув, произнес с наглецой:

— А мы ведь, тетя, люди простые — мы не по батюшке...

На мгновенье она растерялась, подумала — лучше будет прикинуться, вроде намек до нее не дошел, того, кто бросил его,— не приметила. Но все другие молчали, насупившись, и так выходило, что этот дерзкий подросток стал единственной, последней зацепкой, чтоб както продолжить, завязать разговор. И, положив на плечо паренька не очень твердую руку, спросила, насколько могла простодушно:

— Ну а тебя, простой человек, тебя как зовут?

Мальчишка повел плечом, точно его этот жест покоробил, ответил брюзгливо:

— Да чего еще там! Зовите «Муму», авось да откликнусь.

Так и окончилась эта первая проба Александры Александровны найти какой-то контакт с детворой. Повернулась, ушла раздраженная. Но странное дело: эта враждебная встреча не только не поколебала ее решимости принять на себя руководство ченгельдинским детдомом — напротив: укрепила ее в этой мысли уже до конца и бесповоротно. И эта решимость становилась все тверже наперекор все новым и новым удручавшим, озадачивавшим, приводившим в недоумение фактам.

Потерпев поражение с воспитанниками, она в сопровождении двух сотрудниц пошла осматривать дом. В просторной комнате для занятий — изрезанный стол, несколько колченогих табуретов, этажерки без книг, без каких-либо игр или наглядных пособий. Голые стены. Голландская печь, изукрашенная короткими надписями и сделанными углем выразительными рисунками. Пещерная живопись. Пещерный уют.

В спальнях не лучше. Ни одной простыни. Подушки без наволочек.

Не спальня в детдоме — ночлежка какая-то. Как же можно такое терпеть? Неужели такая уж бедность?

— Не, тут причина не в бедности,— разъяснила сотрудница.— Только постель застилать в нашем доме — дело зряшное. Ночь всего и продержится — завтра ищи на базаре. Все растаскали, до последней нитки распродали, а что не сумели продать или выменять — попортили, сожгли, изломали. Одно слово — режимные!

То же услышала Александра Александровна в каптерке от дородной, с мясистым лицом кастелянши:

— А чему же дивишься, хорошая? Да, тут у нас и штаны шерстяные и рубашки из чистого шелка для каждого. Перед Новым годом как раз и прислали. Держу, что ни день пересчитываю. А как же! За мной они числятся, на мне и висят. Им только выдай — конец! А под суд мне не к спеху.

В большом утепленном сарае стояли два верстака, токарный и сверлильный станки, наждачный круг без приводного ремня: уже раскулачили. На всем, чего ни коснешься,— толстый слой пыли, а местами и ржавчина. Мастерская, в которой — было понятно — никто никогда не работал. И такая досада взяла вдруг Александру Александровну — едва удержалась, чтоб крик не поднять, кулаком по верстаку не ударить. А кого же ругать, на кого стучать кулаками? На хилую, с испуганным лицом воспитательницу, которая ее сопровождала? Так она и сама здесь недавно. А те, кто и в самом деле повинны,— одни уже на скамье подсудимых, другие уволены.

В тот же день побывала Александра Александровна на подсобном хозяйстве детдома. Хозяйство немалое — десять гектаров поливной земли, конюшня, в которой двенадцать живых лошадиных скелетов, свинарник, где каннибальские матки, если верить работнику, сами, должно быть от голоду, весь свой приплод пожирали, весь без остатку.

— А чего ж не следили?

— Поди уследи. По штату у нас на все хозяйство при доме — три работника только. Разве всюду поспеешь?— давал пояснения свинарь, он же и сторож в детдоме.

— Как же обходитесь?

— А так, приспособились. С людьми сговорились. Платить-то им мы откуда возьмем? Вот и надумали: какой урожай соберут, что по конюшне, по свинарнику будет — все, значит, исполу. И нам оно выгодно, и тем не в убыток.

— Уж тем-то наверно,— вконец распалилась Александра Александровна.— А о том, что тут уголовщиной пахнет, о том не подумали?!

— Так хоть что-то имеем с хозяйства. Будем порядок блюсти — ничего не получим. Считаете, лучше?

— А где же воспитанники? Их почему к работе не привлекаете?

Свинарь поглядел на нее с удивлением:

— Да вы шутите, что ли? Тут забота, как бы скотину от нашей шпаны уберечь, а вы вдруг такое. Несурьезно, хозяйка. Небось, только прибыли?

Довершила впечатления дня картина обеда, которую Александра Адександровна наблюдала со стороны.

По команде краснолицей, чем-то похожей на снежную бабу, с неожиданным тонким, писклявым голосом, молодой поварихи одна из воспитательниц отодвинула задвижку на двери и тут же отпрянула в сторону. Предосторожность была не напрасной. В тот же миг, теснясь и ругаясь, в столовую ввалилась ватага старших воспитанников. За ними — ребята поменьше. На минуту в дверях образовалась пробка. Кто-то свалился. И вот уже куча мала. Наконец, с перебранкой и плачем, с неимоверным шумом и грохотом ребята расселись за длинными, ничем не покрытыми столами и сразу все как один стали неистово колотить алюминиевыми мисками — кто по столу, а кто, изловчившись, по макушке соседа. Так продолжалось, пока повариха и две воспитательницы, с большими кастрюлями обходившие стол за столом, не наполняли миску половником. Но есть почему-то не начинал ни один. Чего-то ждали мальчишки — нетерпеливо, упорно. И вот тот момент наступил: поставив опорожненные кастрюли, повариха и две воспитательницы набрали в фартуки заранее нарезанный хлеб и, продвигаясь за спинами воспитанников, стали быстро крошить его в каждую миску по порции. И тут, вспоминает Александра Александровна, началось что-то невообразимое, дикое. Одни подставляли ладони, чтоб перехватить и тотчас отправить в рот эти хлебные крошки. Другие старались вырвать из рук поварихи или воспитательницы «свою законную» порцию целиком и быстро совали ее за пазуху. Какой-то подросток постарше успел ухватить сразу две порции, вскочил, опрокинув при этом полную миску соседа, оттолкнул повариху, стремительно кинулся к двери. Залитый супом мальчишка громко заплакал. Его поддержали другие обиженные.

— Зачем вы это... зачем же вы так?— разволновалась и тоже чуть не расплакалась Кордова.—Это же... это же...— и осеклась, не нашла подходящего слова.

— Иначе никак,— откликнулась стоявшая рядом кастелянша.— Дай им хлеб целиком, не кроши — либо в карты продует, либо те, кто постарше, силком отберут. Вот и приходится.

После обеда, уже совершенно потерянная, Александра Александровна собрала всех воспитателей.

— Ну, хотела послушать, как это вы сумели детей довести до такого? Что для этого сделали?

— Мы?— возмущенно вскинулась женщина с сухим и нервным лицом.— Да знаете вы, кого присылают в наш дом? Самых худших, отъявленных, совсем уж пропащих! Со всей республики — к нам. Тут не о них — о нас заботиться нужно: как бы в этом зверинце мы сами не тронулись!

И посыпались жалобы: нету дня, чтобы без происшествий, без воровства или драки, без скандала с окрестными жителями и приглашений в милицию. Приводились конкретные факты, один другого ужасней. Вспоминали о собственных немалых потерях и жертвах.

— Что же, по-вашему, делать? Как перестроить детдом?— терпеливо выслушав жалобщиц, спросила Александра Александровна.

— Ничего тут не сделаешь. Наша задача какая? Накормить, напоить, проследить, чтоб живы-здоровы, а там, война кончится, можно и воспитанием спокойно заняться — другие условия.

— Тогда уже поздно. Организм спасете, в душе — трупный яд.

— В теории, может, и так, а на деле ничем тут помочь невозможно — медицина, как говорится, бессильна,— жестко и вроде бы с вызовом отпарировала все та же воспитательница с сухим и нервным лицом. А кто-то в углу, расслышала Кордова, прошептал язвительно, злобно:

— Начиталась Макаренко...

Да, после разговора с Рачинской, вернувшись домой, Александра Александровна заново, с особым вниманием перечитала и «Педагогическую поэму», и «Флаги на башнях», и «Книгу для родителей», проштудировала и «Республику Шкид» Пантелеева и Белых. Тогда ей казалось, что этими книгами она подготовлена к встрече с детьми, пусть даже самыми трудными, для других — безнадежными. Теперь, в вечерние сумерки той же хлюпкой дорогой возвращаясь в Ташкент, такой убежденности в ней уже не было. На душе было смутно, тревожно, и внутренний голос подсказывал: откажись, все равно ведь не справишься, не по силам задача. С тем и вернулась домой.

НАРКОМПРОС УзССР
ПРИКАЗ №219

14 февраля 1942 г. г. Ташкент

С сего дня возложить обязанности директора детдома № 3, с особым режимом Орджоникидзевского района Ташкентской области на Кордову Александру Александровну, освободив ее от должности инспектора-методиста Института школ Наркомпроса УзССР.

Зам. Наркома просвещения УзССР Е. РАЧИНСКАЯ

Главное было — решить, с чего начинать, каков должен быть первый шаг.

Утром, только приехала, собрала всех воспитателей:

— Хочу ознакомиться с планами работы на сегодняшний день.

У большинства, оказалось, вообще планов нет: как говорится, день да ночь — сутки прочь. У других эти планы имелись. Но, боже, что это были за планы! Какие-то мертвые штампы, формализм в худшем его проявлении! «Дежурство по спальне», «Уборка помещения», «Читка газет и книг», «Свободные игры». Не выдержав, Александра Александровна спросила у одной из воспитательниц:

— Свободные от чего?

Воспитательница заморгала, удивленно уставилась на новую директрису:

— Как от чего?

— Я спрашиваю: от чего вы по плану освобождаете своих воспитанников на этот час?

— Ну, вообще... Каждый, чем хочет, тем и займется.

— Так, по-моему, для ваших воспитаннников весь деиь — от подъема до сигнала отбоя н позже — свободиые игры. «Особый режим»... Да тут ие то что особого — тут иикакого!— и, поостыв, Алексаидра Александровиа добавила:— Попрошу всех товарнщей к завтрашиему дию составить подробиые планы, да с выдумкой, с какой-то идеей. Измеиить, нет — взорвать это все — вот что иам нужно!

— Сперва б иакормить их как следует, а то пищевая домнианта у иих — ни про что про другое н думать не могут,— сказала старушка — детдомовский врач.

— Накормим!— ответила Кордова так, будто держала в кармаие ключи от продовольствеиной базы.— Только, слыхали, наверио, не хлебом единым... Кстати, с этого дия хлеб ие крошить — безобразие! Выдавать целиком, что положено.

— Да вы отчет-то себе отдаете? Вы представляете?..— всплесиула руками старушка.

— Представляю. А с картежиой игрою иа хлеб, со всем прочнм иужио как-то иначе: иельзя, бесполезно бороться с преступиостью преступиыми методами.

Когда воспитателн уже расходилнсь, Александра Александровна расслышала едкий смешок:

— Ну-иу... Посмотрим, кто кого тут взорвет...

Коиечно, в иные, лучшие дии Александра Александровна, приняв руководство таким вот детдомом, тут же поставнла бы перед Наркоматом вопрос: хотите иаладить дело как следует, давайте других воспитателей — ниициативных и опытных, а главное — иеравиодушиых, без этого кислого скепсиса, зараиее вбивающего крест во все, что иеровно. Но Кордовой было известно, что в те времена н в тех чрезвычайиых условиях ставить этот вопрос было иемыслимо: шел февраль 1942 года. Зиачит, решила она, нужио обходиться тем, что имеется, и плаиомерио, не привередиичая, воспитывать ие только воспнтаиников, ио и самнх воспитателей.

С первых дией пребываиия в детдоме Кордова нашла поиманне и самую деятельиую поддержку в лице, как н оиа, только недавно назиачеииого, старшего воспитателя Иваиа Леонндовича Крнвенко — в прошлом треиера по плаваиню, эвакуированиого из Севастополя и по раиеиию демобилизоваииого, н завхоза Улаева (именнотчества его Александра Александровиа ие помиит, по документам устаиовить удалось лишь иинициалы — И. А.) — довольно крепкого, душой болевшего за детей старика, бывшего боксера-любителя. На иих оиа могла опереться, вместе с ними нскать какие-то бреши в глухой и высокой стеие, какой отгородились от взрослых, от воспнтателей закамеиелые души режимиых мальчншек.

После того досадиого пораження, которое потерпела оиа при первой попытке установить хоть какой-то контакт с детворой, Алексаидра Александровиа подступалась к ним снова и сиова, каждый раз по-другому. А результат, как ии билась, был все тот же — нулевой результат. Неприступиая крепость. По иочам она рассуждала: как же так, ведь ие все же сто двадцать мальчишек —

столько их было на ее попечении,— ведь не все же они одинаково злобные, отчужденные, с чудовищно вывернутым представлением — как взрослый, так, значит, и враг. Ведь есть среди них — она это видит — и добрые, чистые, хотя и надломленные, забитые, душевно съежившиеся. Как же к ним подступиться? По прежнему опыту работы с детьми она знала твердо: в такой ситуации старание завоевать сразу всех, единым чохом весь коллектив — дело почти безнадежное. Тут нужно действовать по выбору, искать индивидуальный подход. Недаром ведь говорят, что педагогика — как медицина, которая тогда только пользу приносит, когда лечит не болезнь, а больного. Хотя, с другой стороны, при таком уж сугубо, предельно индивидуальном подходе — с каждым по-своему — педагогики как науки уже, пожалуй, и нет, ибо, в конечном итоге, что же такое наука, как не установление общих и обязательных закономерностей для целого ряда однородных явлений?

Впрочем, в те дни Александре Александровне Кордовой было не до абстрактного теоретизирования. С той минуты как было подписано ее назначение, она как-то вдруг и с остротой почти что болезненной ощутила всю тяжесть своей личной ответственности за жизнь и здоровье — здоровье не только физическое, но и в не меньшей мере душевное — каждого из ста двадцати своих подопечных. И она, опять и опять, перебирала в уме, с кого бы начать, кто бы помог ей проникнуть за неприступную стену мальчишечьей отчужденности. Тихий и замкнутый голубоглазый белорус Коля Троян? Весь какой-то издерганный, когда обижали, впадавший в истерику, большеглазый, почему-то всегда с синяками Коля Леонов, прибывший откуда-то не то из Смоленска, не то из-под Пскова? Или, быть может, Жора Дошленко — не в пример другим аккуратный и чистый, с неизменной усмешечкой, за которой — поди разберись — либо застенчивость, деликатность сокрытая, либо надменная дерзость, жестокость и властность? Решение пришло неожиданно. Собственно, нет, оно не пришло — его привел, втолкнул в директорский кабинет все тот же Жора Дошленко. И был это не кто иной, как мертвенно-бледный Коля Леонов.

— Вот, привел вам воришку!— с негодованием и гордостью вместе произнес аккуратный Дошленко и тут же, не в силах сдержаться, с брезгливой гримасой смазал Колю по шее.— Ну, признавайся, гаденыш: ты упер сапоги?

— Я,— чуть слышно, уставившись в землю, признался Леонов.

— Вот! Это я его расколоться заставил! — Дошленко был очень доволен собой.— А куда подевал?

— На базар потащил. Променял на жратву,— без заминки, но уже со слезою отвечал паренек.

— Ну, что с таким делать?! — воскликнул Дошленко, и в голосе его Александра Александровна уловила насмешку. Насмешку над кем — над поникшим, рукавом утиравшим глаза, раздавленным Колей, а может, над ней? Не поймёшь. Сказала спокойно:

— Спасибо за помощь, Дошленко. А теперь ты свободен, иди. Мы тут с Колей наедине...

Дошленко повернулся, пошел. Уже с порога не то пригрозил, не то решил приободрить Леонова:

— Теперь держись, Мустафа, притирочку сделают!

— Чего это он тебя Мустафой?— спросила Александра Александровна, когда дверь за Дошленко закрылась.

— Не знаю... Он всех так, на кого зуб имеет.

— На тебя-то за что?.. За сапоги, что стащил?

Коля молчал, еще ниже склонив свою бритую голову.

— Ну как же ты мог? Ведь обещал... ведь тут, вот на этом же месте, неделю назад сам божился — не буду!

Сопенье и всхлипы.

Александра Александровна ходила по комнате в холодном отчаянии. Так неужели и правда — неисправимые? Сколько в тот раз по такому же случаю разъясняла, стыдила, к лучшим чувствам взывала! Казалось — раскаялся, понял, теперь хоть тугой кошелек, хоть хлеба буханку оставь без присмотра — не тронет, рукой не коснется. И вот опять то же самое. Подавив раздражение, стала расспрашивать — зачем, при каких обстоятельствах украл сапоги? Зачем — отвечал: отнести на базар, поменять на сушеный урюк. При каких обстоятельствах — начал сбиваться и путаться. Со слов его выходило, что сапоги он украл вовсе не там, где, было известно директору, они находились. Приметив эту неточность, Александра Александровна стала задавать все новые и новые вопросы о том же — где, когда, как стояли?— и ответы Леонова все больше убеждали ее, что не он украл сапоги, что признание его — самонавет, что попросту взял паренек на себя чужую вину. Но чью? И зачем? Что за этим скрывается? Она понимала, что спрашивать об этом впрямую — только вспугнуть мальчугана. Спроси — затаится совсем, и тогда уже конец — слова живого не вытянешь. Перешла на другое: откуда он родом, где отца и мать потерял, как попал в детский дом? Тут скрывать было нечего, и Коля даже оживился как будто. Так и узнала Александра Александровна, что родился Леонов действительно в деревне под Псковом, отец, как стали бомбить железнодорожную станцию, ушел добровольцем на фронт и с тех пор ничего про него не слыхать, мать померла при родах в больнице, а где — не припомнит.

— Значит, как же оно получается, Коля,— отец на фронте воюет, а ты?.. Вернется с орденами, а может, и раненый, разыщет тебя, станет спрашивать: как мой сын, чем он фронту помог? Что ответить ему — сапоги воровал?

Коля снова замолк, потупился, сник.

— В каких войсках твой отец?

— Батя мой тракторист. Когда уходил, сказал мне на станции: трактористов завсегда на танки сажают.

— Танкист!— уважительно произнесла Александра Александровна.— Ну а ты как же?

— И я. Маленько еще подрасту и тоже на фронт. В танкисты пойду, вот увидите!

— Да как тебя в танкисты-то примут? Сам же сказал: из трактористов берут... А хочешь работать на тракторе? Договорюсь в МТС,

чтоб взяли вас нескольких, ясное дело — самых дисциплинированных, на тракториста учиться. Пойдешь?

Коля вскинул глаза, загорелся:

— Да я на тракторе, знаете... Отец мне править давал!

При старом директоре за все, что натворил паренек, последовали бы суровые кары: заключение в карцер, голодный паек, уборка двора и отхожего места. Того же Коля ждал и теперь. Каково же было его удивление, когда после долгой беседы директриса отпустила его безо всякого наказания и даже угроз. Не знали, как расценить поступок директора и другие воспитанники, а вместе с ними и воспитатели. «При такой безнаказанности совсем распустятся дети»,— считали одни. «Ну-ну, посмотрим чем кончится»,— многообещающе усмехались другие. Втайне Александра Александровна и сама опасалась последствий такого мягкосердечного всепрощения. Тем более, что первый разговор с тем же Колей Леоновым, бывший неделю назад, желанных результатов не дал. Но знала она и другое: жестокость — плохой воспитатель, и все, чем откликнется,— глухая озлобленность. Истина, должно быть, как всегда, на золотой середине и заключается, видимо, в том, чтобы, следуя мудрой восточной пословице, не быть таким горьким, чтоб выплюнули, и таким сладким, чтоб проглотили.

Слово нужно держать. И на следующий день Александра Александровна отправилась в находившуюся неподалеку от детского дома контору машинно-тракторной станции. Разговор, как она и предвидела, оказался нелегким: тракторов на ходу меньше малого, запчастей никаких, трактористы, механики, которые прежде работали,— все на фронте. Тут со своими заботами справиться б, а о том, чтоб допустить к тракторам пацанов да к тому же еще и «особых», на всю округу прославившихся, обучать, воспитывать их,— нет уж, увольте — после войны. И все же Кордова добилась-таки своего — где убедила, а где сторговалась: предложила использовать для нужд МТС свои мастерские. С того и пошло. Коля Леонов, а с ним и другие так пристрастились к работе — не оторвешь, до сигнала побудки убегали то в мастерские, то в поле и там до заката.

Разговор с воришкой Леоновым подсказал Александре Александровне еще одну мысль: она убедилась, что, пожалуй, единственное чувство, которое неприкосновенно в незамутненной чистоте и безусловной своей ценности сохранилось в деформированных душах этих детей и которое, в конечном итоге, способно регенерировать, возродить все другие, — это чувство патриотизма, особо обостренное, живое, горячее в обстановке тех лет. Из этого наблюдения Кордова сделала выводы, которые тут же реализовала на практике.

Прежде всего, предварительно договорившись в военных инстанциях, она строем повела старших ребят в один из ташкентских госпиталей. Встреча с бойцами, рассказы, расспросы раненых — а они уже знали, какого сорта воспитанников к ним приведут,— все это, как и ждала Александра Александровна, произвело на ребят впечатление глубокое, сильное. Оно закрепилось и тем, что

по горячей, настойчивой просьбе Кордовой шефство над третьим, особым взяла на себя одна из воинских частей. В детдом зачастили командиры, политработники, и каждая встреча такая была еще одним шагом к душевному возрождению детей, многим уже казавшимся гиблыми.

Большую и добрую службу сослужило и то, что месяц спустя после прихода Кордовой в детдом один за другим стали приходить треугольники с фронта. Писали солдаты и офицеры, задавали ребятам вопросы, как живут и учатся в школе, просили ответить. Этот поток, как понятно, был вызван самой Александрой Александровной: еще в первые дни своего пребыванья в детдоме, тотчас после беседы с Леоновым, она послала целую пачку писем на фронт. Рассказала подробно, о ком идет речь, о контингенте детдома с особым режимом, просила помочь, потому что надеялась, что слово, пришедшее с фронта, окажет помощь, ни с чем не сравнимую. И она не ошиблась.

Для чтения писем собирался весь дом, и это, как вспоминается Кордовой, был единственный случай, когда воспитанники добровольно и без принуждения собирались все до единого и без опозданий. Назначались ребята, которые сочиняли ответ, и этот ответ опять обсуждался всем коллективом. Но переломным моментом в жизни детдома Александра Александровна считает тот, когда однажды на таком вот собрании кто-то из старших воспитанников раздраженно воскликнул:

— А чего мы все письма да письма! Солдату бы чего пожевать или вещь какую полезную — рукавицы там или шапку-ушанку, а то — «Здрасьте! Шлют вам привет уркаганы...» Да ему-то от этих приветов ни жарко, ни холодно!

Послышались реплики. Спор становился все жарче. И вдруг:

— Шапку откуда нам взять — разве тетя Шура отпустит на денек по Ташкенту пошастать? Тогда, конечно. Тогда раздобудем. Только — да?— неловко таким путем раздобытое на фронт посылать. А, братишки, скажите?! Маракую я так: десять гектаров у нас, лошадки в конюшне. Вспахать бы, засеять. По осени собрали б свое, тогда б и отправили. Без блефу, законно. И на фронт, и у нас бы обеды погуще. Как считаете, братцы?

Да, тот разговор при общем сходе воспитанников, день, когда он состоялся, Александра Александровна считает поворотным в истории детского дома. С него начиналось то главное, чего добивалась она,— тяга к труду и детское самоуправление.

Как ни странно, но это ощутили не все воспитатели. Больше того: еще какое-то время Кордовой приходилось доказывать, что детям и можно и нужно доверить и конюшню, и свинарник, инвентарь и зерно для посева. Кому доказала, а кого и принудила своей директорской властью.

Еще весной из Наркомпроса прислали ей в помощь нового завуча и старшего воспитателя Гани Каюмовича Каюмова. (Иван Леонидович сам попросился на работу поменьше — физруком и воспитателем в группу). С появленьем Каюмова в детдоме возобновились

занятия по школьной программе, начали работать литературный, а вскоре и театральный кружки.

Теперь уже было не страшно приказать кастелянше выдать ребятам со склада и шерстяные штаны, и рубашки, что лежали там с Нового года. О постельном белье Александра Александровна распорядилась, как только пришла.

Жизнь налаживалась. Уже несколько раз Александра Александровна на собственный страх и риск решалась отпускать то одну, то другую группу в Ташкент, на весь день — в кино или театр, на Комсомольское озеро или в цирк,— без бдительного воспитательского надзора, под ответственность старосты, избранного самими мальчишками. И каждый раз ко времени, когда по условию должны были вернуться воспитанники, волновалась и нервничала, давала зарок никогда и никуда их больше не отпускать, а воображение уже рисовало кошмарные сцены. Зато какая же радость обуяла ее, когда в назначенный час они появлялись в воротах детдома — благополучные, веселые, без потерь, без жертв, без всяких ЧП!

Почти прекратились набеги на соседские сады, курятники и огороды. Все реже случались драки и пропажи. Эти пропажи, а проще сказать — воровство, удручали Александру Александровну больше и горше всего. А главное — что совершались они ребятами тихими, добрыми, во всем остальном безупречными. Когда уличенные Жорой Дошленко или кем-то другим из его же компании, они винились и каялись перед Александрой Александровной, ей отчего-то не верилось, какое-то внутреннее чутье подсказывало ей, что не так это все и не Коля Леонов или Хоботов Петя — простодушный, бесхитростный мальчик с глазами голубыми и чистыми,— не они унесли из детдома и сбыли на базаре трубу и гитару, с таким трудом раздобытые в городе. Но как усомнишься, когда сами с повинной приходят? Поневоле поверишь. И все же, пусть по наитию, бездоказательно, но Кордова чувствовала: здесь что-то скрывается, здесь какая-то тайна, к которой доступа нет.

Однажды Кордова, Каюмов, Кривенко и Улаев решили часа через два или три после отбоя совершить контрольный обход детского дома.

Была лунная ночь. В окнах спален темно. Никакого движения. Постояли, прислушались. И вдруг — сначала Кривенко, потом и Каюмов — насторожились: откуда-то издали, едва различимый, доносился жалобный, горестный плач. Вскоре убедились: эти всхлипы и стоны — из спальни старших воспитанников. Бесшумно приблизились, встали у заделанного фанерой, чуть приоткрытого окна. Да, отсюда.

Улаев остался под темным окном. Остальные направились в двери, мимо няни, дремавшей при входе, прошли в коридор, потянули за ручку. Дверь была заперта, видно, чем-то заложена. Стукнули — раз и другой. И тотчас в комнате началась суета — кто-то бранился приглушенно, злобно, что-то с шумом грохнулось на пол. Потом заскрипела оконная рама. Вскрик и возня.

Когда дверь наконец отворилась, Кордова, Каюмов и Кривенко увидали, как в темноте, у окна с кем-то борется бородатый Улаев.

Заметив их появление, противник Улаева на шаг отступил, занес руку с чем-то длинным, блестящим. В два прыжка, стремительно быстрых, мгновенных, Кривенко оказался рядом с ним, перехватил занесенную руку, стиснул, скрутил. Что-то глухо ударилось об пол.

— А-а, Дошленко,— только тут признал его, изумился Иван Леонидович.— Вот теперь и побеседовать можно — без нервов, спокойно. Так в чем ты Улаева хотел убедить?

— У, фраера! Фараоны поганые! Кликну дружков — всех перережем, всех до единого! Потроха ваши выпустим! — озверел, бесновался Дошленко.

— Едва не утек. В окно, понимаешь, сигать собирался, а тут я навстречу как раз. Так и обнялись по-братски,— пояснил усмехаясь Улаев. Затем отряхнулся, высек искру кресалом, раздул, зажег керосиновую лампу.

В углу, за кроватью, весь избитый, в слезах лежал Коля Леонов. В другом конце комнаты под одеялом, натянутым между кроватями, стояла загашенная коптилка. Рядом с ней по расстеленному на полу одеялу были разбросаны карты.

Примолкшие, испуганные, глядели на взрослых воспитанники.

— Уютно устроились, детки,— сказал Иван Леонидович.— Игорный дом «Под шерстяным одеялом». А кто же у вас банкомет?

Никто не ответил, не шелохнулся.

— Ты, Дошленко?

Жора уже поостыл, одумался и с видом оскорбленной невинности молвил:

— Ну, чего же, конечно — все теперь на Дошленко: и картежник, и вор, и убийца,— давай, давай, все вали на меня!

— Ну а кто же?

— Ладно. Не хотел выдавать — заставляете. Вот он, главный у нас! — и Дошленко указал на Леонова.— Не смотрите, что хлюпик. За ним дружки стоят городские, целая банда! Верно я, братцы? Ну, кто не боится, вам подтвердят.

И опять все молчали. Только Коля Леонов поднялся, вплотную приблизился к Жоре, произнес с клокочущей ненавистью:

— Врешь ты, гад! Это ты! Ты нас всех!.. В карты разыгрывал, кому красть, кому идти сознаваться, а сам в стороне, сам хороший!.. На хлеб играть заставлял!.. Да у него... вот, глядите! — и, быстро нырнув под одну из кроватей, Коля извлек оттуда мешок, вытряс на одеяло несколько порций свежего хлеба.— Сегодняшний, вот! По ночам отбирает, утром несет на базар. Что, неправда, неправда? Скажи ты, Косой! Скажи, Серый!

В эту ночь — а не спали уже до утра — тайна, которая мучала Кордову, открылась, как гнойный нарыв. В волнении, с мстительной яростью, порою сбиваясь, не находя нужных слов, говорили мальчишки о тирании Дошленко, о расправах, которые он учинял над строптивыми. Этот маленький деспот был полновластным хозяином в доме — кого миловал, а кого беспощадно карал. Сам он стоял в стороне — не крал, не избивал однокашников и в огороды чужие не лазил: по его приказанию этим занимались другие — покорные, безответные, робкие.

Поначалу Дошленко от всего отпирался. Затем, когда пацаны, распалясь, стали припоминать и то, и другое, и как оно было, и чем это кончилось,— тогда уж он замолчал, лишь время от времени поглядывая на своих обличителей взглядом тяжелым и грозным, не сулившим добра, не оставлявшим надежд.

Этот случайно возникший, беспорядочный, горячий ночной разговор, подспудно, наверно, давно вызревавший, стал ребячьим судом над Дошленко — судом суровым, крутым, справедливым.

Наутро Дошленко передали в милицию. Детдом бурлил, могло показаться, готовился к празднику. Как-то сникли, притихли те из воспитанников, кто подсоблял низвергнутому диктатору. Другие из них громко хулили его и открещивались. А в общем, как ощутили тогда и воспитатели, и сами воспитанники, с этого дня начиналась другая, какая-то новая жизнь детдома с особым режимом.

Это было весной. А через несколько месяцев...

НАРКОМПРОС УзССР
ПРИКАЗ № 1158

г. Ташкент — 20 октября 1942 г.

1. Детский дом № 3, с особым режимом, Орджоникидзевского района, Ташкентской области считать школьным детдомом обычного типа.
2. Перевести из других детдомов в детдом № 3 шестьдесят воспитанниц — девочек 10—14 лет.

Зам. Наркома просвещения УзССР
Е. Рачинская

ТРУДНАЯ СУДЬБА ЕВАНГЕЛИНЫ КАШУРО

Трудная? Что это значит? Да разве прочие судьбы, о которых уже говорилось,— судьбы сирот военного времени — были простыми и легкими? Нет, нелегкими, непростыми, порой трагедийными. Но эта, даже в сравнении с ними,— особая. При всей типичности, общности для того поколения, она — исключительна.

Я понимаю, я отдаю себе ясный отчет, что, следуя принципу документальности и строгой фактографичности, рассказать о самом существенном в судьбе Кашуро будет не то, чтобы сложно, но, может быть, просто немыслимо. Немыслимо, да, ибо главное в этой судьбе не внешняя событийность, движенье физическое — то, что доступно, что в сфере возможностей документальной фиксации. Главные события этой жизни и этой судьбы развивались в душе человека, в тех сокровенных недрах сознания, куда документальная проза, не утратив своих отличительных свойств, прямого доступа не имеет.

И все же, даже осознавая неизбежность потерь в документальном рассказе о Еве Кашуро, я не могу отказаться от мысли включить

его в книгу. Потому что эта судьба и то, как она складывалась,— многое скажут читателям. Потому что в ней, в этой драматической биографии личности, во всей глубине выявляется еще одна сила — из тех, что вершат, формируют собой судьбу человека.

Она родилась в Белоруссии, в деревне Ясень, Гомельской области, в 1932 году. Так было записано в ее документах. О прочем — кем были родители и как, младенцем еще, она оказалась в детдоме на станции Пиревичи — Евангелина Андреевна узнала уже после войны, от родни, что ее разыскала. Боль утраты отца, а следом и матери,— боль, которая по малолетству ее миновала тогда, страх одиночества перед лицом огромного мира, не изведанный ею в ту пору — в первые дни и недели сиротства, не раз в бессонные ночи возвращались потом, когда Ева была уже взрослой. Видно, таков уж закон: что должно было человеку изведать — радость ли светлую, безутешное ль горе — не раньше, так позже настигнет его, войдет в его душу, чтоб след свой оставить там уже навсегда. Так случилось и с Евой, когда в четырнадцать лет ей стало известно о скорбной участи своих родителей, когда задним числом она испытала и боль безвозвратной потери, и страх за себя — малолетнюю. Но это было потом. А тогда, в довоенные годы...

— Детдом наш, в Пиревичах, был замечательный, райский уголок — иначе не скажешь, и мы, воспитанники его, никак своего сиротства не чувствовали,— вспоминает сегодня Евангелина Андреевна.— Сколько времени так продолжалось, не помню. Зато ясно, отчетливо помню тот день, когда разом и страшно все оборвалось,— 22 июня 1941 года. Мы проснулись от гула и грохота. Воспитатели хватали нас, малышей, и, сонных, испуганных, на руках тащили на улицу, в лесок, что был тут же. Уже рассвело, и я хорошо разглядела самолеты с крестами в черном обводе. Они проносились над нашим детдомом, как тени, и каждый строчил по нему. Через час все повторилось сначала. Потом еще и еще. Воспитатели и старшие воспитанники не отпускали нас, малышей, ни на шаг. Меня опекала девочка из старшей группы, Галя Мирошниченко. Когда прилетали «гости» она меня, спящую, выносила в траншею, которую взрослые вырыли рядом с детдомом. Спустя несколько дней к нам прибавились воспитанники бобруйского детского дома. Они пришли к нам пешком, и, кажется, только тогда, увидев их лица, мы, малолетки, по-настоящему поняли, что происходит, впервые ощутили весь ужас войны. Фронт приближался. По ночам мы слышали канонаду, которая все нарастала. Днем над детдомом разгорались воздушные схватки между нашими самолетами и фашистскими. Как-то утром появился в столовой директор — в сапогах, гимнастерке с петлицами при нагане на поясе. Он торопился, был очень взволнован, чуть не плакал, прощаясь с нами. Сказал, что уходит на фронт бить проклятых фашистов, а директором нашим будет теперь одна из молодых воспитательниц.

Прошло еще дня два или три. Однажды под вечер нам приказали бегом отправляться на станцию. Там нас поспешно забросили в

теплушки, стали с подводы продукты грузить, а тут, как назло,— воздушный налет. Вой сирены, скрежет металла, прерывистые гудки паровозов, испуганный крик детворы — все смешалось, спуталось. В глазах потемнело, замутилось сознание, каждый волос — будто в голову игла ледяная.

Когда мы опомнились, поезд мчался уже по чистому полю.

С непривычки ли, а скорей от пережитого страха, в эту первую ночь на колесах мы уснуть не могли. Сбившись в тесную кучку, смотрели назад, где остались Пиревичи, родной наш детдом, и все удивлялись: давно закатилось солнце, над нами звездное небо, а край горизонта горит и горит. Наутро нам пояснили: бой за Пиревичи продолжался всю ночь.

Под бомбежками и пулеметным обстрелом добрались мы до Воронежа. Там нас ссадили. Сколько-то суток прожили в школе. Потом собрали несколько детских домов, таких же, как наш — обездомевших, и — в один эшелон.

Чем запомнилась та давняя наша дорога? Людским муравейником на вокзалах, неоглядным простором казахстанских степей, постоянным ощущением голода и жаждой — беспрерывной мучительной жаждой.

Так мы доехали до Ферганы. И вдруг, после всего, что испытали в дороге,— своим глазам не поверили: волшебная сказка! Нас встречали с цветами и фруктами. Нас обнимали и тут же задаривали необычайной красоты платками и тюбетейками. Какая-то женщина в бархатном узком жакете взяла меня за руку, хотела куда-то вести. Ее завернули обратно, чем, было видно, она огорчилась. Присев передо мною на корточки, добрая женщина стала меня уговаривать. Мне трудно было понять, о чем она говорит, но я согласно кивала и улыбалась.

Наконец, всех, кто прибыл, построили парами и повели в заранее для нас приготовленный дом отдыха. Там нас помыли, переодели во все чистое, а на следующий день на арбах — таких мы еще никогда не видали — повезли в соседний кишлак. Уж какой пир нам устроили — не рассказать! Рассадили нас всех на коврах, перед нами подносы, а на них чего только нет — и орехи, и яблоки, и лепешки горячие, и много такого — как называется, даже не знаем. А вокруг, за нашими спинами — множество женщин и девушек. Одни улыбаются, между собой пересмеиваются, у других почему-то слезы текут по щекам. После этого пира женщины нас разобрали, повели по домам, и опять угощенья, подарки, улыбки и слезы.

Чужбина... Сколько раз мы слышали это слово в дороге! Но нет, ни тогда, при нашем первом знакомстве с Узбекистаном, ни во все последующие годы, прожитые на этой доброй земле, мне никогда и ни в чем не пришлось ощутить на себе значения этого слова. Наоборот, с первых шагов по этой земле и по сегодняшний день я знаю и чувствую: здесь мой дом, моя вторая, любимая родина.

После карантинного срока нас перевели на постоянное жительство в ферганскую школу № 3, а занимались мы рядом — во второй средней школе. Я пошла в первый класс.

Через год наш детдом — по какой причине, не знаю — расформировали. Меня вместе с группой девчат-однолеток отправили в детдом № 4, где жили тогда москвичи. Директором был там Ершов — человек замечательный. Мне и сейчас все так кажется: мы для него не воспитанниками были, а каждый точно сын или дочь. В конце 43-го, а может, в 44-м он со всей своей группой вернулся в Москву. У нас директором стала Берта Азарьевна Платонова.

Вот в романах и фильмах мне часто потом доводилось читать или слышать: мол, это жена может быть и вторая, и третья — мать одна, и другой не бывает. Спорить не стану — чего же тут спорить! Только скажу: если выжила я и вот сижу, беседую с вами, то это лишь потому, что мне повезло, и, лишенная матери кровной, я знала заботу и ласку других матерей — пусть не кровных, зато духовно близких, родных. И первой из них была для меня мама Берта.

Вместе с мужем — учителем физики и математики — она жила в комнатенке прямо при нашем детдоме. Все силы, все время, всю душу свою она отдавала воспитанникам. За то, что, ни с чем не считаясь — ни со служебным, директорским достоинством своим, ни с самолюбием собственным,— она изо дня в день обивала пороги начальнических кабинетов, вырывая, вымаливая для нас какие-то дополнительные продукты, одежду, топливо на зиму или тетради и книги — для нас, для детей, и никогда для себя,— ее прозвали цыганкой. Славная, добрая наша цыганка! Я помню о ней и сегодня, я и сегодня, как в те далекие годы, мысленно зову ее «мама».

Не было лент — Берта Азарьевна где-то выцыганивала разноцветный лоскут, сама кроила, сшивала из него нарядные ленты, сама заплетала их нам в косички. Она учила нас вышивать. Она пробудила в нас любовь к книге. В суровые годы войны мы от нее получили первые уроки оптимизма и жизнелюбия, веры в людей и в себя, того, что я бы назвала жизнеустойчивостью, жизнеупорством,— способностью, не падая духом, не хныкая и не впадая в уныние, противостоять невзгодам, лишениям и трудностям,— те уроки, которые всем нам, ну а мне так в особенности, немало пригодились потом.

Но пусть вам не кажется, будто жизнь в детдоме в годы войны — сплошная идиллия. Это была далеко не идиллия. Утром — занятия в школе, после обеда — колхозное поле или подсобное наше хозяйство, под вечер — выступления в госпиталях. Пели, плясали, читали стихи. Как мне вспоминается, раненые всегда были искренне рады нам, улыбались довольные, зазывали еще. А у нас от усталости, недоедания, истощения общего голова, бывало, кружится, ноги подкашиваются. Но и мы улыбаемся, мы тоже очень довольны, что наши безыскусные танцы и декламация просветляют лица бойцов, хоть на малое время отгоняют от них тяжелые думы. По темным улицам, к этому часу уже обычно безлюдным, мы возвращаемся в детский дом и — хочешь не хочешь — садимся делать уроки. А назавтра опять то же самое.

Не помню, с чего началось — стали ноги у меня опухать, через день в ознобе трясусь. Малярия. Лечили, лечили — нет, не проходит.

Берта Азарьевна то одного, то другого врача приведет, наконец, немало трудов положив, раздобыла путевку в детсанаторий, сама же меня отвезла. Полежала я там, малярия прошла, через месяц вернулась в детдом. И опять, как и все,— занятия, в поле, по госпиталям.

Но пришел и на нашу улицу праздник. Никогда не забуду, как повязав пионерские галстуки, разодев по-нарядному, нас посадили в машину и повезли по городу. А в городе — толпы счастливых людей, духовые оркестры, песни и возгласы, смех и плач вперемежку. Победа! Победа! Грузовик наш застрял, к нам потянулись десятки рук, схватили, понесли, стали подбрасывать в воздух. Кто-то надел на меня пилотку со звездочкой. Усатый солдат посадил на плечо, а сам кружится, приплясывает.

Мы вернулись домой уже затемно и, лежа в постелях, долго, чуть не до самого рассвета, говорили о том, что все дурное и страшное теперь позади, что теперь и для нас наступит новая светлая жизнь, мечтали о будущем, каким оно будет, какими мы сами окажемся в нем.

Как видите, до этого времени, до победного мая 1945 года, судьба Евы Кашуро по сути ничем не разнилась от тысяч других, ей подобных. И отчего же не думать, что, не случись непредвидимое, она, так же как все подруги ее, как сотни и тысячи повзрослевших воспитанников осевших в Узбекистане детских домов, пошла бы учиться в ремесленное училище, техникум, а может, и в вуз, чтоб в положенный срок, закончив его, стать рабочей, врачом, педагогом или научным работником? Но беда уже нависала над судьбой этой девочки, болью и злом вошла в ее жизнь.

Поначалу ей думалось: неудобство в колене оттого, что, наверно, ушиблась, перетерпит — пройдет. Грела ногу на солнце, клала мазь, бинтовала. Боль, однако, не унималась — с каждым днем становилась все более острой, пронизала всю ногу. Ева уже и ступить на нее не могла. Крепилась, молчала, а все же пришлось открыться Берте Азарьевне. Та — к врачам, в поликлинику, не хочет верить диагнозу. А диагноз — как приговор: костный туберкулез.

Через месяц после Дня Победы, в июне 1945 года, детский дом провожал Евангелину в Коканд. Она улыбалась, шутила, обещала к началу занятий вернуться, просила писать.

Закованная в гипс, только голова да руки свободны, неподвижная и беспомощная, она пролежала в постели пять лет. Мучительно долгих и страшных пять лет.

Знала ли Ева, что болезнь отступится и настанет тот день, когда ей позволят, когда сумеет она подняться с постели, встать на ноги и дойти до порога. Знала? Нет, не знала — надеялась. И эту надежду, даже уверенность ей внушала Ревекка Самойловна Диментман — ее врач, ее друг, ее мать.

— Она никогда — я не помню такого — не давала мне повода почувствовать себя несчастной, потерянной, жалкой. Наоборот: относилась ко мне даже строго и требовательно, внушала, что я очень сильная, мужественная, и если случалось (а такое — чего же таить,— такое случалось) я падала духом, приходила в уныние, если, бывало,

задушит тоска, она присядет ко мне, возьмет мою руку и так со мною беседует, такие находит слова, что в душе у меня просветляется, и я улыбаюсь и снова надеюсь и верю в свое воскресение. Появляясь в палате, Ревекка Самойловна никогда, сколько помню, не произносила дежурную фразу, тысячи-тысячи раз слышанную мной от врачей: «Ну, как мы себя чувствуем, родная, как наше здоровье?» Она начинала с другого: «Как уроки? Что получила по алгебре? Молодец, молодец, профессором будешь!»

Хочу пояснить: в больнице нас не только лечили — мы продолжали учиться по общей школьной программе и по уровню знаний не отставали от здоровых детей. В 50-м году, когда выписывали, я была уже в 9-м классе. Но к этому времени Ревекка Самойловна с больницей уже распрощалась — вернулась к себе в Евпаторию.

В промозглый осенний день в поношенном платье и в кофте с чужого плеча (из той одежды, в которой явилась в больницу пять лет назад, она давно уже выросла; новая, по росту и стати, откуда ж в больнице возьмется? Собрали с бору по сосенке), на костылях и с торбой, набитой учебниками, Ева ступила на ферганский вокзал. Куда ей было идти, где приткнуться хотя бы на время? По знакомой дороге направилась к детскому дому, откуда в 45-м так тепло и сердечно ее провожали. Но дом оказался чужим: Берта Азарьевна вскоре после войны вернулась на родину, разъехались, разошлись кто куда воспитатели, знавшие Еву, никого не осталось из прежних воспитанников. Еве сказали: «Понимаем и очень сочувствуем, а принять в детский дом никак не можем: до пятнадцати, ну до шестнадцати в крайности, держим, а тебе восемнадцать. Иди в облоно».

Пока доплелась — уже сумерки. В приемной народ — не пробьешься. Примостилась в углу, ждет, то на дверь, то на темень в окне поглядит, и страх в душе подымается: а вдруг да скажут ей так же: «Уже восемнадцать? Для детского дома не подходишь по возрасту. Не наша забота». Где тогда она ночь перебудет?

Видно, тревога, бередившая душу, проступила у нее на лице. Иначе чем объяснить, что женщина, в ожидании приема поодаль сидевшая, приблизилась к Еве, спросила участливо:

— Ты что здесь томишься?

Она рассказала.

В кабинет они вошли уже вместе — Зинаида Павловна Глухова, директор кокандского дошкольного детского дома № 15, и бездомная Ева Кашуро.

Разговор был нелегким и, в общем, как то и предчувствовала Ева, совершенно бесплодным:

— Нельзя, невозможно. Да нам и за то, что шестнадцатилетних в детдомах еще держим, и за то достается, а тут восемнадцать! Жалко, сочувствую, а помочь — сами видите — ничем не могу.

— Что же делать?— не отступала, как за родную, просила Зинаида Павловна.— Тут ведь случай особый.

— Понимаю — особый. Потому и решать его нужно не здесь, а на уровне высшем, особом — в Министерстве, в Ташкенте.

Так, ни с чем, и ушли они вместе. Постояли на улице. Ева, все это время молчавшая, дрогнувшим голосом, едва слышно сказала:

— Спасибо. Наверно, пойду.

— Куда ж ты пойдешь?

— Не знаю...

Опять помолчали: Ева — уставившись в землю, Зинаида Павловна — сосредоточенно разглядывая ее склоненную голову в ветхом платочке, приподнятые костылями и оттого прямоугольные плечи, ее затянутую шиной левую ногу. Через минуту Зинаида Павловна сказала решительно:

— Ну, довольно. Поедешь со мной.

Меньше суток прошло с того часа, как Ева распрощалась с кокандским вокзалом, и вот он опять перед ней, и хоть улицы этого города ей совсем незнакомы — что увидишь из окна больничной палаты! — а чувство все же такое, будто вернулась домой. Впрочем, дома не было, дом еще только предстояло найти. Но заботу об этом взяла теперь на себя Зинаида Павловна.

Всю дорогу от Ферганы до Коканда она про себя размышляла над тем, где бы и как пристроить бездомную девушку. Конечно, проще всего было б зачислить ее в детский дом, которым сама и заведовала. Но если даже в обычном, школьном детдоме пребывание восемнадцатилетней считалось бы противозаконным, то что говорить о ее зачислении в дошкольный детдом!

К моменту, когда поезд приближался к Коканду, решенье созрело: прямо с вокзала везти свою подопечную в 9-й школьный детдом, к Павлу Михайловичу Бондаренко. Душевные качества этого человека — любовь его к детям, его чуткость, отзывчивость на людскую беду, с одной стороны, его смелость, решительность, умение отстоять свою правду перед начальством даже самого высокого ранга, с другой,— все это вместе внушало Зинаиде Павловне большие надежды. И она не ошиблась.

Узнав из рассказа Зинаиды Павловны историю Евы Кашуро, побеседовав с нею самой, Павел Михайлович — будь что будет — решился: собственной директорской властью принял Кашуро в детский дом, зачислил в старшую группу.

Нужно ль описывать, какой комплекс чувств — угнетающих, тяжких — должна была испытать на первых порах эта великовозрастная воспитанница, оказавшись среди детворы, на равных с нею началах, физически и душевно скованная? Не преодоленный на самой же ранней стадии, этот комплекс мог бы привести к глубокому отчуждению Евы от всего коллектива ребят, к разрыву внутренних связей между ней и ее окружением, к душевному одиночеству, трагическому для человека вообще, в любой ситуации, в ее же — стократно. К счастью, к великому счастью, этого не случилось. Как-то очень скоро и очень естественно, без каких-либо нарочных стараний с той или другой стороны Ева вошла в коллектив и, несмотря на разницу в возрасте, стала «своей», для многих — подругой, для кого-то старшей сестрой. Стараюсь понять, разобраться: в чем причина того, что этот процесс, чреватый многими сложностями, свершился так скоро и безболезненно.

Старый педагог и опытный воспитатель Зинаида Павловна Глухова считает: открытый, безгранично доверчивый к людям характер Евы Кашуро — характер, сформированный добром и душевной чуткостью окружающих, которые всегда ей сопутствовали, которым, без преувеличения можно сказать, она обязана всей своей жизнью. Не познавшая зла, она и предполагать его не могла. Вот откуда эта открытость, готовность к душевным контактам и связям.

Ева Кашуро объясняет иначе:

— Сама удивляюсь, чем заслужила такую расположенность и дружбу ребят, но встретили они меня так, будто знают давно и даже вроде им меня не хватало. Я многим обязана им, моим подругам и младшим сестренкам — Алтыной Султановой, которая, когда меня в скором времени в изолятор уложили, перетащила туда и свою кровать, целый год, пока лежала я там, ухаживала за мной, не давала скучать (сейчас она в Бухаре, техник-нефтяник, мать троих, совсем уже взрослых, детей), Алле Хабибуллиной (теперь она врач-терапевт), Софе Куриди, Розе Чиляковой (тоже стали врачами), Миле Бруевич (ныне научный работник), Лене Латыповой, Марине Кособаповой, Миле Репиковой, Айше Хакимовой, Розе Мирзитдиновой, Мане Махмудовой и многим другим бывшим воспитанницам нашего детского дома. Они помогали мне заниматься, когда, уложенная в изолятор, я не могла ходить в школу. С благодарностью я вспоминаю и школьных своих учителей — тех, кто изо дня в день приходил ко мне, чтоб объяснить урок, проверить домашнее задание, а иногда и просто так — по душам со мной побеседовать. Вспоминаю директора школы Марию Ивановну Гольцову, учительницу немецкого языка Валентину Илларионовну Самойлову... Да разве всех назовешь?

Десятый класс Ева заканчивала уже в больнице: паралич обеих ног. Опять неподвижность. Опять гипсовый панцирь.

— Сказать по правде, думала — все, конец, не подымусь уже больше.

Два года. Целых два года. В 53-м Евгения Григорьевна Данилова — врач кокандского костнотуберкулезного санатория — начала учить Еву сидеть, передвигаться, ходить. Тогда еще совсем молоденькая, резвая медсестра Зина Чеснокова шутила, подбадривала:

— Ну, ступай, ступай, не ленись, а то привыкла — на руках тебя носят!

Но, наверно, не одна медицина, не только забота врачей и сестер снова поставили Еву на ноги. Было что-то еще — тот бесценный, ничем не заменимый бальзам, который часто спасает больного, когда прочие, самоновейшие средства уже бессильны и бесполезны. Этот бальзам — тепло человеческих душ.

— Чуть не каждый день ко мне приходили подружки из детского дома. Придут, все новости наши домашние, школьные вывалят — и что на уроке случилось, и куда в воскресенье ходили, и книгу какую достали... О книгах, о том, что значили они для меня,— об этом особо. Читала я много, и тогда мне казалось — совсем беспорядочно, что под руку попадет. Теперь понимаю, что в чтении моем, о котором

заботилась Зинаида Павловна,— родная моя, она и тогда опекала меня, как будто я ей кровная дочь,— в этом чтении была и система, и скрытая цель. Она подбирала книги обдуманно — такие, где действуют личности сильные, волевые и мужественные, способные превозмочь невозможное, подняться над обстоятельствами и, кажется, над самими собой. Поверьте, я говорю откровенно: если тогда, в те черные дни, я не смирилась с губительной мыслью, что это конец, не опустилась душевно и выстояла, то не последнюю роль здесь сыграли и Павел Корчагин, и Алексей Маресьев, и лучшие герои Джека Лондона. Быть может, именно то прямое, решающее влияние, какое оказали на мою судьбу книги, литература, и определили мой выбор, когда после выписки из больницы передо мною встал вопрос, как жить дальше.

Нетрудно понять душевное состояние Евы, когда в двадцать один год она снова стала воспитанницей 9-го детского дома. Это состояние усугубилось, дошло до пределов отчаяния после встречи с бухгалтером этого детского дома. Не осмелившись впрямую пойти против приказа директора о зачислении Евы в детдом, он утешился тем, что, оформляя дела, бросил Еве язвительно:

— И не стыдно... До каких же пор будешь у нас на шее сидеть!.. Иждивенка!

В эту ночь Ева уже не уснула. Слова, бухгалтером сказанные, нанесли ей глубокую рану. Они снова и снова звучали в ее воспаленном мозгу, жгущим ядом разлились в груди. Теперь уже ей начинало казаться, будто тот же вопрос, из деликатности только не высказанный, читался в глазах всех сотрудников, всех подруг — всех, кто днем встречал ее из больницы. Дармоедка, обуза, всем досаждающая, надоевшая всем, никому не потребная — зачем, для чего это длить? Подняться... Рыдания рвались наружу. Но нет, нельзя, невозможно — справа и слева спят девчата, разревешься — проснутся.

Убитая горем, беспомощная, в последнем, рвущем душу отчаянии Ева лежала неподвижно и тихо, а горькие, едкие слезы лились и лились у нее по щекам.

Она поднялась еще до рассвета, неслышно вышла на улицу, побрела мимо приземистых, угрюмых домов. В одном из них — наверно, уютном и теплом — спал безмятежно бухгалтер детдома, и снилось ему, наверно, что-то воздушное, сладкое.

Где провела она этот день, куда ходила, что ела, повстречалась ли с кем — этого Ева не помнит. К вечеру, сама не ведая, как и зачем, оказалась в доме Зинаиды Павловны.

О том ночном разговоре, о том, как сумела хозяйка вернуть человека к жизни, ни Зинаида Павловна, ни Ева говорить не хотят, да, честно сказать, и выпытывать было неловко. Известно, однако, что следующим днем Кашуро опять появилась в детдоме и хотя какое-то время еще оставалась молчаливой и замкнутой, но это снова была все та же открытая, добрая, как всегда жизнерадостная Ева Кашуро. Она старалась быть полезной и нужной — помогала ребятам в занятиях, подсобляла на кухне, а случалось, уйдет воспита-

тель, сама управлялась и с младшей, и даже со старшей группами. В свободный же час Ева сидела за книгами — что-то упорно учила, учила со злостью и яростью. Летом 1955 года она подала документы в Кокандский пединститут и, сдав экзамены, стала студенткой факультета языка и литературы. Так, пусть не прямо, так косвенно, приоткрылось и стало понятно, о чем говорили и к каким решениям пришли в ту бессонную ночь Зинаида Павловна и ее на грани стоявшая гостья. Это ясно, об этом и расспрашивать лишне. Неясно другое: почему же педагогический, откуда вдруг тяга к языку и литературе?

— *Не скрою: первым желанием моим было идти в медицинский. Откуда это желание, догадаться, конечно, нетрудно. Но, подумав, решила: при моем-то недуге какой из меня будет врач? Пришлось отказаться. А дальше решение вся моя жизнь подсказала, иначе и быть не могло. Работа с детьми — потому что мне очень хотелось, я просто считала себя обязанной на добро, которого столько видала от своих воспитателей, если простится мне громкое слово, на котором взросла,— ответить на это таким же, а смогу, так и большим добром. К тому же и опыт какой-то у меня уже был, а с ним и уверенность, что это дело мое, что детям не буду чужая. Ну, а то, что на языке и литературе остановила свой выбор, тоже понятно: не меня ведь одну спасли и поставили на ноги — не только буквально — хорошие книги. В них великая сила, и открыть ей дорогу к ребячьему сердцу — разве малое дело!*

Ева училась успешно и рьяно. Помогала в детдоме. И, может быть, так, без всяких эксцессов, она и прошла бы все курсы, но вдруг среди ясного неба блеснула грозная молния и грянул административный гром. Молния явилась в лице ревизора. Громовой эффект произвел его акт. Преступление было раскрыто во всей очевидности: в детдоме под видом воспитанницы содержится 25-летняя женщина. Ревизор жаждал крови: строгого наказания директора и крупного денежного начета на него, немедленного изгнания из детдома Евангелины Кашуро.

Павел Михайлович делал попытки урезонить строгого блюстителя порядка и дисциплины, разъяснить ему, кто такая Евангелина Кашуро и почему до сих пор числится она воспитанницей детского дома. Но все было тщетно. Как тщетными оказались усилия директора сохранить всю историю эту с ревизором и актом, с начетом и выговором в тайне от Евы, оберечь ее от новой и, как было понятно, очень острой душевной травмы. Но тут уж постарался бухгалтер. И каким торжеством в эти дни сияла его румяная, сытая физиономия!

На этот раз потрясение было еще сильнее и глубже. И снова больница. Снова два года.

— *Не знаю, что было б со мной, если б не чуткие, милые, добрые люди. Наступали минуты, когда уже не было больше душевных сил бороться и жить. Учиться, заниматься — зачем?— какой в этом смысл при моем положении? Закрывала глаза, часами лежала без мысли, в какой-то туманной дремоте. Из этого состояния часто выводил меня Ариф Туракулович Туракулов — наш, покойный уже, преподаватель узбекского языка и литературы. Потом он читал у нас*

и сравнительную грамматику. Растолкает, бывало, накричит: «Все спите и спите? А я вот зачет пришел у вас принимать. Вы готовы?» Какое уж там — не до сравнительной грамматики мне — не учила, даже в конспект не заглядывала. Сердится, грозит со стипендии снять, из института отчислить. А сам, я вижу, за меня весь в тревоге, переживает, чем помочь, не придумает. Видно, он и с ректором обо мне говорил. Явился в больницу и ректор — Ином Расулович Расулов (теперь он профессор, доктор наук), долго со мною беседовал, увещевал, стыдил, взывал к моей совести. А Тамара Пономарева и Полина Тайлахиди — мои подруги-сокурсницы — тащат конспекты, учебники, чуть не насильно заставляют меня заниматься, откажусь — сядут рядом, начинается чтение вслух. Словом, общими силами и на этот раз как-то вытащили меня из гроба на свет. Понемногу собралась, оправилась, кризис, можно сказать, миновал.

В 1959 году Ева вернулась в детдом. На следующий год она закончила институт и в возрасте двадцати восьми лет превратилась из воспитанницы детского дома № 9 в его педагога-воспитателя. В этом доме — теперь это школа-интернат для детей с ослабленным зрением — Евангелина Андреевна Кашуро работает и по сегодняшний день. В 1963 году ее старая мама Зинаида Павловна Глухова — в ту пору депутат Кокандского горсовета — выхлопотала ей квартиру. Каждое лето Евангелина Андреевна едет лечиться в Крым, в Евпаторию, к другой своей маме — Ревекке Самойловне Диментман. Теперь у Евы Андреевны свои ученики и воспитанники — ее дети. И есть у нее за душой, что передать им и чему научить.

Что же и кто в конечном итоге спас эту жизнь?

— Оптимизм, жизнелюбие, душевная стойкость этой натуры,— в который уж раз повторяет Зинаида Павловна.

— Люди, которые меня окружали всю жизнь, заботились обо мне, будто я им родная, воспитали во мне оптимизм, жизнелюбие, душевную стойкость,— утверждает Евангелина Андреевна и под конец признается: — Страшно подумать, что было б со мной, родись я в какой-то другой, не нашей стране. Ведь могла бы?

Да, родиться могла. Вот выжить — едва ли.

«ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!»

Вся эта книга — о великой душевной заботе, какую в годы войны проявили о детях-сиротах взрослые люди.

Несколько слов в подтверждение истины, что добро добром отзывается,— о детской помощи взрослым, о скромном, пусть даже очень скромном по валу, зато бесценном по смыслу, по нравственному своему содержанию вкладе детдомовцев в священное дело Победы.

Спустя тридцать лет Александра Алексеевна Мирошникова вспоминает 18 марта 1947 года как один из самых светлых, самых

значительных дней своей жизни. В этот день ей — тогда еще Киселевой,— ее подругам и однокашницам Гане Маркевич, Зое Медведевой, Зине Безымянной и Вале Варенниковой — воспитанницам папского детского дома — вручили медали «За доблестный труд в Великую Отечественную войну 1941 — 1945 годов». В 41—45-м годах девочкам было 9—13 лет. Каким же доблестным трудом заслужили они, совсем еще дети, эту награду?

Александра Мирошникова отвечает:

— Приехали мы в декабре 41-го, обжились, в школу пошли, а весной, в апреле примерно, нас собрали на митинг: мужчины на фронте, на хозяйстве остались одни только женщины, старики маломощные да мы, мальчишки-девчонки. Наша задача — учиться получше и работать для фронта. Агитировать нас не пришлось: хоть и малые были, а все уже понимали — война, она быстро научит. Послали нас на прополку хлопчатника. С утра, значит, в поле, после обеда — занятия. Работали без выходных. Выходные да праздники — как Победы добьемся. Чего говорить — уставали, конечно. Зато когда видали плакат, что тогда глядел на тебя отовсюду,— «Что ты сделал для фронта?» — глаз виновато не отводили, не стыдились своего малолетства... Росли мы — росло наше мастерство по выращиванию и уборке хлопка. Некоторые наши воспитанники до того наловчились — к обеду по 40—50 килограммов собирали. Это в 10—13 лет. Осенью курак обдирали, корчевали гузапаю — одним словом, во все сезоны трудились. Зато какая же радость была, когда нам сказали, что трудодни, которые мы заработали, на нужды фронта переводом отправлены!

Как сообщала тогда газета «Правда Востока», за ноябрь — декабрь 1941 года Центральный детский эвакопункт Наркомпроса УзССР направил на работу и учебу более шести тысяч ребят. Около трех тысяч подростков направлены в школы ФЗО и железнодорожные училища, где они получат квалификацию слесарей, токарей, фрезеровщиков, строителей. Значительная часть подростков работает на предприятиях промышленных наркоматов и промысловых артелях, многие учатся в МТС Наркомзема и в мастерских Наркомсовхозов, готовясь стать трактористами и комбайнерами. Более полутора тысяч подростков принято колхозами Узбекистана. С исключительной заботливостью отнеслись к эвакуированным подросткам артели ташкентского Текстильшвейсоюза, предприятия облместпрома и горместпрома. Ребят обули, одели, разместили в общежитиях, создали им все условия для нормальной учебы и работы.

В феврале 1942 года председатель колхоза имени Сталина Наманганского района М. Насретдинов, секретарь парторганизации М. Убайдуллаев, колхозники М. Ишанов, М. Якубова, А. Тохтабаева, А. Раджапов на страницах той же газеты делились своим опытом устройства эвакуированных детей и подростков:

«Правление колхоза оборудовало несколько общежитий для детей, купило кровати, столы, зимнюю одежду. В первой партии к нам прибыли 23 подростка. Они принимают активное участие в сельскохозяйственных работах. Многие обучаются тракторному делу.

Зина Яржинская, Дмитрий Евнис и другие работают в лаборатории при элитном хозяйстве. Жора Евнис учится на механика на колхозной электростанции. В кузнице, на фермах, в поле — везде ребята приобщаются к труду. Недавно состоялось колхозное собрание, посвященное вопросу воспитания эвакуированных детей. Речи колхозников сводились к одному: мы должны воспитать ребят, как своих родных».

А теперь о тех же событиях с другой точки зрения — с точки зрения самих тогдашних подростков.

Лидия Васильевна Буракова — в годы войны Ананченко Лидия Григорьевна:

— *До войны я жила в детском доме Новопражского района, Кировоградской области. О том, как эвакуировались, до сих пор, как вспомню, так ужас берет. Только представьте: дети — мы, кто постарше, и совсем малыши — шли пешком от Кировограда аж до самой Ростовской области. Сюда повернем, нам кричат: вы куда? К немцам в зубы хотите?! Мы в другую сторону шарахнемся — нам опять то же самое. А с неба свинцовый дождь поливает. Кошмар. Несколько месяцев прожили мы в хуторе Калиновка под Ростовом, а летом 42-го опять пешком, под бомбежками, под воздушным обстрелом полуживые добрались мы до Каспийского моря. В Махачкале на пароход посадили и — в Красноводск. Довезли до Ташкента, две недели продержали в карантинном детдоме, распределение. Малышей в детдома. Старших — на выбор: фабрика «Красная заря», кенафная фабрика, текстилькомбинат. Я еще с тремя своими подругами в колхоз попросилась. Направили нас в Ферганскую область, Кувинский район, колхоз «Коммунизм». Председатель там был душа-человек. Дал нам чистую комнату, топчан, матрацы, приодел нас, оборвышей. Там и начали мы работать: хлопок сажали, пшеницу косили, собирали фрукты, копали морковь, кур разводили — словом, что подоспеет, то и делаем. Потом как-то раз председатель нас кликнул: так нельзя, говорит, к постоянному месту, дочки, вас, говорит, прикреплю. С тех пор одна из нас стала работать в пекарне, другую в ясли направили, а я при агрономе писарем состояла. В общем, хорошие люди были у нас в кишлаке. Спасибо им сердечное и низкий поклон — председателю, агроному, завхозу, апе — жене председательской. Я у них в доме как своя, как родная была... Потом всех нас, девчат, в Фергану на текстильную фабрику перевели. Работа там была интересная, а главное — нужная: ткали ремни к парашютам. В 45-м, после войны, переехала я в Ташкент, где и живу до сих пор. Вместе с мужем работаем на заводе. Сын у нас уже взрослый. Много лет миновало, а забыть про войну не могу и — не скрою — горжусь: хоть девчонкой была, однако и моя капля есть в том море героизма народного, что затопило врага.*

«На Ташкентский текстильный комбинат я попала в сентябре 1941 года, будучи эвакуированной из Ленинграда вместе с рядом работников ниточной фабрики комбината имени Кирова, где я работала зав. отделом производственного обучения рабочих,— пишет из Ленинграда Лидия Давидовна Гольдман.— *Ниточное производство, существовавшее в довоенные годы в Ленинграде и Иванове,*

в связи с военным положением находилось под угрозой, и вопросу быстрейшего выпуска ниточных изделий в Ташкенте придавалось особое значение. Под ниточную фабрику были отданы складские помещения текстилькомбината, и, несмотря на холода и непогоду, мы тут же начали монтаж оборудования, прибывшего из Ленинграда. Работали днем и ночью, но чем быстрее продвигалась наша работа, тем острее вставал вопрос: а кто будет работать на этих станках, где взять кадры?..»

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВНАРКОМА УзССР № 1575-р

1. Обязать Наркомпрос УзССР передать из детских домов Наркомпроса для работы на Ташкентском текстильном комбинате 300 девушек — воспитанниц детских домов в возрасте 14 лет и старше.

2. Предложить директору Ташкентского текстильного комбината обеспечить для девушек — воспитанниц детских домов необходимые жилищно-бытовые и производственные условия.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВНАРКОМА УзССР и ЦК КП(б)Уз

№ 1366

О ПРИЗЫВЕ МОЛОДЕЖИ В ШКОЛЫ ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКОГО ОБУЧЕНИЯ

...15. Обязать Госплан УзССР, Наркомторг УзССР и Наркомлегпром УзССР предусмотреть выделение необходимого количества кроя и мерного лоскута для обеспечения мобилизованной по настоящему призыву молодежи обувью и одеждой, согласно заявке Управления трудовых резервов при СНК УзССР.

«Рабочая сила — девушки в возрасте 14—18 лет, эвакуированные из разных мест нашей страны,— стала появляться у нас в октябре,— продолжает Лидия Давидовна.— *Ленинградские инструкторы быстро обучали их. Рабочий день длился двенадцать часов. Работали в две смены. Положение на фронте было тяжелым, и все мы жили одной мыслью: больше, лучше, все для победы!*

В начале 1942 года меня вызвали в партком комбината и назначили сначала заведующей учебной частью, а потом и директором школы ФЗУ и поммастеров. Роль и значение этой школы в условиях военного времени были огромны. Она должна была разом, в комплексе, как говорится сейчас, развязать целый узел не терпящих отлагательства вопросов: обеспечить жильем, одеждой, питанием, обучить и трудоустроить большое число безнадзорных эвакуированных подростков — с одной стороны, ускорить подготовку квалифицированных кадров прядильщиц, ткачей, электромонтеров, механиков и других специалистов, чтобы в кратчайшие сроки резко увеличить объем, расширить ассортимент продукции комбината,— с другой.

Учащиеся школы ФЗУ и помmастеров обеспечивались общежитием, обмундированием, трехразовым питанием, проходили теоретический и практический курс обучения. Школа имела свои самостоятельные участки, где подростки работали по шесть часов в день.

Были у нас, не стану скрывать, и ЧП. Одно особенно тяжкое. В середине 43-го года прибыла к нам партия несовершеннолетних правонарушителей. Строгий порядок, дисциплина, высокая требовательность, которые диктовались условиями военного времени,— все это было им непривычно, и однажды, наказанные за какую-то провинность, они подожгли деревянный спортзал, в котором на двухъярусных нарах размещалось сто только что прибывших девушек. Общими силами пожар погасили, но проводка испортилась и на несколько дней мы остались без света, постель и одежда промокли. Ребята создали бригады порядка. Особенно запомнилась мне в той критической ситуации Галя Коротченко из Киева — дочь партизана, секретарь комсомольской организации школы. Настоящий вожак коллектива, она спокойно, без паники собрала всех девушек в единое целое, своей энергией, жизнерадостностью, целеустремленностью помогла установить в нашей школе ту особую атмосферу, при которой и труд становится легче, и жизнь веселей. С любовью вспоминаю я также замечательных девушек, прибывших к нам из керمининского детского дома,— Раису Цветкову, Олю Гайворонскую, Надю Михееву. В 1944 году я была отозвана в Ленинград, и как сложилась их жизнь в дальнейшем, где теперь эти девушки, не знаю. А как бы хотелось!..»

Надя Михеева? Это имя я, кажется, где-то встречал. Да-да, в архиве хранится письмо от Ушаковой-Михеевой из Целинограда, по-моему. Да вот оно, письмо от Надежды Егоровны:

«Я родилась в 1927 или 1929 году в Донецке, воспитывалась в Константиновском детском доме той же области. Осенью 41-го наш детдом был эвакуирован в Кермине и здесь объединен с Сумским детским домом. Осенью 42-го года нас, 31 девочку старшего возраста, отправили на ташкентский текстилькомбинат. Обучалась я на ткачиху. Сначала работала на 2-х станках, под конец — на 48-ми. До сих пор с глубоким уважением вспоминаю наших воспитателей и наставников по учебному комбинату, своих тогдашних подруг.

Закончив 7 классов вечерней школы, я в 1950 году поступила в ташкентский гидрометтехникум. В 1954-м получила диплом и была направлена инженером-метеорологом в город Уштобе, Талды-Курганской области. С 1963 года работаю инженером-метеорологом Целиноградской гидрометеообсерватории.

Раиса Цветкова, по-моему, и сейчас работает на Ташкентском текстилькомбинате. Там же, в Ташкенте, осталась и Оля Гайворонская».

А что же с теми подростками, которые учинили поджог? Их судили сами подростки. Несмотря на защитительные речи воспитателей — мол, оступились ребята, нужно дать им возможность исправиться, не приняв во внимание ни покаянные признания, ни просьбы о смягчении кары всех троих обвиняемых, товарищеский суд вынес

решение считать их саботажниками трудового фронта и как таковых с позором отчислить из школы, изгнать из своего коллектива. Что было делать, куда теперь устраивать этих подростков? Не отпускать же их в беспризорные. Набедокурившие подростки просили: если на фронт еще не годимся, отправляйте нас на завод, где не материю ткут, не нитки сучат — где оружие делают. Там покажем, какие мы саботажники! На том и порешили.

Воспоминания А. А. Федорова — начальника производства одного из военных предприятий Ташкента — относятся к осени 1943 года. Он пишет из Киева:

«Прошло уже около полугода, как этих подростков прислали к нам в цех, и вдруг — беда; остановлена сборка — из-за плохой лакировки внутренней поверхности корпусов, военпред забраковал целую партию мин. Цех весь заставлен этими минами и тарой для их упаковки. Работа стоит. Ребята, кто военпреда, кто снабженцев, костерят почем зря. Вася Степанов — один из тех, кого нам прислали с текстилькомбината, теперь уже бригадир — ходит по цеху, места себе не находит.

На следующий день пришел я в цех с радостной вестью: наши войска взяли Киев! В честь этой большой и долгожданной победы цех принял обязательство дать фронту сверх месячного плана еще пять партий нашей продукции.

Обязательство обязательством, а пока дело движется плохо. Одну за другой ребята пересматривают забракованные мины, чертыхаясь, подкрашивают их корпуса.

Эх,— вздохнул бригадир,— моя воля, так я бы этих снабженцев всех обрил под нулевку, как зэков, а из их шевелюр кисточек сколько б наделал. Ну разве этими — три волоска, и те от старости уже поседели,— разве ж этой плешью на палочке залакируешь как надо?! Опять военпред забракует.

Две недели уже я хожу к снабженцам за кисточками, а ответ у них тот же: «Война. Обходитесь, чем есть».

В который уж раз Вася просит меня:

— Отпустили бы в город, начальник. За часок обернусь. Ну, дозвольте. Такие кисточки будут — сами снабженцы побриться выпрашивать станут.

Я могу догадаться, какими путями хочет добыть бригадир эти кисточки, и, понятное дело, в просьбе отказываю. Но сам, наперед убежденный, что толку не будет, опять отправляюсь к снабженцам, оттуда, раздраженный новым отказом,— в заводоуправление.

Ходил я, должно быть, около часу. Возвращаюсь — скандал. Какие-то трое мужчин, горячась, потрясая пудовыми кулаками, разносят, чуть не колотить собираются моих подопечных. Что такое? Что еще приключилось? Постепенно все разъясняется: эти трое — извозчики, их обоз стоит сейчас во дворе перед цехом, приехали продукцию вывозить на товарную станцию, а шум оттого, что, покуда ходили они оформлять документы, кто-то хвосты их коням пообстричь ухитрился. Бригадир мой стоит — святая невинность.

— Вы остригли?— наседают извозчики.

Ребята помалкивают. А Вася за всех:

— Ну, чего привязались?— остригли, остригли! У нас что — парикмахерская? А вы поглядите — может, пока вы ходили, вашим коням еще и маникюр на передних копытах накрасили,— тоже мы виноваты?!

Немалых трудов стоило мне урезонить извозчиков. Когда ушли, вызвал я Васю.

— Твоя работа, севильский цирюльник?

Потупился, произнес виновато:

— Я ж не полностью, не совсем их отрезал — оставил чем им отмахиваться. Зато лакировочка будет — зеркальце чистое, сам военпред поглядит — на себя залюбуется!

— Как же ты мог? Это ж, знаешь, чего тебе будет?!

— Знаю: влетит. Зато фрицам влетит еще больше!

— Ну, вот что, Степанов, еще раз выкинешь какой-нибудь трюк — с бригадирства долой, на подсобную работу поставлю! Понятно?!

Степанов вздохнул:

— Теперь не скоро еще хвосты у них отрастут. Так что могу побожиться — не трону.

Поздно вечером цех представил и сдал военпреду всю партию ранее им забракованных мин».

Но работой для фронта, для победы над лютым врагом были заняты не только подростки и девушки старшего возраста — те, кого направляли на заводы, в колхозы, на стройки. Трудились для фронта и все до единого воспитанники детских домов, трудоустройству не подлежавшие. Об этом заботился Наркомпрос. Об этом заботилось правительство Узбекистана — его Совнарком, среди тысяч других неотложных, горящих, жизненно важных дел военного времени рассмотревший вопрос и 21 февраля 1944 года принявший специальное постановление «Об организации мастерских при школах и детдомах Наркомпроса УзССР». И это было не просто формальным знаком внимания к детям. Нет, Совнарком многократно и с предельной конкретностью снова и снова возвращается к этим вопросам, чтобы обеспечить создание производственных мастерских при каждом школьном детдоме практически, а для этого снабдить их станками и оборудованием, кадрами мастеров производственного обучения и сырьем. В подтверждение один лишь пример:

СОВНАРКОМ УзССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 208-р

Г. Ташкент **19 апреля 1944 года**

Разрешить Наркомтекстилю УзССР отпустить с Ферганского текстильного комбината на месте в г. Фергане Наркомпросу УзССР для ткацко-трикотажных мастерских детдомов пряжи 1 тонну.

Воспитанники детских домов собирают металлолом (особенно отличился ташкентский детдом № 6, его питомцы Урумбек Байтинбаев, Лида Стрельникова, Зоя Ярулина, Клава Лизунова), собирают лекарственные травы, шьют и отправляют на фронт рукавицы, кисеты, а самые маленькие — просто рисунки. В архиве ташкентского детдома № 9 сохранился треугольник со штемпелем полевой почты и датой — 27 августа 1942 года. Вот оно, это письмо, ставшее частицей нашей истории:

«Через четыре тысячи километров мы, бойцы роты связи Н-ской части, шлем вам наше красноармейское спасибо. Спасибо вам за хороший подарок. Мы чувствуем, что вышитые кисеты и платочки сделаны вами от всей души. Видно, что в эти подарки вложена ваша искренняя любовь к героической Красной Армии. Это нас еще сильней воодушевляет на битву с заклятым врагом».

Здесь же еще одно письмо — с Западного фронта, от бойца Щукина:

«Милый Вовочка! Спасибо за все — за посылку, за письмо, за твои рисунки, за твою любовь к нашей Родине, к нашей доблестной Красной Армии. Обещаем тебе, наш родной юный друг, бить беспощадно врага, героически защищать Родину, ваше счастливое детство. Вы, наши друзья, тоже помогаете нам громить фашистов. Ваши письма, рисунки, подарки подымают нас на новые и новые подвиги...»

Что говорить, и выращенные своими руками на подсобном хозяйстве различные фрукты и овощи, и продукция, произведенная в детдомовских мастерских самими воспитанниками, и собранный ими металлолом — по тем временам все это было каким-никаким, а подспорьем, еще одним грошем в напряженном военном бюджете. К тому же эта прибавка шла на пользу самим же детдомовцам. Однако, читая архивы, ведя продолжительные беседы с участниками «службы спасения детства», я убеждался и с каждым разом все больше, что и лишний грош в миллиардном бюджете и лишний продукт на столе у детдомовцев, сколь бы существенно это ни было,— не единственная, а может быть, и не главная цель, которая преследовалась организацией подсобных хозяйств, мастерских, различных производственных кружков и курсов в детских домах. Была и другая — педагогическая: трудовое воспитание детей, воспитание нравственное. Потому что одно от другого не оторвать, потому что одно другим обусловлено.

СУДЬБА МАЙИ БАРАНЮК

Это был один из последних успешных розысков Фриды Абрамовны Трнерс. История почти детективная. А судьба, о которой здесь речь,— вы увидите сами — далеко не стандартна и в каких-то моментах сложилась в порядке, обратном обычному.

Над широким Днестром, в зеленых Бендерах — районном центре Молдавии — жила семья Баранюк. Виктор Филиппович — электромеханик, многие годы проработавший в Одесском морском пароходстве. Майя Петровна, шестнадцать лет отслужившая в системе торговли, а теперь, после трех хирургических операций,— домохозяйка. Их дети — Олег, в ту пору солдат, и школьница Герта. В доме мир и достаток, совет да любовь. И только когда Виктор Филлиппович на долгие месяцы уходил в заграничное плавание, а от сына в положенный срок все нету и нету письма, на Майю Петровну нападала тоска. Она силилась вспомнить минувшее, свои детские годы, неволила память задачей хоть на миг, хоть в общих чертах высветить образы близких — отца или матери, сестры, а может, и брата. Ведь были они у нее, должны были быть. От страшного напряжения начинала болеть голова. Но нет, все напрасно: память молчала, и вместо осязаемых образов клубился густой, беспроглядный туман.

Порой, оставшись одна, Майя Петровна подолгу и пристально рассматривает в зеркале свое отражение: глаза — темно-карие, с продолговатым, восточного типа, разрезом, тяжелые, жесткие волосы цвета воронова крыла, широкие скулы, круглящие ее смуглое лицо. Нет, ошибиться нельзя,— она, конечно, узбечка, хоть в паспорте и значится «русская». Даже имя, что там же записано,— Масиба и фамилия, под которой жила она до замужества,— Турсунова — подтверждают эту догадку. Впрочем, фамилию эту она сама назвала, когда меняла в милиции паспорт. Долго думала, сомневалась тогда, как писать — Турсунова или Турсункулова. Решила — Турсунова. Так превратилась она из Луизы Варник, которой была по метрическому свидетельству и как ее звали в Радгенском детдоме, сначала в Масибу Турсунову, а затем и в Майю Петровну Баранюк.

Луиза Варник, она же Масиба Турсунова, она же Майя Петровна Баранюк — детективный роман. Различье лишь в том, что там, в детективном романе, зная и помня настоящее имя свое, человек скрывает его от других — здесь же и рад бы назваться собственным, истинным именем, да сам не знаешь его. А как же искать родню свою, близких, если даже настоящее имя свое и фамилия тебе неведомы в точности? Задача — за голову схватишься!

Но находят же люди родных (а через них и себя — свое настоящее имя, свое потерянное прошлое) по каким-то приметам, деталям, по клочкам и проблескам памяти! Что помнит она?

Было много детей. Большая семья? Или это уже было в детдоме? Потом, она помнит,— больница. Комната с тремя застекленными стенами — вероятно, веранда закрытая. Бульон с сухарями. Навсегда запечаталось в памяти слово — дизентерия. Должно быть, таков был диагноз.

Затем — как сквозь зыбкую мглу — какая-то женщина ведет ее за руку. Что за женщина? Когда и где это было? Ответа не сыщешь — провал. За провалом — детдом, как помнится ей, малышевский, дошкольный. Сначала младшая группа, потом она уже в средней. Значит, считает Майя Петровна, в этом детдоме была года два. Ясно запомнилось, как ночью однажды их строем повели на вокзал, посадили в

вагоны. В ту же ночь сошли на станции Каттакурган. Из этого следует: детдом, откуда везли, находился поблизости. Уже будучи взрослой, Майя Петровна смотрела по карте. Ближайший город от Каттакургана — Самарканд. Если правда, оттуда везли, выходит, она родилась где-то там, в окрестностях Самарканда.

На каттакурганском вокзале детей посадили в автобус и через город повезли в какой-то близлежащий кишлак. Там и находился детдом, в котором Майя Петровна прожила сколько-то месяцев, а может, и сколько-то лет. Ей и поныне отчетливо видится одноэтажное здание, большой чистый двор с неглубоким бассейном, в котором плескались воспитанники, и ухоженный сад. Отсюда впервые пошла она в школу.

Многое в памяти стерлось, пропало. Но о том, что именно здесь, в каттакурганском детдоме, узнала она о войне, о нападении фашистов,— в этом Майя Петровна не сомневается. Как это было? Сначала, помнит она, что-то такое слыхала от взрослых, а вскоре после переезда на новое место в детдоме как-то вдруг, неожиданно, сразу появилось много-много новых ребят. Как объясняли тогда воспитатели, они убежали от немцев. К одной из прибывших девочек Майя Петровна (хоть в то далекое время ей, вероятно, не было еще и десяти, я тем не менее вынужден называть ее именно так, потому что она сама не может сказать наверно и твердо, как ее звали в ту пору),— к одной из них Майя Петровна привязалась особо, с безоглядной доверчивостью и преданностью. Фамилии этой девочки Майя Петровна сегодня, конечно, не помнит. Но кажется ей, что та была старше и ростом побольше, говорила, что до войны жила в Бессарабии. Подружка замечательно пела какие-то не знакомые Майе Петровне заунывные, протяжные песни и все тосковала по дому, по маме, оставшейся там. Сердце маленькой Майи сжималось и ныло — ей тоже очень хотелось вернуться в тот дом, который тогда еще, по всей вероятности, зримо ей представлялся, к маме и папе. В вечерние сумерки, отдалившись от всех, девочки подолгу секретничали. И однажды решили: ехать на розыск дома и мамы, бежать из детдома! Что дома их в разных концах света и, значит, дорога к ним не может быть общей, что дом стоит на земле, которая сейчас в оккупации,— у одной и неизвестно где — у другой,— это их не заботило, эти резоны отступали и меркли перед страшной, пугающей мыслью, что для верности поиска им придется расстаться и каждой идти по своей, по особой дороге. Нет, только вместе, только не разлучаться!

Сговорившись, они за обедом и ужином не ели свой хлеб — за пазуху спрятали и, только стемнело, бежали из детского дома.

Побеги воспитанников из детских домов — домой, на поиски папы и мамы, которых, быть может, и в живых уже не было, на фронт, чтоб разом фашистов всех изничтожить,— такие побеги были в ту пору не редкость. Обычно они кончались тут же, на вокзальном перроне, в крайнем случае — в Ташкенте, Арыси, Актюбинске. Бежали, как правило, мальчики. Возможно, это обстоятельство как раз и поспособствовало подружкам. Помогло им и то, что какая-то сердобольная тетя, возвращавшаяся со своими детьми в Сталин-

град и проникшаяся жалостью к бедным сироткам, еще только они появились в теплушке, надежно взяла их под свое крыло и опеку. Во всяком случае девочки благополучно миновали и Ташкент, и Актюбинск, и даже Саратов. Что было потом, Майе Петровне вспоминается плохо. Все громче и громче стучали колеса, и этот беспрерывный, настойчивый стук отдавался в висках, оглушал, мутил взгляд и сознание. Проплывали какие-то тени. Они уплотнялись, нестерпимым страхом и тяжестью давили на грудь. Хоть бы уже рассвело! Но ночь не кончалась. Куда-то исчезла подруга. Пропала сердобольная тетя с детьми, которая всю дорогу кормила, поила, оберегала от всякого лиха. Расплываясь, двоясь, возникло внушившее ужас мужское лицо с огромными, навыкат, как у той стрекозы, похоже горящими глазами за стеклами. Она, кажется, вскрикнула и в тот же миг, сорвавшись, полетела в бездонную пропасть.

Что это было — дизентерия или тиф — Майя Петровна сейчас сказать затрудняется. Не знает она и того, как очутилась в больнице и сколько времени там пролежала. Уже в палате, когда вернулось сознание, от больных и раненых — были здесь и такие, таких даже больше — узнала, что находится в Борисоглебске. О подружке, о том, куда она подевалась, никто сказать ей не мог.

Ночью она пробудилась от гула и страшного грохота. В первый момент девчонке почудилось, будто опять она оказалась в той темной теплушке и снова теряет сознание. Кто-то схватил ее за руку, крикнул: «Бежим! Сейчас бомбить будет!» — и потянул за собой.

Из траншеи, вырытой тут же, в больничном дворе, Майя видала, как рыскает по темному небу прожекторный луч, как светящейся строчкой уносятся к звездам очереди трассирующих снарядов и пуль, как среди ночи разгорается в разных местах багровое зарево. Неподалеку — а ей тогда показалось, что рядом,— взорвалась тяжелая бомба. В испуге, не помня себя, она выскочила из траншеи и, в чем была, побежала.

— Куда?.. Вернись!.. Пропадешь ведь, безмозглая!.

Но она все бежала, бежала, чтоб только подальше, чтоб только не видеть, не слышать этого ужаса.

В больницу она уже не вернулась. Наутро какой-то мужик на повозке приметил ее у обочины тракта, что вился вдоль речки.

— Ты чья? Откудова будешь?— спросил он участливо.

— Ничья. Из больницы.

— А куда ж направление держишь?

— Не знаю.

— Где твой дом?

Мужик на минуту задумался, потом приказал:

— Ну-ка, залазь в карету мою. Довезу до людей.

По дороге он обо всем обстоятельно ее расспросил, а к полудню привез и оставил в детдоме. Как Майя узнала потом, это было Поворино.

Сколько она пробыла там, установить невозможно, никаких примет не осталось. Как-то раз позвала ее воспитательница и, указав на военного, а с ним молодую красивую женщину, что стояли в директорской комнате, сказала приветливо:

— Вот твои папа и мама. За тобою пришли.

Она не поверила. Она уже много слыхала о том, как чужие дяди и тети берут из детских домов к себе в сыновья или дочери. Но, взглянув на мужчину в шинели, с пистолетом на поясе, на женщину, присевшую перед нею на корточки, изобличать их в самозванстве не стала. Согласилась, пошла. Так она превратилась в Луизу, а фамилия была теперь у нее — Варник.

Майе Петровне запомнилось, как ласково, нежно к ней относился папа Миша, как ухаживала, кормила, чему-то настойчиво учила ее мама Ира. И папа и мама были врачами, как ей вспоминается, работали в госпитале. Очень скоро, однако, папа Миша куда-то исчез — не появлялся ни утром, ни вечером. Как предполагает теперь Майя Петровна, его перевели в другой госпиталь, судя по всему, полевой. Она так считает потому, что какое-то время спустя мама Ира получила бумагу о тяжелом ранении мужа, а потом и о смерти его. Луиза видала, как билась в рыданиях ее как-то враз постаревшая мама, помнит, как говорила кому-то, что теперь оставаться в тылу ей нельзя, невозможно и просила отправить ее туда, где погиб папа Миша. Она сама отвезла и сдала Луизу в детский дом под Воронежем, в Радгенском районе. Обещала вернуться, забрать ее после войны, но больше Луиза ее уже никогда не видала.

В этом детдоме Майя Петровна жила до шестнадцати лет, закончила восемь классов. Поскольку никаких документов у нее не имелось, а записи все были сделаны со слов приведшей ее мамы Иры, в паспорте, когда время пришло его получать, проставили так: Варник Луиза Михайловна, место рождения — Самарканд, год рождения — 1936-й. Самарканд — это она сказала сама, хотя вовсе уверена не была. А что до года рождения, так это заключение медэкспертизы.

В 1952 году Луиза вместе с другими подругами-одногодками была направлена на работу в Батуми. Много лет трудилась на чайных плантациях. Повзрослев, решила восстановить свое имя и при очередном обмене паспорта назвалась Масибой Петровной Турсуновой, хотя и на этот раз не стала бы клясться, что именно так нарекли ее при рождении. Не знала она и того, что нет у узбеков, к которым себя причисляла, имени Масиба — есть Насиба, что значит по-русски «судьба» или «участь». Но откуда ж, действительно, могла она, живя сначала в Воронеже, а затем на Кавказе, об этом узнать? На слух все одно: Насиба, Масиба, одним словом — Майя, что для русского уха привычней. Ну а отчество как же, откуда «Петровна»? А ниоткуда. Просто так понравилось, вот и взяла. Разве хуже других?

За время работы в Батуми Майя Петровна закончила вечернюю школу и, получив аттестат, поступила в Севастополе в кораблестроительный институт. На третьем курсе вышла замуж за Виктора, который закончил тогда мореходное училище. Вскоре по причинам, обычным для женщины, пришлось оставить учебу, к тому же и переезд на новое место — в Бендеры. Так и осталась с незаконченным высшим. Жалко, конечно, да теперь уж чего...

Временами сквозь сон прорываются в память Майи Петровны какие-то нерусские слова и целые фразы. В звучании их ей слышится что-то родное, знакомое с детства, а смысла их не улавливает. И тогда, пробудившись, она снова, в который уж раз, мучительно размышляет над тем, куда бы еще обратиться, в какие бы двери еще постучать, чтоб нашли и вернули ей прошлое.

Видя терзания жены, Виктор Филиппович порой утешал:

— Да брось ты искать прошлогоднего снега! Чего тебе в нем? Ну, узнаешь: не русская ты, а, правда узбечка, родилась не в Самаре, а в Самарканде,— ну, и что? Какая в том разница? Что переменится? Хватит, кончай! А то изводишь себя, да и нам глядеть на тебя — тоска забирает.

Но вопреки этим доводам, в общем, конечно, разумным и здравым, Майя Петровна продолжала писать и писать — в милицию, в Красный Крест, в редакции газет и на радио. Ответ был один: нет, не обнаружено, не представляется возможным. Однажды, просматривая центральные газеты, она натолкнулась на фамилию, какую когда-то носила сама,— М. Турсунов, заместитель Председателя Совета Министров, министр иностранных дел Узбекской ССР. Превозмогая неловкость, с горячей надеждой написала ему:

«...Обращается к Вам неизвестная Турсунова-Баранюк: помогите мне в розыске моих родных или родственников. ... Поскольку и я Турсунова (так во всяком случае мне кажется), решила задать Вам вопрос: не знаете ль Вы кого из Турсуновых, кто еще до войны потерял своего ребенка, а может, и сам по каким-то особым причинам сдал в дошкольный детдом в Самарканде или поблизости?».

И следом в подробностях, какие ей помнились, рассказывала в этом письме о своей необычной судьбе.

Нет, М. Турсунов таких однофамильцев не знал. Но письмо не оставило его равнодушным. С просьбой помочь «заявительнице» он переправил снятые копии в Министерство внутренних дел, Министерство просвещения УзССР, в Центральный Комитет республиканского Общества Красного Полумесяца. Это было в феврале 1971 года. К маю все розыски были закончены.

УПРАВЛЕНИЮ ДЕЛАМИ СОВЕТА МИНИСТРОВ УзССР
на Ваш №15-7-5 от 9-11-1971 г.

По поводу розыска родственников Турсуиовой-Бараиюк Масибы Министерство просвещеиия УзССР дало задаиие Самаркандскому облоно, Каттакургаискому районо и Каттакургаискому гороно проверить архивиые документы тех лет на предмет устаиовлеиия, в каком из детских домов Турсуиова Масиба воспитывалась.

Самаркаидский облоио и указаииые выше райгороио сообщили, что иигде в первичных списках Турсунова Масиба не зиачится, а поэтому разыскать ее родствеиников не представляется возможиым.

Первый зам. Министра
просвещеиия УзССР С. РОМАНОВ.

Такими же по сути были ответы из Министерства внутренних дел и Центрального Комитета Общества Красного Полумесяца Узбекистана. Казалось, на этом все возможности розыска были исчерпаны. Казалось, что завеса над тайной рождения и первых лет жизни Майи Петровны уже никогда не подымется. И в этот последний момент, когда дело пора уже было списывать в архив, кто-то вспомнил о ташкентской комиссии женщин-общественниц, бывших сотрудниц Наркомпроса республики, тех, кто в годы войны организовал службу спасения детства. С письмом познакомили Фриду Абрамовну Триерс.

С чего ей было начать? Да, конечно, с того же — со списков самаркандских и каттакурганских детских домов. Но легкое ль дело спустя тридцать лет найти эти списки! Уже в январе 1942 года в Самаркандской области было 20 детских домов и среди них эвакуированные полным составом из Никополя, два из Ворошиловграда, испанский детдом из Москвы. Но делать нечего — нужно.

О том, что означал перевод воспитанников дошкольного детского дома в близлежащий каттакурганский школьный детдом, Фриде Абрамовне, в годы войны работавшей в Управлении детских домов Наркомпроса республики, догадаться было нетрудно: освобождались места для лавиною хлынувших одиноких детей и воспитанников детских домов Белоруссии, Украины, западных областей Российской Федерации. В Каттакургане в то время было два детских дома: № 1 — по улице Советской, 3, директор Телевная Клавдия Федотовна, и № 2 — в Кумкурганском сельсовете, директор Ставицкая Екатерина Петровна. В каком же из них могла оказаться Масиба Турсунова? Больше оснований считать, во втором — ведь пишет же Майя Петровна, что везли их в детдом через город в какой-то близлежащий кишлак. Кумкурган, очевидно, и есть тот кишлак под Каттакурганом. Теперь предстояло самое сложное — разыскать список воспитанников этого детского дома военного времени.

Списков не было ни в архиве Минпроса республики, ни в областном, ни в Центральном республиканском архиве УзССР. Впрочем, это было известно уже по результатам (а верней — по отсутствию их) официального розыска. И вдруг счастливая мысль озарила Фриду Абрамовну: ведь с 9 мая 1942 года (так во всяком случае следует из книги приказов Наркомпроса республики) директором этого детского дома стала Наталия Павловна Крафт, та самая Наталия Павловна, которая — надеюсь, вы помните — в октябре 41-го года была организатором и первым начальником Центрального детского эвакопункта на ташкентском вокзале. Скорее, скорей к Наталии Павловне!

И вот в их дрожащих, нетерпеливых руках эти ветхие, от времени выцветшие странички из школьной тетради: «Список воспитанников детдома № 2 г. Каттакургана, Самаркандской области по состоянию на 25 марта 1942 г. «Бобелев Александр Степанович — 1930 года рождения, русский, место рожденья — Воронеж... Кофман Люба — 1928 года рождения, еврейка, место рождения — Румыния, Бухарест... Любимова София — 1931 года рождения, русская, место

рождения неизвестно...» И вот наконец: «№ 46. Турсунова Насиба — 1933 года рождения, узбечка, место рождения — Самарканд, поступила в данный детдом из самаркандского дошкольного детского дома № 1, где воспитывалась с 1939 года».

Не буду описывать, что испытали в эту минуту Фрида Абрамовна и Наталия Павловна,— вы представляете сами. Они вертели, разглядывали эти листки и, старые женщины, чуть не плясали. Но, в общем, ликовать было рано. Это было только начало.

Уже поостыв от первых, бурных восторгов, женщины стали прикидывать: что дала им эта находка, насколько приблизила к розыску родни или близких Насибы Турсуновой? По трезвому подсчету оказалось — немного. Собственно, она подтвердила, что девочка и в самом деле незадолго до начала войны была кем-то сдана в самаркандский дошкольный детдом, а потом, в конце 41-го или в первые месяцы 42-го, переведена в Каттакурган. Подтвердилась догадка Майи Петровны, что вышла она из узбекской семьи и что эта семья жила либо в самом Самарканде, либо где-то в окрестностях. Вносилась поправка в заключение медэкспертизы о возрасте Майи Петровны — с получением их письма она в одночасье станет старше на целых три года. Велика ли радость для женщины от такого сюрприза? И ладно бы она компенсировалась другими, добрыми сведениями, которых Майя Петровна ждет с таким нетерпением. Так нет же, о другом, о самом важном сообщать-то им нечего. К чему же и вовсе тогда человека тревожить? Решили в Бендеры пока не писать. Зато обратиться с ходатайством в самаркандские областные газеты, чтоб по письму Баранюк, по сведениям, что содержатся в нем, редакции б сделали статью или очерк. Авось да кто и откликнется...

Очерк Марди Нуриддинова «Свет далекой звезды» был опубликован в двух номерах — за 26 и 27 октября 1972 года — узбекской газеты «Ленин юлы». В русской газете «Ленинский путь» редакционный материал «Через годы...» появился 3 ноября. И в тот же день в редакции раздался телефонный звонок — звонила Карамат Самадовна Турсунова.

Об этом звонке, о том, что председатель колхоза «Иттифак» Иштыханского района, Самаркандской области Карамат Самадовна Турсунова предполагает — да нет, почти что уверена: Майя Баранюк — Масиба Турсунова из Бендер — ее родная сестра, Фриде Абрамовне сообщили немедленно. Первым желанием было — бежать на почту и скорей телеграмму в Молдавию: найдена ваша сестра, выезжайте! Однако сдержалась и, дабы уберечь от горьких разочарований и Майю Петровну и Карамат Самадовну, решила сначала все проверить, сопоставить и только тогда, убедившись уже окончательно, соединить потерявших друг друга сестер. Что помнит о детстве своем Масиба Турсунова, Фриде Абрамовне уже было известно. Теперь предстояло сравнить это с тем, что помнит другая, а та должна помнить больше — ведь старшая. И вместо фанфарной телеграммы в Бендеры пошло деловое письмо:

Уважаемая Масиба Петровна!

Сообщите, пожалуйста, дополнительно следующее: не сохранилось ли в Вашей памяти что-либо из самого раннего детства (еще до того, как Вы попали в детдом)? Не помните ли кого-нибудь из родных — сестер, братьев, родителей? Возможно, где-то в глубинах сохранились у Вас какие-то эпизоды, случаи, факты из жизни в родительском доме? Не было ли у Вас в детстве другого имени, кроме «Масиба»? При каких обстоятельствах Вы были сданы в детский дом (об этом, пожалуйста, как можно подробней), одна или с кем-то еще из сестер или братьев?

Срочно пришлите свои фотографии всех возрастов, особенно детские.

Пока ничего обещать Вам не можем, но будем стараться помочь.

Ф. Триерс

Письмо улетело в Бендеры, сама же Фрида Абрамовна, несмотря на болезни и возраст, отправилась поездом в Самарканд на личную встречу со старшей Турсуновой.

Вот рассказ, услышанный ею от Карамат Самадовны.

Она родилась в кишлаке Зарбанд, неподалеку от Самарканда в 1927 году. Семья была бедная — по нашим нынешним временам даже представить себе невозможно, как жили, чем приходилось довольствоваться. Отец, как помнит она по разговорам, что слышала в доме, всю свою молодость был батраком у местного бая. Куда пошлют, к чему приставят — годился: пахал и столярничал, чистил арыки, дыни хозяйские возил на базар, отары гонял на дальние пастбища, глину месил для байских построек — словом, сейчас бы сказали, специалист широкого профиля. Только за весь этот профиль так платил ему бай, что семья батрака жила впроголодь, ходила в лохмотьях. Оттого, только стали колхоз в тех краях создавать, из первых в него записался Турсун. Этого ему не простили — ни бай, ни его прихлебатели.

В доме стало полегче — появились пшеница и рис, по пятницам, как то и заведено исстари, сидели за пловом. Тогда-то и появились у Карамат сперва братишка Абдурахман, а в 33-м — сестра Саламат.

Как-то раз — в 37-м это было, в саратан — отец среди дня явился домой, картошку принес. Сварили, поели. Потом поиграл с малышами, сказал жене, что вместе с одним человеком колодец чистить идет, и поднялся.

Колодец тот Карамат уже знала — глубокий и жуткий, мальчишки стращали — черти в нем водятся, ночью вылазят, кто близко подступится — цап и туда. Чего уж там ночью — и в ясный солнечный день Карамат стороной его обходила, и при мысли, что отец туда будет спускаться, у нее похолодело внутри.

К закату отца еще не было. Не вернулся он и тогда, когда мать малышей уложила. Карамат осталась сидеть за калиткой, ждала и томилась.

Сквозь неподвижный и плотный, раскаленный, точно в тандыре,

воздух тускло проглядывал месяц. Безлюдно и тихо. Только изредка надрывно, истошно завопит, собственным голосом захлебнется ишак.

Черная тень верблюда с наездником возникла, словно из-под земли выросла. Карамат встрепенулась, застыла. Предчувствие чего-то недоброго, страшного шевельнулось в сердце, леденящими струйками растеклось по всему ее телу. Еще не доехав, всадник крикнул хриплым, сорвавшимся голосом:

— Дочка, эй, Турсунова, что ли?.. Зови свою маму!.. Зови ее быстро!..

Но маму звать не пришлось: прикрывая лицо наброшенным на голову старым жакетом, она приоткрыла калитку, испуганно стиснула руки. И тогда Карамат услыхала слова, которые ее потрясли, которые она не забудет уже во всю свою жизнь.

— Муж твой... Турсун-ака в колодец упал...

События следующих дней Карамат вспоминаются так, будто видела их сквозь толщу мутной, застойной воды. Кто-то громко рыдал и осыпал себя пылью. Какие-то люди толпились у них во дворе. Кто-то принес, прислонил к дувалу тобут — погребальные носилки с невысокими, обтянутыми черной материей стенками, с ручками, толстыми, как оглобли.

Лишь на третьи сутки вытащили из колодца обезображенное тело отца. Карамат его не узнала.

Когда, подняв носилки на плечи, мужчины вынесли их со двора, чуть не бегом припустились на кладбище, Карамат увязалась за ними. Ее ухватили за плечи, вернули домой: женщина не может стоять над открытой могилой, если даже в нее опускают отца,— богопротивно, кощунственно.

Многие годы спустя Карамат старалась узнать, что случилось тогда, при чистке колодца, как погиб их отец. Одни объясняли несчастной случайностью: веревка порвалась, свалился и — насмерть. Другие туманно намекали на то, что веревка порвалась не сама по себе — полоснули ножом. Вспоминали, что приспешники байские, еще когда создавался колхоз и Турсун пошел туда первым, еще тогда грозили ему: добром, мол, не кончишь — не аллах, так сами тебя покараем. Правда ли это, пустая ль молва — поди разберись через столькие годы! К тому же старик, что с Турсуном ходил на очистку колодца, веревку держал, давно уже помер. С кого теперь спросишь?

После смерти отца семья переехала в дом Мавляна — дальнего родственника. Но прожила в этом доме недолго: через несколько месяцев как-то враз, будто походя, смерть скосила братишку. Мать не вынесла этой новой потери, и в осеннюю морось ее отнесли на то же кишлачное кладбище, где был захоронен отец. Десятилетняя Карамат и четырехлетняя Саламат остались одни.

Горька сиротская участь. То один их пригреет, накормит, то надоест ему тратиться, чужих опекать, когда и своих целый выводок,— ищи себе новую крышу. За первых три месяца у какой только родни, у соседей каких не перебывали девчонки! Бывало, сегодня в этом доме ночуют, завтра — в другом, а там и чайханщик раздобрится — пустит, еще перед сном и покормит. Так и жили они,

пока какой-то дядя сознательный не отвез их в Митан. Потом на попутной машине, груженной сухой, будто иглы, колючей гузапаей, отвезли в Каттакурган, а оттуда товарным вагоном отправили уже в Самарканд.

Карамат отчетливо помнит, как оказались они в детприемнике. Через неделю их повезли в Кермине, но и в кермининском детдоме не приняли: ни метрики нет, ни справки положенной, ни направления по форме. Пришлось возвращаться. И опять детприемник.

Карамат слонялась по комнате, томилась и хныкала. Ей очень хотелось проникнуть к сестре, которую, только с вокзала приехали, прямым путем в изолятор. А сестре с каждым часом становилось все хуже и хуже. Наконец, на бричке, крытой черным брезентом, за нею приехал какой-то мужчина. Карамат подозвали, чтоб попрощалась с сестрой, сказали: забирают в больницу.

Саламат увезли, а вскоре пришли и за старшей.

— Ну и хлопот же мне с вами, беспаспортными! Едва уломала. Да ладно, теперь уже все: будешь в Пятом детдоме. Давай собирайся, отвезу тебя, сдам,— прямо с порога затараторила краснощекая женщина, которую Карамат уже знала: это она возила сестер в Кермине и обратно.

— Не хочу. Без Саламат не поеду!— заартачилась старшая.

— Как оклемается, на ноги встанет — с тобой будет жить, в тот же детдом обещали.

Женщина сняла с головы пуховый платок, укутала в него Карамат, взяла ее за руку.

В детском доме девочку долго выспрашивали: кто она да откуда, где родилась и жила до сих пор, что случилось с родителями,— заполняли учетную карточку. Потом, когда уже выросла, Карамат видала ее: рост — 105 сантиметров, нос — прямой, глаза — карие, волосы — черные. Из этой-то карточки она и узнала тот день, когда разлучилась с сестрой. Это было 19 декабря 1937 года.

Сколько-то времени Карамат ждала и надеялась: вот сегодня уже приведут, вот сейчас ворота откроются и в них — Саламат. Но проходили дни и недели, открывались и затворялись ворота, а сестры все нет и нет. Карамат ходила унылая, будто потерянная, но говорить о сестре, расспрашивать было некого. Во-первых, никто здесь не знал ни сестры ее Саламат, ни того, что эта сестра в больнице находится, тем более никто бы не мог ей сказать, как она там — хворает еще или, может, уже на ногах и здорова. А во-вторых, и сама Карамат никого еще в детдоме не знала, и диковатая, сторожкая кишлачная девочка никак не решалась к кому-то подойти, заговорить, попросить. Раньше всех доверье ее завоевал старший пионервожатый детдома, молодой еще парень Борис Фузайлов. Сам недавний воспитанник этого детского дома, он хорошо понимал душевное состояние своих подопечных, особенно тех, кто только недавно у них появился. Этому самому Борису Фузайлову, Борису Насимовичу, ставшему вскоре директором Пятого самаркандского детского дома, предстояло оказать свое благотворное воздействие на судьбу Карамат — опекать и воспитывать, принимать в комсомол, настойчиво

готовить к поступлению в вуз. Но это — это было потом. А тогда, каким-то детским чутьем угадав в нем доброе, открытое сердце, готовность в любую минуту и словом и делом прийти на помощь ребенку, она решилась обратиться к нему. Он выслушал ее серьезно, сочувственно, тотчас кликнул парнишку из старших, велел ему вести Карамат в детприемник. Отчего не в больницу? Да оттого, что, как выяснилось, Карамат не знала — не ведала, в какую из них отвезли Саламат, и вообще по наивности думала, что больница во всем Самарканде одна.

В детприемнике их встретил мужчина, которого звали Нур Нурович,— так запомнилось самой Карамат. Он порылся в бумажках, широко улыбнулся, видно, очень довольный, что может сообщить приятную весть:

— Сестра твоя жива и здорова. Из больницы отправили в дошкольный детдом, а вот в который из них — не записано. Да ты не волнуйся — найдем!

Карамат успокоилась. Жизнь в детдоме, школа, новые друзья и новые впечатления — все это так увлекло, поглотило девочку, что она, убежденная в благополучии младшей сестры, в том, что она где-то рядом, никак не могла выбрать часа, чтоб ее разыскать. Не судите Карамат слишком строго — в ту пору ей не было еще и одиннадцати.

Она встрепенулась, забегала по детским домам, когда в группе у них появились первые ребята оттуда, с той земли, где уже бушевала война. Кинулась, стала искать, да поздно: ни в одном из дошкольных детских домов Самарканда Саламат уже не было. Кто-то в Первом детдоме сказал ей, что нужно искать в Каттакургане — не так давно туда перевели целую группу ребят, достигших школьного возраста.

Что в Каттакурган — это запомнилось, а съездить туда собралась только после войны. Сестры она там не нашла.

Карамат закончила школу, стала студенткой филологического факультета Самаркандского университета. Затем много лет преподавала в школе узбекский язык и литературу. Вышла замуж. В 50-е годы как члена Коммунистической партии ее направили на село, и здесь, в Иштыханском районе, она избирается председателем колхоза «Иттифак». Все хорошо, все очень счастливо складывается в судьбе Карамат Самадовны. И только мысль о пропавшей сестре не дает ей покоя — терзает и мучает. Куда уже только не обращалась она с просьбой о розыске Саламат — и в милицию, и в архивы различные, и к людям, что в годы войны имели касательство к детским домам Самарканда и области. Все напрасно. Следов никаких. К тому же и данных достаточных для поиска нет. Фамилия, имя? А где же уверенность, что четырехлетний ребенок их запомнил, сберег? Приметы? Особых как будто и не было. А так что помнит Карамат Самадовна о младшей сестре? Лицо было круглое и вроде с загаром, глаза очень черные, волосы жесткие и тоже как смоль. Наверное, встретила б — непременно узнала.

И вот эти статьи в газетах «Ленин юлы» и «Ленинский путь». По всему, что написано, что сердце ей говорит, Карамат Самадовна

твердо уверена: это она, это ее Саламат! Турсунова-старшая в нетерпении просит у Фриды Абрамовны адрес Майи Петровны, хочет сейчас же дать телеграмму, чтоб та вылетала, а если не может, пусть сообщит, и Карамат Самадовна завтра же будет в Бендерах.

Но вместо этой взбудораженной телеграммы Баранюк получила другую — из Ташкента, фототелеграмму от Фриды Абрамовны. Вот ее текст:

«Уважаемая Масиба Петровна! Письмо и фотографии получили. Спасибо. Очень просим, если возможно, позвоните в Ташкент в любой день и любое время. Нужно уточнить некоторые неясности и детали. Возможно, будет найдена ваша сестра. Триерс».

А после телефонного разговора по тому же счастливому адресу полетела еще одна фототелеграмма:

«Сестричка моя родная! До сих пор не могу поверить, что ты нашлась, моя единственная! Нет таких слов, чтоб выразить мою радость и счастье. Жду с нетерпением той минуты, когда смогу увидеть тебя, обнять и расцеловать. Нахожусь в Ташкенте у нашей родной Фриды Абрамовны. Приехала, чтоб встретить тебя уже здесь. Очень скоро, Масибонька, мы будем принимать тебя, Витю и ваших деток на нашей гостеприимной узбекской земле, на твоей родине, моя сестричка! Какое же счастье, что вы теперь есть у меня! От радости плачу! До скорой встречи! Ваша сестра Карамат».

Они встретились на ташкентском вокзале 3 февраля 1973 года, через тридцать пять лет. Я не буду описывать этой встречи. Зачем? Во всей полноте человеческих чувств передать ее трудно. Но каждый легко представит себе.

Полгода спустя Майя Петровна вместе с семьей переехала в Самарканд, насовсем. Но как же теперь ее называть — Саламат, Насиба, Луиза, Масиба или Майя? Как захочет сама. Да разве в имени дело? Дело в жизни, спасенной людьми,— врачами в самаркандской больнице и борисоглебском госпитале, воспитателями в радгенском детдоме, папой Мишей и мамой Ириной Варник, мужиком-возницей, не проехавшим мимо, подобравшим ребенка на прифронтовой дороге, людьми, которые ее окружали в Батуми, Севастополе и Бендерах, чтобы в конечном итоге вернуть ее в родные объятья, на родную узбекскую землю.

Такие люди.

Такая судьба.

«ЧУВСТВО БЛАГОДАРНОСТИ СОХРАНИМ НА ВСЮ ЖИЗНЬ»

Что знает, что помнит Зейнаш Шарафовна Джураева, директор узбекской средней школы в кишлаке Тезгузар близ Бухары, о маленькой девочке Жанне Пузевич? Очень мало, почти ничего. Знает, что были у Жанны мать и отец, была старшая сестра, звали которую, кажется, Тася, Таисья. Смутно припоминается Зейнаш Шарафовне,

как люди, какие-то незнакомые люди в суматохе, под громыханье и лязг, прерывистый гул паровозов и завыванье сирены поспешно заталкивали Жанну с сестренкой в тесный, наполненный детским криком и плачем вагон. Потом вагон дернулся, медленно покатил мимо объятой огнем водокачки, сквозь черное удушливое облако, рядом с согнутым в дугу семафором. Колеса стучали быстрей и быстрей. Вот уже и чистое поле.

Когда миновали лесок, кто-то над ними завыл, стал рявкать все громче, надсадней, забарабанил по стенам вагона. И вдруг — до сегодняшних дней не может Зейнаш Шарафовна вспомнить об этом без ужаса,— вдруг железная крыша вагона заскрежетала, сама собой поднялась, и вместо нее нависла над ребячьими головами черная тень самолета.

Долго еще оставалась Жанна Пузевич в этом вагоне. Вместо разбитых строений и искореженных паровозов в открытой вагонной двери мелькали теперь глинобитные домики, верблюды, запряженные в арбы, вместо страшных металлических птиц в небе тихо парили степные орлы.

На какой-то неведомой станции — сотни таких уже промелькнули перед маленькой Жанной — детям велели сходить. Кто-то из них поплелся к дверям. Остальных выносили.

И сразу, запомнилось Жанне, они оказались в шумливой толпе. Женщины в широких цветастых платьях, в расшитых жакетах окружили детей, хватали их за руки, совали им в рот кто лепешку, кто душистую грушу, а кто и вовсе какой-то неведомый фрукт и все тараторили, о чем-то выспрашивали, что-то ласково предлагали. А дети, отвыкшие улыбаться, с застывшей в глазах недетской тоской, больные, изможденные дети согласно кивали, хотя из того, что им говорили, не понимали ни слова.

Так осенью 41-го года оказалась Жанна Пузевич в доме Шарафа и Муаззам Джураевых. Так появилась на свет Зейнаш Шарафовна Джураева.

Около шестидесяти лет назад известный английский писатель Джон Голсуорси обратился с открытым письмом к международной конференции по разоружению. В этом письме есть слова, которые полезно вспомнить сегодня:

«Если в мирное время ребенка подвергают надругательству или убивают, вся страна приходит в волнение. Во время войны подвергаются надругательству и гибнут миллионы детей... На них обрушиваются голод, эпидемии, увечья, сиротство, смерть от болезней, ядовитых газов и бомб... Последствия войны они чувствуют на себе еще много лет спустя, и на всю свою жизнь... Война, как ни посмотри на нее,— всегда безумие... но если посмотреть на войну с точки зрения детей, являющих собой беспомощное будущее страны, отданное во власть наглому и расточительному настоящему,— война сразу предстает перед нами как чудовище с прожорливой, окровавленной пастью, убивающее и калечащее без жалости и разбора,— тот самый свирепый дракон, каким пугают детей. Допуская войну, мы отдаем в заклад наше будущее... частично уничтожая и

целиком портя урожай, который мы посеяли для завтрашнего дня и большую часть которого нам не доведется собрать в житницы».

Глубоко справедливые в принципе, эти слова, к великому счастью не отражают в себе судьбы ни маленькой Жанны, ни взрослой Зейнаш. Не горькой Золушкой, не сиротой безответной росла она в доме Джураевых. С того дня, с того самого часа, как вошла она в эту семью, Жанна стала кровной, родной для Муаззам и Шарафа. Зейнаш закончила школу, получила диплом педагога, вернулась в ставший родным ей кишлак Тезгузар. Она вышла замуж за учителя той же школы — Хасана. У них пять детей.

И вот, столькие годы спустя, отцовскими стараниями Шарафа Джураева Зейнаш встречается со старшей сестрой. Все это время, как теперь выясняется, Таисья жила по-соседству — в кишлаке Кулиодин, так же, как Жанна, удочеренная узбекской семьей, так же, как младшая сестра, вышедшая замуж за узбека, с которым растит она троих чудесных детей.

А еще через несколько лет Зейнаш получила письмо из Норильска:

«Пишет тебе Казимир Казимирович Пузевич, твой родной отец. Я узнал после войны, что тебя удочерила узбекская семья, но где вы — этого никто мне не мог сказать. Потеряв всякую надежду, я все-таки еще раз написал в Изюм, в ЗАГС. И вот — чудо! Мне оттуда сообщили, что в 1951 году ты запросила, чтобы получить паспорт, копию утерянного свидетельства о рождении. Я — твой отец, рядом со мной мама твоя — Анна Яковлевна. Война нас разбросала, дочь моя, во все концы. Надеюсь, все мы соберемся скоро в родном Изюме. Весть о тебе готова разорвать наши сердца...»

Так узнала Зейнаш о своих родителях, узнала, сама немало притом удивившись, что она от рождения — полька.

Однако судьба Таисьи и Жанны Пузевич, так же как и судьба двух других польских девочек — Ады и Майи Слуцких, о которых я писал уже в первой части повествования, при всей своей глубокой типичности для судеб сирот, вихрем войны в 41-м году занесенных в Узбекистан,— их судьбы, в общем-то, можно сказать, исключительны.

Как стало известно после встречи отца с дочерьми, семья Пузевичей уже в нескольких своих поколениях, переселившись из Польши, жила в Харьковской области. Слуцкие — Майя и Ада — эвакуировались из Западной Белоруссии. А как же сложилась судьба многих и многих других осиротевших детей и подростков, в начале войны бежавших прямо из Польши?

Чтобы ответить на этот вопрос, нам придется, читатель, вопреки заявлению автора, сделанному на первых же страницах повествования — «время и основное место событий: Узбекистан, 1941—1945 годы»,— нам придется, пускай ненадолго, перенестись на тридцать три года вперед — в наши мирные дни — и на многие тысячи километров от солнечных улиц Ташкента и безбрежных полей Ферганы,

от лазурных куполов Самарканда и синих отрогов Тянь-Шаня на зеленые равнины Европы.

Как часто приходится убеждаться, что даже значительный, большой смысловой концентрации факт реальной действительности становится фактом истории, лишь получив закрепление в слове — неважно, письменном или устном. Словесно оформленный, он способен сохраняться веками, тысячелетиями. Не закрепленный в достойном и долговечном выразительном слове, он, напротив, как бы растворяется во времени, исчезает, вроде бы такого и не было вовсе. Отсюда уже один только шаг до фетишизации слова, до того, чтобы, все сместив, все поставив на голову, говорить о его первородстве и в схоластическом споре о том, что было раньше — дело или слово, отдать предпочтение последнему.

Нет, сначала все ж таки было дело. И пусть даже правда, что среди мириад других — безотлагательных, горящих, от каждого из которых в те черные дни и бессонные ночи зависело все — жизнь страны и народа, судьба человечества,— пусть правда, что дело, о котором хочу рассказать, в тот момент и в той обстановке могло казаться не самым главным, не важным, «своим», тем не менее, я глубоко убежден, оно достойно того, чтобы быть восстановленным в слове, а значит, и в памяти людей — в их истории. Достойно не только как факт, сам по себе самоценный, но и в связи с идейным, нравственным, психологическим зарядом его, способным долгие годы еще излучать энергию добра, человеколюбия и интернационализма, тем самым активно и плодотворно воздействуя на нас, современников.

Этот факт, эту историю приходилось реконструировать по крупицам. Первая из них, давшая толчок всему поиску, была обнаружена в архиве официальных правительственных документов. Это было распоряжение Совета Народных Комиссаров СССР от 19 мая 1944 года № 10914-р, которое я уже цитировал выше: **«... провести в июле 1944 года месячные курсы по повышению квалификации педагогического персонала польских учреждений в СССР с контингентом на 200 человек, в том числе... в Самарканде — на 50 человек».**

И сразу возникает вопрос: что же это были за учреждения, для которых требовался педагогический персонал — школы, детсады, детдома? И почему в Самарканде?

Да, отвечали бывшие сотрудники Наркомпроса Узбекистана, в годы войны на территории республики была организована и действовала целая сеть учреждений для польских детей.

Но где же теперь эти преподаватели и воспитатели, которые помогли бы мне своими рассказами воскресить ту давнюю быль, где, наконец, сами воспитанники? Отчего, сколько я ни старался, ни одного из них на территории нашей республики так и не обнаружил?

После долгих расспросов, почти что дознаний, в руках у меня оказался конкретный и точный адрес: ташкентская средняя школа № 71, что на Луначарском шоссе. Там в годы войны были польские классы.

В тот же день еду в 71-ю школу. Но радость моя была прежде-

временной: преподаватели, работавшие здесь в годы войны, давно уже вышли на пенсию, и где их искать — неизвестно, архивы тридцатипятилетней давности в школе не сохраняются. Только старый вахтер с трудом вспоминает, что будто и правда когда-то тут были польские классы, а сами ребята жили через шоссе, в переулке, Тюльпанским как будто тогда назывался, целый дом у них там стоял.

На месте где находились Тюльпанские переулки, теперь завод грампластинок. От старых домов и следа не осталось. По карте Ташкента военных времен узнаю, что этих Тюльпанских было в ту пору целых четыре. В котором из них располагался когда-то детдом и вправду был ли он польским, установить невозможно. Едва потянувшись, нить оборвалась. Выйти из тупика, как это часто бывает, помог непредвиденный случай.

Как-то однажды, будучи в Самарканде, я спросил всезнающих друзей-журналистов, известно ль им что-нибудь о существовании в городе в годы войны польских детских домов, об их воспитателях и бывших воспитанниках. Что-то им вспоминалось, о чем-то таком когда-то слыхали, но ни фактов конкретных, ни имен, причастных к этой давней истории лиц, при первой беседе назвать они не могли. На следующий день из первозданного хаоса журналистских блокнотов возникло имя Фузайлова. Директор одной из нынешних школ-интернатов, он вроде бы в годы войны имел отношение к детдомовским польским ребятам.

Разыскать в Самарканде Фузайлова было уже, как говорится, делом техники. Человек преклонного возраста, всю жизнь отдавший заботам о детях-сиротах, сам воспитанник детского дома, Борис Насимович рассказал:

— К началу войны я работал директором детдома №5. Контингент — сто человек. Осенью 41-го число воспитанников за один день удвоилось — приняли и разместили в своем помещении ребят из киевского детского дома № 3. Затем к нам присоединилось еще семьдесят человек — воспитанников курского детского дома. Сказать, что наладить нормальную жизнь в таком вот детдоме — едва не трехкратно разросшемся, в короткое время объединившем в себя детей очень разной судьбы, воспитания да уже и какого-то жизненного опыта,— сказать, что все это было легко и просто, никак не могу. Были и сложности, и проблемы свои, и даже конфликты. Но главные трудности на первых порах — организационно-хозяйственные. Кровати, одежда, посуда, учебники, смеяться будете,— нитки, чтоб штаны залатать,— где все это было взять? Страшно вспомнить! А тут, в это самое время, вызывают меня в облоно и приказывают: принимай польских детей! Говорю: как же я с ними — они меня не поймут, я по польски ни слова. Ничего, говорят, пальцы имеешь? Вот и давай. Утешили, значит.

Встречать пошли мы прямо оттуда втроем — Махмуд Хакбердыев, в ту пору завоблоно, Долгих — завгороно и я. Что увидели мы на вокзале, передать не могу: худые, кожа да кости, одежда — лохмотья и дыры, а главное — больных очень много. Отделили мне

группу в сто человек, говорят: на Сузангаранскую, во вторую школу веди, располагайтесь на первое время. Другую группу польских детей отвели на Термезскую. Третью — в Богибалянский сельсовет, неподалеку от обсерватории Улугбека. Вот так и появились у нас в Самарканде польские детские дома № 11, №12, №30. А еще три детских дома для польских ребят были тогда организованы в Пайарыкском районе, на станции Заитдин и в Нарпае — в пяти километрах от станции Зирабулак.

Разместил я детей и в гороно: давайте и то, и другое — целый список выкладываю. А мне: что имеем, выделим в первую очередь, только и сам прояви инициативу свою! Собрался я с духом и пошел по детским домам инициативу свою проявлять. Сам директор, знаю, как трудно сейчас в детдомах, потому не хватаю за душу, не требую — убеждаю, на чувства беру. Вот представьте, внушаю, малолетние дети на чужбину заброшены — ни родни, ни знакомых у них — никого. Даже милостыню попросить захотели б, и то не сумеют, слов не знают таких, никто не поймет. Против такой агитации самые строгие, прижимистые директора детдомов устоять не могли: размягчались, махали рукой — бери, да только по совести, чтоб и полякам твоим не погибнуть, и наших не обездоль. Чтоб все было поровну.

С этого начали. Потом стало легче: для польских детских домов специальные фонды выделили, шефы помощь оказывали, да и сами воспитанники старшего возраста за помощь колхозам, промысловым артелям на свой детдом получали продукты, топливо, одежду кое-какую. Что говорить, не в роскоши жили, конечно,— война!— но и не бедствовали. Во всяком случае, сколько знаю, по нашим самаркандским домам за все те трудные годы ни одного случая смерти среди польских воспитанников не было — всех спасли, всех поставили на ноги, хотя, когда принимали их на вокзале, от слабости, от болезней, от истощения немногие тогда могли на ногах держаться — шатались, будто камышинки под ветром.

А вот про то, как росли, учились, воспитывались они в этих детских домах, про это вам не скажу: своими глазами не видел, с чужих, от кого-то слышанных слов — не хочу, боюсь, как бы чего не напутать. Дело-то в том, что правило в те времена было у нас очень твердое: добиваться того, чтоб воспитанием, обучением эвакуированных сирот занимались воспитатели и педагоги их же национальности. Считаю, хорошее, мудрое правило. И не только потому, что лишь при этом условии дети могли продолжать обучение на своем родном языке. Главное здесь, как мне кажется, в том, что они продолжали воспитываться в духе традиций своей национальной культуры, своей истории и даже бытового уклада. Иначе говоря, было сделано все, чтобы вынужденный физический отрыв от родной почвы не обернулся для них отрывом духовным, а чтобы, даже живя на узбекской земле, белорус белорусом же и остался, литовец — литовцем, а поляк — поляком. Поначалу, я знаю, когда только прибыли польские дети, это для многих из нас казалось задачей невыполнимой. Подумайте сами: в своем большинстве те поляки, которые сопровождали

польских детей, в Узбекистан их доставили, ни образования специального, ни опыта работы педагогической не имели, к тому же они, эти взрослые, в таком состоянии прибыли, что сразу было понятно: им не детей опекать — они сами сейчас в опеке нуждаются. Вот отчего на первое время в эти дома были направлены наши директора, воспитатели, техперсонал. Но ненадолго. Уже с конца 43-го года, в основном же в 44-м, все директора польских детских домов в Самарканде были заменены на поляков. То же было и с воспитателями, с педагогами, поварихами, нянями. Вот отчего и не найти вам теперь в нашем городе тех людей, что могли бы в деталях, в подробностях, так сказать изнутри, как вам бы хотелось, а не со стороны, жизнь этих детских домов описать. И не трудитесь искать — не найдете. Только один свидетель у нас мог остаться — бумаги. Сколько помнится мне, по делам детдомов — и наших, и польских — большая тогда велась документальная отчетность — финансовая, административная по успеваемости детей, медицинская — всякая. Найдете ее — вся картина тогда перед вами откроется. А где искать — не скажу. Отчеты по детским домам, как было положено, отправляли мы в гороно, иногда — в облоно. Куда они дальше пересылались, где сохраниться могли — не знаю, не спрашивал.

Из гороно, искренне сожалея, что ничем в моем поиске помочь не сумеют, переадресовали меня в областной отдел народного образования. Оттуда — в областной архив. Но и там следов пребывания польских детей в Самарканде обнаружить мне не удалось. Я возвращался в Ташкент с чувством безвозвратной потери. Оставалась одна, теперь уже последняя надежда — республиканский архив.

Город Ташкент. Чиланзарская, 2. Центральный государственный архив Узбекской ССР. В тишине читального зала я с нетерпением жду ответа на письменный, по форме, запрос. Состояние такое, будто сейчас откроется дверь и после долгой, долгой разлуки я встречусь с кем-то очень близким, родным. Или не так: будто сейчас откроется дверь и хлынут в молчание этого зала многоголосой гурьбой дети Варшавы и Кракова, Ченстохова и Лодзи, Гданьска и Познани... А если дверь не откроется?

Но дверь открывается. Вот она, долгожданная встреча! Но нет — пока это только короткая справка: фонд хранения — 94, опись — 5, дела — 4603, 4614, 4820. Свидание назначено на следующий день.

Как рассказать вам, пани Мария, пан Тадеуш, пани Юзефа, о радости, какую я испытал, впервые встретившись с вами в читальном зале республиканского архива! Мне всех вас хотелось обнять, как старых знакомых, как земляков, как друзей. И хотя с той поры, когда на обрывках обоев, на оберточной, в прожилках бумаге, поверх желтой краски школьных географических карт были написаны ваши имена и фамилии, прошло уже лет тридцать пять — тридцать семь, в моем воображении вы встаете все теми же восьми-

десяти-двенадцатилетними мальчишками и девчонками, какими вы были в свои узбекистанские годы.

Это был настоящий, бесценный, редкостный клад — отчеты и списки, приказы и справки, цифры и факты. Сквозь них постепенно шаг за шагом передо мной вырисовывается целостная картина жизни польских детских домов в Узбекистане в тяжелые годы второй мировой войны.

В марте 1943 года под опеку Народного комиссариата просвещения Узбекской ССР было передано 26 отделений польского благотворительного общества «Охронок» с контингентом воспитанников 1965 человек. Располагались они по преимуществу в сельской местности, в приспособленных для этой цели помещениях колхозных контор и клубов, школ и чайхан. Содержание этих отделений, так же как и 563 других польских благотворительных учреждений в СССР (столовых, детских яслей, Домов инвалидов и пр.), осуществлялось в основном за счет стомиллионного займа, предоставленного Советским правительством на эти цели. Кроме того, для польских благотворительных учреждений уже в начале войны были выделены специальные продовольственные фонды.

Тем не менее, как о том говорят документы, жизнь детей в большинстве отделений благотворительного общества «Охронок» в 42-м — начале 43-го года была голодной, тяжелой, а порою и бедственной. Так, по справке, в начале 1943 года выданной Бухарской областной больницей, в местном отделении общества «Охронок» свирепствовал сыпной и брюшной тиф, унесший сорок одну детскую жизнь. Шесть смертных случаев среди воспитанников наманганского отделения общества зафиксировано в четвертом квартале 1942 года. Отделения общества испытывали острую нужду в постельных принадлежностях, одежде и обуви. Ни обучением, ни воспитанием детей отделения по существу не занимались, предоставив воспитанников самим себе и воле случая. Не разделенные на возрастные группы, они все — от младенцев, едва научившихся ходить, до18—19-летних отроков — «промышляли» на рынках, железнодорожных вокзалах, ходили по дворам местных жителей. Зачастую случалось, что сердобольная хозяйка, не в силах глядеть на голодного оборванного малыша, вела его в дом, и на многие дни, недели и месяцы этот малыш становился в доме своим. Именно так оказалась в семье гиждуванской колхозницы Мусил Бурановой русоволосая Данута Шуберт, а приемным сыном заведующей отделом кадров Вабкентского райкома партии Абдуллаевой — маленький болезненный Карл, еще не умевший тогда назвать своей фамилии.

Нетрудно представить, сколько сил и энергии, настойчивости и тепла материнского сердца потребовалось от работников Наркомпроса республики, когда во имя спасения сотен и тысяч бесценных детских существ эти благотворительные учреждения были отданы на их попечение. И снова, как это часто бывало в те страшные годы, когда на плечи республики одновременно, со всех сторон, будто горный обвал, обрушивался целый хаос забот и было неясно, за что хвататься в первую очередь, с чего начинать,— начинали все сразу.

Первым делом, заручившись поддержкой партийных и советских органов, Наркомпрос объединил воспитанников 26 отделений благотворительного общества «Охронок» в 17, а затем и в 14 польских детских домов и 2 польские группы при детских домах общего типа. В кратчайшие сроки, совершив по тем временам и в той обстановке поистине подвиг, сотрудники Наркомпроса чуть не штурмом завладели десятью помещениями в городах республики. К 1 июля 1943 года — к моменту создания при Наркормпросе РСФСР Комитета по делам польских детей (Компольдета), которому организационно были подчинены все польские детские учреждения на территории Советского Союза,— большинство воспитанников бывших благотворительных обществ в Узбекистане из сельской местности, из кишлаков и районных центров переехало в города, в только что отвоеванные для них помещения. Вот тогда-то, по-видимому, и встретил Б. Фузайлов несколько, слитых уже воедино, отделений «Охронок» на самаркандском вокзале.

Был учтен, переписан, подвергнут тщательному медицинскому осмотру весь контингент новых детских домов. 32 воспитанника, которым уже перевалило за восемнадцать, были трудоустроены. Усилиями штатных работников Наркомпроса республики и женщин-общественниц — сотрудниц Центрального детского адресного стола уже в 43-м было установлено местонахождение родителей 118 польских воспитанников и, если эти родители проживали на территории Узбекистана или соседних республиках, дети были без промедления возвращены в родные семьи. К концу войны число этих счастливцев возросло до 697. Зато детдома пополнились 342 новыми воспитанниками — сиротами и детьми нетрудоспособных родителей.

В домах, куда переезжали польские дети, кроме учебных кабинетов и спальных комнат — для каждой группы отдельных,— еще до переезда воспитанников были выделены и отремонтированы столовые изоляторы, клубные помещения. В архиве хранится любопытная справка: с марта 1943 года по апрель 1946-го на текущий и полукапитальный ремонт помещений польских детских домов по бюджету Наркомпроса Узбекистана израсходовано около 700 тысяч рублей.

Непросто решался вопрос с обеспечением польских детских домов твердым инвентарем — кроватями, столами, шкафами и тумбочками, кухонным оборудованием и столовой посудой. Быть может, сегодня эти проблемы, которые обходились тогда во столько усилий и нервов, решались ценой огромной находчивости, деловой изобретательности, а бывало и отчаянной смелости,— быть может, сегодня у многих читателей они вызовут лишь снисходительную усмешку. Вполне допускаю. Но тем, кто в 43-м году по долгу службы и человечности, по велению сердца занимался этими (ну как не скажешь —приметными?) делами, было, поверьте, не до усмешек.

Критическая ситуация принудила Наркомпрос пойти на крайнюю меру: руководству новых учреждений, дабы в кратчайшие сроки обеспечить нормальную жизнь детдомов, было разрешено закупить самую необходимую мебель, инвентарь и посуду на частном рынке. Далее — опять же отступаясь от им же установленных правил —

Наркомпрос принимает решение значительную часть инвентаря, посуды и мебели из фондов, предусмотренных для обеспечения всех иных детдомов республики в 1943 году, передать в распоряжение польских детских домов. На 1944-й, 45-й и начало 46-го годов снабжение этих детских домов инвентарем, посудой и мебелью было уже предусмотрено в производственных планах узбекистанских заводов, артелей и фабрик.

Теми же чрезвычайными мерами решался на первых порах вопрос об удовлетворении потребностей польских детских домов в постельных принадлежностях, одежде и обуви. Вот только краткий перечень тех предметов, которые систематически — из месяца в месяц, из года в год — выделялись и поставлялись воспитанникам этих детских домов: пальто, телогрейки, хлопчатобумажные, шерстяные и шелковые ткани, а также готовые изделия из них, трикотаж, обувь, нитки, мыло. При этом, если снабжение своих, отечественных детских домов осуществлялось только за счет плановых фондов областных отделов народного образования, поставки польским детским домам шли, помимо того, и в централизованном порядке — непосредственно с баз Наркомпроса республики.

Весьма ощутимой и всегда своевременной была та бескорыстная помощь, которую оказывали польским детским домам их добровольные шефы. Доставленные ими продукты питания, топливо, инвентарь и оборудование, как правило, не фиксировались в отчетных документах детских домов, и это лишает меня возможности назвать общую сумму, вес и объем этих щедрых даров. Но отдельные факты архив сохранил. Так, к примеру, известно, что в суровую зиму 1943—44 годов кокандский сахарный завод по собственной инициативе его рабочих и служащих доставил в польский детдом №8, что находился по улице Янгихаят, №48, три тонны угля. В те зимние месяцы кожзавод в Бухаре одарил многих воспитанников польского детского дома №5 теплой обувью, а один из самаркандских заводов завез в детдом №11 несколько тонн хлопковой шелухи, необходимой для корма принадлежавшего детдому скота. Точно так же постоянно снабжали кормами шесть коров кермининского польского детского дома окрестные колхозы и государственные заготовительные конторы.

Но, понятно, шефская помощь — только подспорье. Основная масса продуктов питания в детдома поступала из государственных фондов. Их дополняли и те, что, с каждым годом все больше, направляли юным своим соотечественникам местные отделения Союза польских патриотов. Да и сами воспитанники, те, кто постарше, не желали сидеть иждивенцами. Они ухаживали за детдомовским скотом, в страдную пору выходили на близлежащие колхозные поля, выращивали и собирали урожай с собственных подсобных хозяйств. В 44—45-м годах такие хозяйства имели уже десять польских детских домов, а общая площадь их составляла 15,8 гектара.

Из бухгалтерской справки о содержании польских детских домов за период с марта 1943 года по апрель 1946-го (исключая расходы,

связанные с ремонтом зданий и приобретением твердого инвентаря):

зарплата сотрудников	— 3 029 461 рубль
на питание	— 6 728 498»
на приобретение мягкого инвентаря	— 3 782 590 »
на трудоустройство	— 22 400 »
прочие расходы	— 2 102 700 »
Всего:	— 15 665 649 рублей

С момента создания польских детских домов особое внимание уделялось охране жизни и сохранению здоровья их воспитанников. В каждом без исключения польском детдоме были врач и круглосуточно дежурившие медсестры. При всех детдомах имелись аптечки со всем необходимым для оказания первой помощи. 1257 воспитанников всех четырнадцати детдомов и двух польских групп в летний сезон 45-го года прошли оздоровительную кампанию: ташкентского 27-го, кермининского 16-го и наманганского 18-го — на собственных дачах, остальные — в общих пионерлагерях и оздоровительных городках под Ташкентом, близ Самарканда и в Гаве. Весь контингент польских детдомовцев периодически подвергался медицинскому осмотру. При первых же признаках заболевания ребенок помещался в изолятор — обособленную от других помещений, специально оборудованную при каждом детдоме комнату. В случаях более сложных воспитанник направлялся в городскую больницу. В результате названных мер, не смотря на огромные тяготы и тысячи сложностей военного времени, работникам польских детских домов удалось сохранить всех до единого своих подопечных, вернуть им здоровье и силы.

Острой проблемой, особенно в первое время, как я уже выше писал, была проблема обеспечения польских детских домов квалифицированными педагогическими кадрами. В марте 43-го года, когда 26 отделений благотворительного общества «Охронок» передавались в систему Наркомпроса Узбекистана, многих их бывших работников пришлось заменить. На 1 июля 1943 года из 21 директора вновь созданных детских домов только 6 были поляками, из 81 воспитателя 59. Но в то же самое время, в те же буквально месяцы была развернута большая работа по подготовке новых педагогических кадров из среды самих же поляков. Для этих целей в Ташкенте, Бухаре, Самарканде организуются специальные курсы. Активно включаются в дело областные методкабинеты. И вот результаты: на 1 мая 1946 года из 14 директоров польских детдомов — 13 поляки, из 83 воспитателей — 83 поляка. Проблема была решена. Как говорят документы, лучшими директорами польских детских домов были Э. Хазанчук — ташкентский детдом № 27, И. Гаммер — бухарский детдом № 5, Гольдфарб — самаркандский детдом № 12, Здунский — андижанский № 21, лучшими воспитателями — Конопницкая и Крайская (наманганский № 18), Пилецкая и Романус (пахтакорский № 24), Стардынек и Розенберг (ташкентский № 27).

С момента своего образоваиия все польские детские дома были разделены на школьные и дошкольиые. С 1 сеитября 1943 года все дети, с восьмилетнего возраста иачииая, были зачислеиы в создаииые специальио для иих иеполиые средиие и средиие школы или же, если в даииой местиости коитиигеит польских детей был иевелик,— в специальные польские классы при русских или узбекских школах общего типа. Скажем, воспитаииики 27-го польского детского дома в Ташкеите стали учеииками средией школы №71— той самой, с которой когда-то иачииал я свой поиск. А всего в Советском Союзе в годы Великой Отечествеииой войны было создаио польских школ 248, в различиых классах которых обучалось и воспитывалось свыше 18 тысяч польских детей и подростков.

Отчеты и справки, приказы и рапорты, подшитые к делу, при иекоторой доле воображеиия дают довольио широкое представлеиие о повседиевиой жизни этих детских домов. Там регуляриo выходят стеииые газеты — «Наше жице», «Орлы Лом», «Мы — млодзеж» и другие. Работают различиые кружки — кройки и шитья, вязаиья и вышивки, исторические, литературио-драматические, музыкальиые, хоровые, таицевальные, шахматиые. В репертуаре самодеятельиых артистов самаркаидского польского детского дома № 30— третья часть «Дзядов» А. Мицкевича, ташкеитского детдома № 27— «Двеиадцать месяцев» С. Маршака. В самаркаидском детдоме № 12 ставятся одиоактиые пьесы, иаписаииые иа материале жизии детдома его художествеииым руководителем Розеибергом. Политической остротой и актуальностью отмечеи репертуар драмкружка бухарского детдома № 5 которым руководит профессиональиый режиссер Лотар.

Широко развивалось и поддерживалось в польских детских домах детское самоуправление. Коллективы воспитанников избирали свои советы, создавали трудовые бригады, которые оказывали посильную помощь близлежащим заводам, колхозам и клубам, поддерживали постояииую связь с правлениями областиых отделеиий Союза польских патриотов, прииимали живое участие в деятельиости местных оргаиов «Кола младых патриотов». Жизиь польских детских домов в Узбекистаие иикак ие иазовешь обособлеииой, замкиутой в собствеииых стеиах, иаоборот: с течеиием времеии оии все активией и миогообразией включались в жизнь того города, где находились, приобщались к буриым событиям времеии.

Все отчеты и справки, связаииые с пребываиием польских детских домов в Узбекистаие, охватывают период с марта 1943-го по май 1946 года. Что же случилось с иими потом? Отчего при всей настойчивости поисков мне так и ие удалось разыскать сегодня ии одного из воспитаиииков, ии одного воспитателя этих детских домов иа территории иашей республики? Листы архивиого дела дают ответ и иа эти вопросы.

23 октября 1945 года Компольдет иаправил Наркомпросу Узбекистаиа подробиую ииструкцию о возвращеиии польских детей на родииу. На осиоваиии этой ииструкции Наркомпрос Узбекистаиа издает пространный приказ, в котором коикретио и четко, по пуиктам

и датам расписана вся программа реэвакуации польских детских домов. Составляются поименные списки воспитанников и сотрудников польских детских домов (они и сейчас хранятся в архиве). На банковский счет Узснабпроса перечисляется 287 336 рублей: каждый воспитанник на дорогу должен быть обеспечен «пальто по сезону, парой обуви, двумя парами верхнего платья, двумя парами нижнего белья, головным убором по сезону, одеялом, двумя простынями, двумя наволочками, матрасом, тремя парами чулок, перчатками, тремя носовыми платками, двумя полотенцами». Сотрудникам Управления детских домов вменяется в обязанность строго проследить за тем, чтобы «одежда и обувь были подобраны по размеру и хорошего качества». За счет фондов Наркомпроса и Узснабпроса, а в случае необходимости — путем получения дополнительных фондов через облторги реэвакуируемые польские детдома обеспечивались на дорогу продуктами питания в объеме месячного запаса по нормам детских домов. На нужды в пути выделялась 131 тысяча рублей. Приказом предусматривалось, что детдома будут сопровождать по одному представителю от каждой области, где они пребывали. Общее руководство детдомами в пути возлагалось на специально назначаемого начальника эшелона.

Так завершалась узбекистанская эпопея осиротевших польских детей.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА

из Москвы 72/0 137 147 17 2211
8 пунктов:

Ташкент, Совмин Узбекской ССР,
Сталинабад, Совмин Таджикской ССР,
Ташкент, начальнику пассажирской службы Ташкентской железной дороги
Ахшабад, начальнику пассажирской службы Ашхабадской железной дороги
Бухара, облисполком
Карши, облисполком
Сталинабад, облисполком
Самарканд, облисполком

Для отправки польских детдомов Польшу приказанием Центрального пассажирского управления Министерства путей сообщения № 2604/26 от 10.04.46 направляем вам спецсостав № 6 двадцати пяти классных вагонов конечным маршрутом Сталинабад зпт откуда забирает Сталинабадский и Гиссарский детдома 187 человек зпт Бешкентской 54 тире станция посадки Карши зпт детдома Самаркандской области 588 человек тире станция посадки Самарканд зпт Бухарский и Кермининский детдома 318 человек зпт всего 1147 человек тчк После окончательной посадки детей спецпоезд отправляется распоряжению дороги маршрутом они же пункты питания Ташкент Туркестан Кзыл-Орда Аральское море Челкар Кандагач Илецк Саратов Ртищево Мичуринск Орел Брянск Гомель Лунинец Брест

перегрузка Польшу тчк Спланируйте время посадки тчк Увяжитесь начальниками пассажирских служб Ташкентской и Ашхабадской железных дорог тчк Организуйте отправку 25 тире 30 апреля тчк

НАЧАЛЬНИК ПЕРЕСЕЛЕНУПРАВЛЕНИЯ
СОВМИНА РСФСР БЫЧЕНКО.

Того же содержания телеграмма была направлена в Андижан, где в эшелон погружались воспитанники и сотрудники андижанского детского дома №21 и наманганского №18, а также в Коканд, где ждали его питомцы детдома №8.

Первый спецпоезд — 280 воспитанников, 99 сотрудников (и членов их семей) польских детских домов Андижана, Намангана и Коканда — прибыл в Ташкент 1 мая. Начальник эшелона — представитель Ферганского облоно Л. И. Аллярова — рапортовала на вокзале заместителю Министра просвещения Узбекской ССР Е. В. Рачинской о полной готовности спецпоезда следовать к советско-польской границе. После бурного митинга со слезами прощания и клятвами в дружбе в тот же вечер, в 19 часов по местному времени спецпоезд двинулся дальше — на Арысь и Челкар, Саратов, Орел и Брест.

9 мая — в первую годовщину празднования Дня Победы — под звуки духового оркестра от перрона ташкентского вокзала отбыл второй эшелон: 11 польских детских домов Узбекистана и 2 Таджикской ССР, 773 воспитанника, 514 сотрудников и членов их семей.. Начальником эшелона была назначена директор ташкентского детдома № 31 Е. Р. Кауфман. Шесть детдомов Самарканда и области сопровождал уже известный нам Б. Фузайлов. Из сохранившейся в деле докладной записки первой из них и живого рассказа другого я и стараюсь восстановить эту последнюю страницу истории польских детских домов в Советском Союзе.

Собственные, по тем временам довольно солидные, припасы, горячие обеды на крупных станциях давали возможность кормить детвору четырежды в день. Не голодали. Не доставляло особых забот и здоровье воспитанников. Ни одного случая желудочно-кишечных заболеваний — того, чем так стращали их провожавшие,— отмечено не было. Объяснить это можно, наверно, не только счастливым везением, но и той чрезвычайной санитарно-профилактической бдительностью, которую проявляли и сами воспитанники — дежурные по вагонам и группам, все воспитатели и сопровождавшие, три врача и шесть медсестер. Дважды в сутки вагоны проветривались. За время в пути мылись в бане шесть раз, постельное белье и одежда трижды дезинфицировались. В специально оборудованном и оснащенном вагоне нес постоянную вахту главврач эшелона.

Поначалу возбуждение детей в предчувствии встречи с родными местами выливалось порой в своевольную шаловливость, непослушание, озорство. Внушения и выговоры не помогали, не действовали, да воспитателям и самим в эти часы ожиданий никак не хотелось прибегать к строгим мерам. Оставалось одно: направить возбуждение

ребят в какое-то полезное русло. Так родилась идея каждой группе и каждому вагону в отдельности готовить свой номер к прощальному вечеру в Бресте. Дисциплина в спецпоезде установилась сама собой, и не та, что давит и глушит,— другая, что сама возбуждает энергию детской души, влечет ее к общему доброму делу.

Но с приближением мест, где так недавно еще проходили бои, настроение ребят заметно менялось. Разбитые станции и обгорелые остовы домов, испепеленные села и при дороге распластанный труп самолета с крестом — все это потрясло, подавило детей. Теперь уже не нужно было их укрощать и осаживать. И объяснения тоже были излишни. Они глядели на скособоченный танк, в пустые глазницы безлюдных домов, они видели и сами все понимали — война.

Девятнадцать суток добирался до Бреста первый эшелон с воспитанниками польских детских домов Узбекистана. 20 мая он был остановлен вблизи советско-польской границы. Процедура сдачи-приема длилась два дня.

АКТ

город Брест — 22 мая 1946 г.

Настоящий составлен представителем Ферганского облоно Алляровой Л. И. и директором детдома № 8 г. Коканда Вайсбродом Б. А. в том, что первая сдала, а второй принял репатриируемых в Польшу восемьдесят детей — воспитанников кокандского детского дома № 8 здоровыми, в хорошем физическом состоянии.

Кроме того, первая сдала, а второй принял материальные ценности по актам на сумму (не считая продуктов питания):

твердого инвентаря — 8627 руб. 32 коп.
мягкого инвентаря — 39143 руб. 13 коп.

Всего 47770 руб. 45 коп.

Подписи: Л. И. АЛЛЯРОВА
Б. А. ВАЙСБРОД

АКТ УТВЕРЖДАЕМ:

От советской стороны — представитель Совета Министров СССР
КЛОКОВ

От польской стороны — представитель Правительства национального единства
РУЖА

Подобные же акты были составлены о передаче андижанского детдома № 21 и наманганского № 18.

Вечером 22 мая состоялся прощальный митинг и концерт детской художественной самодеятельности — концерт, на котором, одна сменяя другую, звучали польские, русские, узбекские песни.

23-го утром сопровождавшие спустились на брестский перрон. Поезд медленно двинулся к польской границе.

А еще через три дня, 26 мая, в 9 утра прибыл в Брест второй эшелон. Та же процедура сдачи и приема. Подписание актов.

Вечером 28-го после песен и танцев, исполненных у костра бывшими самаркандцами и каршинцами, бухарцами, ташкентцами и сталинабадцами, после взволнованных, вперемежку с улыбками и слезами слов воспитателей и расстававшихся с ними сопровождавших выступил представитель Правительства национального единства пан Ружа:

— Пройдут годы, и дети, которых в лихолетье войны вы сохранили для Польши, для жизни и счастья, станут большими и взрослыми. Но никогда не забудут они, чем обязаны Советскому Союзу и советскому народу, Коммунистической партии, правительству и народу и Узбекской республики. Эти чувства они по наследству передадут своим детям и внукам, чтобы и в них жила благодарность, любовь и сознание нашей великой интернациональной общности... Сегодня мы разъезжаемся в разные стороны. Мы увозим с собой наше будущее — спасенных вами детей. Увезите ж и вы наш горячий, наш братский привет гостеприимной и щедрой узбекской земле!

Последний лист архивного дела — телеграмма за подписью бывшего директора андижанского польского детского дома № 21, отправленная 4 мая 1946 года из Челкара, где по пути из Ташкента совсем ненадолго остановился первый спецпоезд:

Ташкент Пушкинская 17 Министерство просвещения
Челкара 44 37 4 19 —
Дирекция сотрудники дети андижанского польского детского дома благодарят вас вашем лице советское правительство за гостеприимство и заботу оказанные тяжелые годы войны тчк Чувство благодарности советскому правительству сохраним на всю жизнь = Директор Здунский

Все. Архивное дело прочитано. Папки вернулись на прежнее место в глубокие недра хранилищ. А чувство осталось какое-то двойственное, я бы назвал его — грустная радость. Радость — оттого что, словно на киноэкране, увидел картины жизни давно отшумевшей, третью века отдаленной от нас. Грусть — оттого что лица людей на этом экране неконтрастны, расплывчаты, будто в тумане, и голоса их — глухие, едва различаешь, а временами, точно в фильме немом, не слышишь совсем. Вместо них — докладные и акты — субтитры, лишенные живых интонаций. При строгом, академичном обращении с архивом ощущение такое, должно быть неизбежно. Чтобы картины былого обрели конкретность, лица ожили, а слова архивных героев эмоционально окрасились и заиграли всей радугой страстей человеческих, нужно дать волю воображению и домыслу. Но я уже изначально связал себя, как вы помните, самым жестким условием: только факты, действительно имевшие место, сцены, документально

подтвержденные, герои реальные. Но есть, подумалось мне, есть еще один путь, не отступаясь от принятого обета, оживить и восполнить картину былого, заставить архивных героев заговорить в полный голос — увидеть, услышать их самому. В Узбекистане их нет — давно распрощались. Значит — в Польшу! К тому же, не стану скрывать, уж очень хочется знать, как сложились впоследствии судьбы бывших питомцев узбекистанских детских домов, чем вспоминают они ту землю, что в тяжкие годы дала им приют, не забыли ль ее и, наконец, оправдались ли в жизни те заверения, что в часы расставания давал тогда не один только Здунский? Ответить на эти вопросы может сегодня одна только Польша. И я собираюсь в дорогу.

Так вот откуда были они, те сиротские дети! Теперь, проезжая по этой земле — по зеленым равнинам ее, мимо тихих, задумчивых рощ, через чешуйчато-серебристые, неторопливые реки,— я глубже, полней понимаю, откуда тогда были их тоска, их томленье по родине. Акварельный закат над красавицей Вислой. Полуденный зов трубача, на полуслове, на полузвуке оборванный и снова звучащий с небес над средневековыми, тесными, улочками и новыми площадями седого, мудрого Кракова. Трепет листвы в Лазенковском парке, будто солнечным светом, насквозь пронизанном лучами волшебной гармонии Фридерика Шопена... Да, им было по чему тосковать, к чему тянуться душой, а вернувшись, к чему приложить свои руки и сердце. Прекрасная Польша! Обновленной из пепла восставшая, свободная и сильная Польша!

Мне повезло: вопрос, что встал предо мной после чтения архива,— помнит ли Польша, сохранила ли в жизни те добрые чувства, о которых когда-то писал в телеграмме директор андижанского польского детского дома,— в общей форме этот вопрос сам собою решался уже с первых минут и с первых шагов по этой многострадальной земле. Польша помнит. Она как святыню хранит в своем сердце благодарную память о тысячах советских бойцов и командиров, отдавших жизнь за освобождение Польши, о братской помощи Коммунистической партии и Советского правительства в героической битве лучших сынов польского народа «за нашу и вашу свободу». Об этом молчаливо свидетельствуют любовно ухоженные памятники и целые мемориальные ансамбли, живые цветы на братских могилах советских воинов-освободителей. Память о них увековечена в именах площадей, проспектов, селений, а главное, как я видел своими глазами,— в народной душе.

Но это вообще. Мне же хотелось конкретно узнать, чем и как поминают советскую землю и советских людей бывшие воспитанники узбекистанских детских домов. Но как их разыщешь среди 35-миллионного населения сегодняшней Польши за короткий командировочный срок?

Мне подумалось: самое верное средство — печать... Мне-то подумалось, а как отзовутся на это редакции польских газет? Могло ведь случиться и так, что поиск, меня поглотивший, не очень-то

интересен для них. Сомнения были напрасны. Статья-обращенье «Отзовитесь, друзья!» была напечатана.

«В 1941 году Янине Крупе из Кракова было три года, и она едва ли может припомнить сейчас, какая злая судьба превратила ее в сироту, при каких обстоятельствах очутилась она, совсем еще кроха, за тысячи километров от дома — в далекой и знойной Бухаре, какая добрая рука привела ее в дом, где она опять ощутила материнскую ласку, тепло и заботу.

Не больше припомнит, наверно, и Галина Гратковска, того же возраста девочка из селенья Скалат, в годы войны — воспитанница самаркандского детского дома.

Но, может быть, память Юзефа Бабьяша из селения Клепки, в ту пору подростка пятнадцати лет, или шестнадцатилетней Ядвиги Вочевской из Варшавы, укрытых от бедствия войны за стенами хивинского детского дома,— может, их память сохранила картины тех лет, тепло человеческих душ, вернувших их к жизни?

... В мае 1946 года все поляки — воспитанники узбекистанских детских домов вернулись на родину. Судя по актам, подписанным на станции Брест и ныне хранящимся в Государственном архиве Узбекской республики, вернулись и вы. Но как в дальнейшем сложилась ваша судьба, судьбы ваших товарищей? Где вы ныне? Вспоминаются ль вам узбекистанские дни вашей жизни, яркие звезды над минаретами Самарканда, хлопковые поля Ферганы, лица ваших узбекских опекунов, воспитателей, добрых товарищей?

Отзовитесь, друзья. Мы ждем ваших писем».

Интервью о тех же давних событиях и с тем же призывом на видных местах напечатали воеводские газеты «Эхо Кракова», таруньские «Новости», «Познаньский экспресс», кельцское «Эхо дня», варшавский журнал «Пшиязнь». Возможность прямо и непосредственно обратиться с этим вопросом к широкой аудитории польских зрителей была предоставлена Центральным телевидением Польши.

Теперь оставалось ждать — дошло ли мое обращение до бывших узбекистанских воспитанников, захотят ли откликнуться?

Но ждать, сидеть сложа руки — пустое занятие. Значит, что же? Использовать каждую встречу с читателями, чтоб, напомнив о фактах военного времени, обратиться к ним с просьбой напрячь свою память, припомнить, нет ли среди их родни, соседей, сотрудников, просто знакомых тех, кто когда-то рос и воспитывался в детских домах Узбекской республики? Я был убежден: достаточно разыскать одного, дальше должна потянуться цепочка — от первого ко второму, от второго к третьему, и дальше, и дальше... но как добраться до первого?

Город Любско — на самой границе с Германской Демократической Республикой. Город мал — 13 тысяч жителей, 20 вместе с районом. Старинный дворец с анфиладой торжественных залов, ук-

рашенных живописными плафонами, с мрамором расходящихся лестниц, узорным зеркальным паркетом. Сейчас здесь клуб, библиотека, амфитеатром устроенный зрительный зал.

После встречи с читателями нас приглашают в находящийся рядом Лужицкий сельскохозяйственный комбинат. Везет нас туда его директор Збигнев Неминский. Русским владеет он превосходно. Ничего удивительного: выпускник Московской высшей партийной школы. Вырулив на прямую дорогу, он говорит:

— Пан ищет бывших воспитанников узбекских детских домов? Одну такую я, кажется, знаю — пани Барбара Синерацька.

Подскочив, я ударяюсь о крышу кабины.

— Где она? Как ее разыскать?

— Ну, может, я еще ошибаюсь, может, она не из тех, кто вам нужен, но что пани Барбара во время войны росла сиротой в советском детдоме,— это я сам слыхал от нее. Часто про то вспоминает. А живет она... Вот ее адрес, пишите: Легницкое воеводство, город Глогув, аллея Вольности, 27, квартира 7. Километров 120 отсюда.

К вечеру вместе с польским писателем Витольдом Недзвецким мы вернулись в Зелену Гуру. Недзвецкий меня успокаивает:

— Вы поспите, я попробую ночью дозвониться до Глогува. Все проверю. Подтвердится — поедем. Зачем пан волнуется?

Ночью мне снится пани Барбара — польская девочка в широком атласном платье, шитой золотом бархатной тюбетейке. Она улыбается и, мешая польские слова со словами узбекскими, что-то мне живо рассказывает, но что — не пойму.

Утром Недзвецкий ждет меня в холле гостиницы.

— Ну? Дозвонились?

— В Глогуве телефона такого в справочной нет.

А сколько было надежд! Обидно и горько. Разочарованно, с упавшим сердцем спрашиваю:

— Что будем делать?

— Как это что?— недоумевает Недзвецкий.— Проблемы нет. Едем.

По дороге он снова меня успокаивает:

— Не может такого быть, чтобы пан Неминский ошибся. Найдем.

Спокойный равнинный пейзаж. Поля. Перелески. Жителю южных широт, мне странно наблюдать горизонт, не усеченный ломаной линией горной гряды. Странно видеть эти мягкие краски без четких границ и световых перепадов. Впрочем, мысли мои не о том. Всю дорогу я решаю задачу: что побудило Недзвецкого без всякой нужды для себя отправиться в такую дорогу? Постепенно, один за другим, у меня вызревают три варианта возможных мотивов его поведения. Первый: он просто хороший, отзывчивый человек, добрый хозяин, готовый услужить беспокойному гостю. Второй: дело тут вовсе не в общем отношении хозяина к гостю, а в том, откуда он, этот гость, из каких краев он явился. Вариант третий, последний: пан Витольд — поляк, а значит, хочет, этой услугой как бы ответить на то добро по отношению к польским сиротам, о котором ему и

при нем я уже много рассказывал, как бы выразить этим без громких слов и признаний свою благодарность. Поскольку один вариант не исключает другого, я решаю, что объяснение поступка Недзвецкого не в том, не в другом обособленно, а в комплексе всех этих трех вариантов. К тому же мы приближаемся к Глогуву и продолжать свои изыскания в зыбкой области психологии больше некогда.

Шоссе — сплошная аркада под зеленым готическим сводом — мягко вливается в город. Аллею Вольности искать не приходится — продолжение шоссе.

Мы медленно едем вдоль разностильных, кустарником и деревьями разделенных домов, всматриваемся в их номера: 4-й, 17-й, 72-й, потом 35-й. Доехав до оживленной развилки, где аллея кончается, поворачиваем обратно, теперь уже следя за номерами домов по другой стороне. Опять то же самое: 2-й, 45-й, 46-й. Ни системы, ни какой-то последовательности. Как в новых ташкентских кварталах. Тогда, оставив машину, мы отправляемся на розыск пешком. Мы изучаем дворы и флигели, опрашиваем прохожих, которые очень охотно и обстоятельно дают разъяснения, диаметрально противоположные друг другу. Ценой немалых усилий мы обнаруживаем 25-й затем 28-й. 27-го нет, как сквозь землю ушел. Чтобы ускорить поиски, мы разделяемся: Недзвецкий обследует левую сторону, я остаюсь на правой. Конечно, Недзвецкому легче, он свободно, на родном языке объясняется с каждым прохожим. Мои нулевые познания в польском какое-то время удерживают меня от расспросов. Но вскоре, осмелев, а может быть, и отчаявшись, я тоже рискую вступить в словесный контакт не с одним, так с другим. Где находится 27-й, никто указать не может, но я с удовольствием убеждаюсь, что даже здесь, на крайнем западе Польши, русский язык не чужой — его понимает и с готовностью на него откликается каждый.

Эксперимент продолжается часа полтора. Наконец, приметив мужчину среднего возраста с головой, никогда не нуждающейся в услугах цирюльника, я направляюсь к нему, чтоб в который уж раз повторить свой вопрос. Он оборачивается и я вижу Недзвецкого. Тайна 27-го дома так и остается непознанной, неразгаданной. Мы молча, подавленные возвращаемся к машине Недзвецкого. Он раздраженно включает мотор, резко дергает с места.

— Обратно?

Недзвецкий не глядит на меня. Бросает сердито:

— В милицию.

Так оказался я в польской милиции, посещение которой уж никак не предусматривалось программой командировки.

Пока пан Витольд рассказывает, кто я такой и какая нужда привела нас сюда, сержант с нарукавным номером 528/29 разглядывает нежданного гостя сначала, как мне показалось, с некоторой настороженностью, потом с любопытством и доброжелательной улыбкой. Через минуту все выясняется: дома 27-го по аллее Вольности не существует — снесли, чтоб на месте его построить новый, бетонный.«Но,— глядя на наши огорченные лица, добавляет сержант,— давайте без паники. Сейчас мы поищем».

С кем-то немногословно, но вдохновенно поговорив по телефону, он сообщает нам доверительно:

— Прошу пана: Синерацька Мария, в девичестве Шведа, 1934 года рождения, уроженка села Янувка, Луцкого воеводства — аллея Вольности, 21, квартира 64.

Представьте нашу досаду: раз десять в течение последнего часа проходили мы с паном Недзвецким мимо этого дома!.. Но почему же Мария — нам нужна Синерацька Барбара.

Сержант утешает:

— Наверно, сестра. А может, Барбара и есть по документам Мария? Какая польская женщина позволит себе всего одним только именем обходиться?! Нет, у ней одно для работы, другое — на выход, на праздники, одно — для сослуживцев, знакомых, другое — для мужа, в домашнем кругу. Как костюм или платья. Им забава, а нам, представьте, сколько забот! Но минуту, минуту, панове, сейчас все проверим.

Он снова листает какую-то книгу, вертит диск телефона. Пока он учтиво беседует, Недзвецкий мне разъясняет:

— Квартирной соседке звонит. К самой с такими вопросами неделикатно.

Через минуту, явно довольный собой, с улыбкой Мэгрэ, распутавшего еще одну детективную историю, он говорит:

— Так и есть: Мария она. Сирота. Всю войну прожила в советском детдоме. Остальное узнаете сами.

Мы изливаемся в благодарностях, жмем руку сержанту. Я пишу в свой блокнот его имя: Роберт Бжезинка.

И вот мы звоним в дверь квартиры. Пани Барбара приглашает нас в комнату. Недзвецкий меня представляет, в заученных уже выражениях говорит, какая нужда заставила нас ее потревожить.

По мере рассказа Недзвецкого лицо хозяйки меняется. Растерянность. Отстраненный, в глубины памяти погрузившийся взгляд. Вспышка волнения. На глазах ее слезы.

— Пан оттуда? Из Узбекии пан?— сорвавшимся голосом, с трудом произносит она и глядит на меня, словно потерянный брат после долгой разлуки явился. Теперь, под напором на меня устремленных благодарно взволнованных взглядов, видя слезы, дрожание рук, я и сам, как она при знакомстве, ощущаю неловкость — будто присвоил себе по праву другим принадлежащие чувства. Стараюсь восстановить справедливость:

— О нет, пани Барбара, лично я никакого участия в устройстве польских детей тогда не принимал. Я просто об этом книгу пишу, и мне бы очень хотелось услышать от вас все, что помните вы о тех временах.

— О, я вспомню, я расскажу!— все так же волнуется пани Барбара.— Только сначала прошу панов до стола.

Я пытаюсь отклонить предложение хозяйки, но она стоит на своем:

— Пан не должен, не может отказаться отведать хлеб в моем доме. Пан разумиет? В те страшные годы — я того никогда не забуду — ваши... как это?— да-да, земляки, жители того краю делили

с нами, чужими детьми, последний кусок. Только поэтому мы и остались в живых.

Что ж, это правда: я не должен отказываться — зачем же лишать человека возможности удовлетворить такую естественную, быть может, годами копившуюся в нем потребность хоть как-то ответить добром на добро?

Мы садимся за стол. И Барбара рассказывает.

Да, от рождения ее имя Мария, фамилия — Шведа. Зимой 41-го вместе с родителями, старшим братом Людвиком и старшей сестрой Хеленой она после долгой и трудной дороги оказалась в Хорезме. Ей было в ту пору семь лет, но она не забыла, она помнит всегда, с какой теплотой и сердечностью приняли их в колхозе «Кызыл юлдуз», близ селения Ханки, куда было направлено несколько польских семей. Здесь и прожили они целых два года. В 43-м, вспоминает Барбара, отец — его звали Михаил — и шестнадцатилетний Людвик, который прибавил себе два года, вместе ушли добровольцами в формировавшуюся тогда дивизию имени Костюшко. В первое время были письма от них — то отец, то Людвик пришлет, потом — как отрезало. Совсем еще малый ребенок, Мария не представляла тогда, какая беда стоит за этим молчанием, а мать с каждой неделей с каждым днем, усугублявшим ее опасения, чахла все больше и больше. Последнее, что помнит Мария о матери,— как люди в белых халатах куда-то увозят ее на арбе, как бьется и плачет Хелена.

Потом та же Хелена привела ее в дом, где было много детей, говоривших по-польски. Здесь они и остались. Так девятилетняя Мария и пятнадцатилетняя Хелена стали воспитанницами Ханкинского польского детского дома. Но пробыла Мария в этом детдоме недолго: уже при первом осмотре врачи обнаружили у нее воспаление легких, малярию, пеллагру и дизентерию. И как она только добралась до детского дома? Несколько дней Марию держали в изоляторе, давали лекарства какие-то, питание усиленное.

Дорога в больницу ей не запомнилась — должно быть, совсем уже была плоха. Зато сама больница врезалась в память уже навсегда. Что конкретно запомнилось?

— Как-то раз открываю глаза — два врача надо мной. Хоть и слабо тогда я знала по-русски, а о чем разговор — разобрала. Один говорит: последнее, что остается,— переливание крови. Другой согласно кивает. Берет меня на руки кто-то — была как пушинка,— куда-то несет. А там мужчина сидит в тюбетейке, в полосатом халате, и усы еще, помню, к подбородку свисают. Меня на одну положили на узкую койку такую, его на другую. Между нами — трубка резиновая... Та кровь течет во мне и теперь.

И еще ей запомнилась девочка Валя из Ленинграда, с которой она подружилась, когда стала ходить. Сначала в палате вместе играли, потом на больничном дворе. Под конец, уже перед выпиской, наладились бегать на речку купаться.

— Плавала я хорошо, да и речка была неглубокая. А тут затянуло в водоворот, закрутило — тону! Если б не Валя — пошла бы ко дну. Это второй уже раз вернули там меня к жизни.

Больше года провела Мария в больнице. Отправляли оттуда здоровой и крепкой, но почему-то не обратно в Ханки, а в душанбинский детдом. Хелена была уже там.

Конечно, Мария не знала, да и откуда было ей знать, что за время, пока болела она, два польских детдома Каракалпакии и один — Ханкинский — Хорезмской области были расформированы, а часть их воспитанников переведена в Душанбе. Об этом она узнает уже только теперь, от меня, внимательно изучившего историю польских детских домов по архивам.

В душанбинском детдоме, вспоминает Мария, было три здания. В одном они жили. В другом — медпункт, изолятор. В третьем здании располагалась школа, преподавание в которой велось учителями-поляками, и все дисциплины по-польски. Как драгоценную реликвию Мария мне демонстрирует свидетельство об окончании 4-го класса, 20 апреля 1946 года выданное ей в Душанбе. Об уровне преподавания в этой школе можно судить по тому, что в Польше, по возвращении, Марию сразу же определили в 6-й класс.

Жизнь в детдоме била ключом: занятия в кружках — литературно-драматическом, хоровом, танцевальном, спортивные игры и соревнования. Мария и сейчас не без гордости вспоминает о том, как возили их на стадион в центре города и как команда детдома заняла второе место в районе. Помнит она новогоднюю елку, веселый концерт, который тогда подготовили воспитанники под руководством Юрия Тайтеля — директора детского дома, чудесного воспитателя, прекрасной души человека. «Он был нам всем как отец,— говорит, волнуясь, Мария.— Уже в Польше, когда я попала во вроцлавскую больницу, он меня разыскал, приносил мне еду и разные книжки, а однажды, почему-то решив, что врачи не уделяют мне достаточного внимания, такой им устроил разнос — вся больница шумела».

— В нашем детдоме среди польских детей был мальчик-таджик — Абдулло Казимов. Мы называли его Казимеж. Был он у нас запевала. Под его руководством разучивали мы таджикские песни. Потом, выступая и просто так, для себя, пели все вместе то польские, то русские, то таджикские песни. Я и сейчас, бывает, услышу те песни — плачу, как девочка. Когда уезжали, мы все уговаривали Казимежа ехать с нами. Он улыбался, все свои книжки, игрушки нам раздарил, обещал, что в гости приедет. С тех пор ничего я о нем не слыхала. А как бы хотелось опять увидеть его!..

29 мая 1946 года второй эшелон с воспитанниками польских детских домов Узбекистана и Таджикистана на станции Брест пересек советско-польскую границу. В этом эшелоне была и двенадцатилетняя Мария Шведа. Как сложилась ее жизнь на родине?

— Через Варшаву повезли нас в Гостынин, оттуда во Вроцлав, где был тогда распределительный пункт. Меня направили в «Семейный дом» в деревню под Вроцлавом. Там я закончила 7-й класс и поступила в текстильный техникум. По окончании техникума получила назначение на текстильную фабрику в городе Жары. В 1955 году вышла замуж за Синерацького. Сейчас мой муж прокурор города Глогув. Растут сыновья — Лешек и Анджей. Старший за-

кончил уже механический техникум, младший учится на геодезиста. Живем хорошо. Самая большая мечта? Побывать в тех краях, где прошла большая полоса моего детства, сказать там большое спасибо всем тем, кто отнесся к нам, польским сиротам, с такой огромной сердечностью, с такой — даже сказать как, не знаю,— с такой добротой материнской.

Последний вопрос, который я заготовил заранее: нет ли у нее каких-либо сведений о других воспитанниках детского дома, где живут они ныне, как сложились их судьбы?

— Сестра моя Хелена Кухарчик с мужем, Рихардом, живет во Вроцлаве. Но легче всего вам будет найти из наших детдомовцев Тадеуша Воляска. Он в Варшаве. Точного адреса нет у меня, но адрес вам и не понадобится: любого поляка спросите — Тадеуша знает.

Хозяйка знакомит нас с мужем, со взрослыми уже сыновьями, которые только что вернулись домой. Мы прощаемся, и пани Барбара просит меня передать сердечный привет той земле, откуда я прибыл. Она смотрит нам вслед глазами, полными слез, будто мы уносим с собой такие милые ей, еще совсем не остывшие воспоминания ее далекого детства.

Мы садимся с Витольдом в машину и долго молчим. Потом одну за другой перебираем драгоценные крупицы воспоминаний Марии-Барбары, и волнение ее, ее внутренний трепет передаются и нам. Общее светлое чувство как-то сближает нас, душевно роднит, и под воздействием этого чувства, сами не примечая того, мы непроизвольно переходим на «ты».

Пани Барбара оказалась совершенно права: первый же, у кого, по приезде в Варшаву, я спросил о Тадуше Воляске, дал мне все сведения — и адрес, и место работы, и телефон, по которому можно его разыскать. Я звоню, а на следующий день встречаюсь с паном Воляском.

Теперь мне понятно, откуда эта широкая популярность Тадеуша Воляска — чемпион Европы по боксу 1961 года, серебряный призер 1957 и 1959 годов, обладатель серебряной медали Олимпийских игр 1960 года. Сейчас он старший тренер команды «Гвардия Варшавы» — чемпиона страны 1972, 74 и 76 годов.

Тадеуш Волясек родился в городе Ломжа в 1936 году. Пятилетним мальчиком вместе с матерью, младшим братом Хенриком и двумя младшими сестрами Христиной и Ядвигой он оказался в Средней Азии.

— Если бы не детдом, мы все бы тогда погибли,— признается Волясек и, дабы никаких уже сомнений не оставалось, добавляет по-русски:— Понимаете, как это было? Одинокая женщина, больная совсем, а у нее на руках четыре ребенка, старшему, мне, шестой год. Ну, куда нам деваться? Спасибо, в колхозе сказали, что для польских детей специальный детдом открывается. Отвезли нас, и мать с нами вместе осталась — кухарка.

В душанбинском детдоме Тадеуш закончил три класса. Учился на польском. Там же и спортом он начал в кружке заниматься. Помнит, как поразил его Самарканд, куда возили их на экскурсию. Помнит колхозное поле, где они собирали арбузы и дыни для детского дома.

Мои расспросы немного смущают Воляска: он очень хотел бы мне рассказать побольше, в живых и конкретных подробностях о жизни детдома, да возраст в ту пору был у него еще «несознательный», ребяческий возраст, вот и в памяти его сохранились не детали, не частности, а ощущение общее, цельное — ощущение тепла и заботы, чувство дома родного.

Вернулся он в Польшу в 46-м. Потом была школа во Вроцлаве, институт физкультуры, спортивная жизнь. Каждый раз, бывая в Советском Союзе, он чувствует себя так, словно находится дома, среди давних своих земляков. А в Средней Азии, как ни старался, с тех пор больше не был, а тянет, очень хотелось бы, теперь уже взрослым, снова увидеть ту добрую землю, поклониться ей низко за то, что и сам, и братья с сестренками остались в живых.

На прощание Тадеуш Волясек снабдил меня адресом Чеслава Ковальского — инженера из Вроцлава, бывшего воспитанника того же детдома. Но этим адресом воспользоваться я уже не успел — срок командировки истек, пора было возвращаться домой. А дома, куда я вернулся спустя две недели, меня ждали письма.

«Только что в «Эхе Кракова» прочитала статью «Где вы теперь?», и снова ожили воспоминания о годах войны, связанные для меня с далеким Узбекистаном.

36 лет миновало с тех пор, как я вместе с родителями оказалась на той чудесной земле. Было это в 1942 году. Лишения и трудности военного времени, тяжелые душевные переживания подкосили родителей. Они умерли почти одновременно, и мы с младшим братом Мечиславом остались совершенно одни, беспомощные и бесприютные.

Большую помощь тогда оказали нам местные жители — узбеки из колхоза в окрестностях Вабкента. Они нас кормили, окружили сердечной заботой. Вскоре мы оказались в детдоме — сначала в Вабкенте, а затем в Бухаре. Мне было тогда пятнадцать лет, брату — четыре.

Трудные были те времена. Сейчас, бывает, прилягу, светлые, трогательные воспоминания о пребывании в Бухаре, о доброте и сердечности, с которой на каждом шагу встречали нас там, охватывают меня. Возвратились мы в Польшу в 1946 году. Жили в детдоме в Острудзе. Я окончила среднюю школу, вышла замуж за офицера Войска Польского. У нас трое детей. Сыновья закончили среднюю школу, а дочка ВСП в Кракове. Я часто рассказываю детям о войне, о прожитых в Узбекистане годах, но для них это только история.

26 лет я проработала в различных детских учреждениях. В настоящее время работаю в государственном детском доме № 3 в городе Кракове.

Брат мой Мечислав еще долгое время по возвращении был воспитанником разных детских домов — в Острудзе, Мораге, потом он окончил ТВФ в Щецине, работал и учился в Академии физвоспитания в Варшаве. Сейчас он магистр физвоспитания и педагогики в основной школе № 12 Кракова. Мы часто с ним вспоминаем Узбекистан и мечтаем о том, чтобы еще раз побывать в Бухаре. Быть может, нам посчастливилось бы встретить наших старых знакомых — узбеков? А может быть, те, кто на снимке, что вам посылаю, узнают себя и напишут нам письма?..

г. Краков *Юзефа Маркевич (Бучковска)»*

Уважаемая пани Юзефа!

С глубоким волнением читал Ваше письмо, вместе с тремя фотографиями, любезно переадресованное мне редакцией газеты «Эхо Кракова». Большое спасибо Вам за быстрый отклик, за добрые воспоминания об узбекской земле! Очень хотелось бы получить от Вас более подробное и более детальное описание тех далеких годов. Это во многом помогло бы мне при написании той главы, которая посвящается судьбам польских детей, росших и воспитывавшихся в годы войны в узбекистанских детских домах.

Кое-что и я могу Вам напомнить. Скажем, что Юзефа Бучковска (1928 года рождения, из Златковиче) была переведена из вабкентского в бухарский детдом № 5 12 апреля 1943 года. За несколько дней до того, 5 апреля, туда же был переведен Ваш Брат Мечислав (1938 года рождения). Старшим воспитателем в этом детдоме была И. Стронцицька, директором Мандель, затем И. Гаммер, который в мае 1946 года вместе с детдомом рэвакуировался в Польшу. Могу Вам напомнить имена и фамилии некоторых Ваших ровесниц из тех, кто жил в том же детдоме:

Янина Лесневска — 1928 года, из Барановичей, как и Вы, сирота. Вместе с Вами 12 апреля 1943 года была переведена в бухарский детдом №5 из детдома в Вабкенте;

трое братьев-сирот Курыльцо: Алоиз (тот, что на снимке) — 1928 года, Александр — 1929, Казимеж — 1932 года;

Стефан Миодоньски — 1929 года, из Дубно;

Каролина Зигель — 1929 года, из Ярослава, училась на фельдшерских курсах.

Где они ныне? Как сложилась их жизнь?

Но вот в чем никак не могу разобраться. В списках, которые хранятся в архиве, значится будто у Вас в Вабкенте была сестра. Так ли это? Или просто ошибка?

Буду очень обязан Вам за скорый и подробный ответ.

г. Ташкент

Григорий Марьяновский.

«... Рада безмерно, что после стольких лет сохранились следы нашего пребывания в Узбекистане.

Хочу подтвердить Ваши предположения: да, Владислава Бучковска действительно моя сестра. Она вместе с нами была в вабкентском детдоме до его ликвидации и перевода нас в Бухару. В связи с тем, что Владя была старше, ее направили на работу в поликлинику в селе Кумушкент. Там она получила специальность медсестры и оказывала помощь больным. В настоящее время Владислава живет в Сулейувке близ Варшавы и работает преподавателем русского языка.

Что касается моей подруги Янины Лесневской, то она тоже вместе с нами вернулась на родину, вышла замуж и поселилась в Ольштынке около Ольштына. Имела четырех детей. В начале 60-х годов умерла.

Братья Курыльцо, о которых Вы вспоминаете, живут в Польше: Александр — в Познани, а где Алоиз и Казимеж — не знаю.

В первое время по приезде в Узбекистан мои родители работали в колхозе. Незнание узбекского языка заставляло нас объясняться очень смешно — то мимически, то употребляя такие выражения, как «моя — твоя». Очень скоро, однако, мы начали составлять целые предложения, вроде «моя твоя яхши кураман», и вполне прилично понимали друг друга.

Часто вечерами местные жители приглашали нас в гости. Помню как в круглых печах пекли лепешки, как угощали нас каишем, тухумбармаком, пловом и другими очень вкусными блюдами. Метек, которому было тогда четыре года, рос вместе с маленькими узбеками и прекрасно с ними ладил, но сегодня мало что помнит о том времени. Помнит только, что приходил на поле или на виноградник, где мы работали, а узбекские женщины угощали его самыми красивыми гроздьями. Их замечательный вкус он вспоминает поныне.

В бухарском детдоме у нас было свое подсобное хозяйство. Там работали пожилой человек по фамилии Турсунов, помоложе его — Бакаев и совсем молодой Пармон. Этот юноша очень к нам привязался и старался разговаривать с нами по-польски.

Яркое впечатление оставили сложенные из глины дома, которые называли «кибитки». В комнатах на полу одеяла, в углу — стопа одеял, сложенных до самого потолка. Но больше всего мне нравился столик, перекрытый ватным одеялом. В углублении под ним горел огонь, согревавший и собеседников и все помещение.

Были среди нас в Бухаре Тереза и Януш Гвязда. Сейчас Тереза живет вместе с мужем в Варшаве, фамилия ее — Длуска. Она закончила экономический институт, работает в Главном статистическом управлении. У нее двое взрослых детей. Януш тоже живет в Варшаве, но больше о нем мне ничего неизвестно.

Мария Радишевска по возвращении осела в Новом Таргу, работает там преподавателем ткацкого дела.

Янина Крупа (сейчас Колодзей), которую вы называли в своем интервью, живет в Ольштыне, работает воспитателем в детском саду. Об узбекской полосе своей жизни помнит мало — ведь ей тогда было

лет пять. Был в детдоме у нас мальчик постарше Мечислав Плохецки. Теперь он живет в Ольштыне, кинооператор.

Была бы безмерно рада совершить путешествие в Узбекистан, но как это сделать — не знаю.

г. Краков,

Юзефа Маркевич.

Письмо из Ольштына от Кристины Пиотрковской (в девичестве Мрувко).

«... Покинула я Вильнюс в июне 1941 года вместе с матерью, старшей сестрой и младшим на два года братом. Мне было тогда 10 лет. Эшелон нас доставил в Вабкент, откуда арбы развозили нас по колхозам. Там мы провели рождество, а потом и пасху.

Весной 1942 года в одном из колхозов был создан детдом для польских детей. Туда принимали сирот, а также детей малообеспеченных и нетрудоспособных родителей. Мама отдала нас без колебаний, так как дом гарантировал скромное, но регулярное питание. Детдом размещался в старой чайхане. Директором его была Миодоньска. Условия в 1942— начале 1943 года были очень тяжелые. Все предназначалось для фронта. Я заболела, а когда поднялась, детдом в Вабкенте уже был ликвидирован, воспитанников его перевели в бухарский детдом № 5. В этом детдоме вместе с братом Феликсом я и прожила до 1946 года.

Помню здание этого детского дома. Его окружала глиняная стена, а помещения, в которых мы жили, отделялись одно от другого крохотными двориками и переходами. (Сейчас это здание по улице Дзержинского реконструировано, в нем располагается Областной дом юных техников.— Г. М.). Заведовал детдомом Гаммер. Моей воспитательницей была пани Натансон, очень чуткая женщина. Уже после возвращения в Польшу она говорила мне: «Помни, Крыся, в случае нужды всегда обращайся ко мне». И оставила свой адрес в Лодзи.

В Бухаре существовала польская организация, которая оказывала нам помощь, например, раздавала одежду. Работал там Метек Плохецкий, который неплохо говорил по-узбекски. Сейчас он проживает в Ольштыне. Действовала также 10-летняя польская школа. Преподавателями ее были главным образом профессора Вильнюсского университета. Учительница, которую я до сих пор вспоминаю с сердечным теплом,— пани Вихневська. Впрочем, обо всех преподавателях бухарской школы воспоминания сохранились прекрасные. Это были хорошие люди, которые умели к нам подойти, а своими глубокими знаниями сумели обеспечить высокий уровень преподавания, доказательством чего является, в частности, то, что по возвращении на родину, после пяти классов бухарской школы, я сразу смогла поступить в 7-й.

Хорошо мне запомнился вечер, посвященный Мицкевичу, организованный нашими учителями. Городские власти часто предостав-

ляли нам здание местного театра, где мы давали свои представления: в детдоме существовал кружок художественной самодеятельности. Мы пели — солисты и хор, декламировали, танцевали краковяк, полонез. Я выступала тоже.

Функционировало также в Бухаре отделение Союза польских патриотов. До сих пор я храню как память о тех годах членский билет общества «Коло млодых». Заслугой Союза польских патриотов в Бухаре было развитие общественной и культурной деятельности.

На всю жизнь запомнился мне День Победы. На центральной площади Бухары состоялся митинг. Царила общая радость. Мы ожидали возвращения на родину.

Это произошло в мае 1946 года.

Из Бреста нас повезли в Гостынин, где находился распределительный детдом. Оттуда меня с братом направили в детдом в Острудзе. Я закончила общеобразовательную школу, затем курсы кройки и шитья, наконец школу медсестер в Ольштыне. Работала я в больнице, в глазном отделении, а после замужества — в детских яслях. Теперь я ими заведую. Дочери мои уже замужем, имею внука. Брат — инженер-строитель, работает в воеводском управлении.

Мечтаю о поездке в Бухару с одной из своих дочерей, чтобы и она, и все наши дети знали и помнили о том, сколько сделал для нас в тяжелые годы войны узбекский народ».

Письмо из Радома:

«Моя фамилия Сабина Кисель, в девичестве Михальска. Я родилась 10 октября 1927 года на Волыни, повит Лух, почта Сокул, село Павуз. Мой отец погиб в сентябре 1939 года.

В середине 1941 года я вместе с матерью, братьями и сестрами оказалась под Бухарой, в Ромитане. Мать работала в колхозе, жили мы впроголодь. Вскоре из сочувствия к нам брата Владислава, которому было тогда лет семь или восемь, приютил у себя один из местных жителей. Ни имени ни фамилии его я не помню. С тех пор нам, оставшимся детям, ничего о нем неизвестно. Может, потом его поместили в детдом? Может, тот человек усыновил Владислава, и он до сегодняшних дней благополучно живет в Узбекистане? Не знаем. Мы, совсем еще малые дети, совершенно не представляли себе, что происходит в мире, какие творятся события, и были бессильны разыскивать брата. А мать в это время уже сильно болела.

Вскоре ушли из дома еще два брата — одиннадцатилетний Здислав и с ним пятилетний Генрик. Как потом нам стало известно, Генрик во время этих скитаний скончался. Здислава забрала к себе какая-то узбекская семья.

Здоровье матери с каждым днем становилось все хуже, и она, от кого-то узнав об организации детдомов для польских детей, решила отдать нас туда. К этому времени вернулся домой старший — Здислав, и мы вместе с ним и Казимежем были отправлены в один из этих домов. Не помню, как называлась та местность, куда нас привезли. Знаю только, что детей там было очень много и все поляки.

Устроив нас в детдом, мать поехала в Бухару, где ее определили в больницу. Больше мы ее не видели.

Через некоторое время меня перевели в другой детский дом — в Бухару, а затем, поскольку мне исполнилось уже шестнадцать лет, направили на работу в колхоз, который назывался «Опытное поле».

В 1943—44 годах в этом колхозе работало восемь девушек из Польши, моих ровесниц. Все мы были воспитанницами детских домов. Некоторых из них я помню и сейчас. Это Ирэна Краевска, Янина Гжодзель, которые в 1946 году вместе со мной вернулись на родину, Хана, две Янки, Розалия, дальнейшая судьба которых мне неизвестна.

В колхозе работала я на совесть, часто отмечалась как передовик. Колхоз был исследовательский, а руководил им Иван Павлович, фамилию которого я позабыла, так же как и фамилии лаборантки Татьяны Николаевны и агронома Николая Николаевича. Вспоминаю о них с благодарностью. Эти люди очень нам помогали, были добры и отзывчивы. Мне бы очень хотелось разыскать их теперь, чтобы годы спустя выразить им свою сердечную признательность. Ведь, может быть, они еще живы, может быть, помнят меня — Зоя, с которой я вместе жила, другие коллеги, с которыми делила тогда работу, досуг, печали и радости?..

Весной 1946 года советские власти организовали транспорт, который собрал всех поляков, живших в окрестностях Бухары, и 10 мая мы выехали по направлению к Польше. На границе советские власти передали целый транспорт поляков польским властям. Когда я вернулась, мне было уже восемнадцать.

В первое время я жила в городе Сулехув, Зеленогурского воеводства. Затем разыскала в Радоме дядю — брата отца. Он принял меня как родную. Так и осела я в этом Радоме, вышла замуж, имею взрослых детей и внуков.

У меня не сохранилось никаких документов или снимков тех далеких времен. Остались только воспоминания — воспоминания о прекрасной земле, где на кождом шагу нас встречало доброжелательство и душевность, где с нами делились последним куском военного хлеба, оказывали помощь в чем только могли, принимали под свой кров, где к нам относились как к братьям и сестрам. Это я помню всю жизнь».

И еще одно письмо — из Пулавы:

«Мы никогда не забудем того, что Ваши соотечественники сделали для польских детей, которые в тяжелые годы войны нашли и кров, и дом, и уют под гостеприимным небом Узбекистана.

Г. Кендзерская».

И нет конца этим добрым, взволнованным благодарственным письмам — идут и идут...

ДОМОЙ!

Судьба народа и общества — большая история — преломляется в конкретных и частных человеческих судьбах, озаряя их светом свободы и счастья или на долгие годы повергая во мрак страданий и горестей.

Великие победы на Волге, на Курской дуге — переломные вехи большой народной истории — стали поворотным событием и в судьбах осиротевших детей — единицами названных и десятками тысяч неназванных героев этого повествования. Один из частных, но знаменательных отзвуков этих побед — полная перемена картины на ташкентском вокзале, той картины, что мною описана в главе «Ночи 41-го года». Опустела привокзальная площадь. Эшелоны, приходившие с запада, не доставляли больше исстрадавшихся беженцев. Поток прекратился, иссяк.

Наркомпрос УзССР. Приказ № 639, 1 августа 1943 года:
В связи с изменившимся характером и объемом работы Центрального детского эвакопункта разработать новое положение о его работе.

Да, Центральный детский эвакопункт, проделавший в первые годы войны колоссальную по масштабам, в высочайшей мере благородную и гуманную работу, ставший поистине авангардным отрядом службы спасения детства, функции свои исчерпал. Теперь перед ним вставали другие задачи, и соответственно должна была претерпеть изменения его организационная структура.

СОВНАРКОМ УзССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1904

г. Ташкент — 29 декабря 1943 года

Центральный детский эвакопункт Наркомпроса УзССР преобразовать в Центральный пункт Наркомпроса УзССР по приему и отправке детей.
Утвердить Положение о Центральном пункте наркомпроса УзССР по приему и отправке детей.

Так начинался новый этап узбекистанской эпопеи спасения осиротевших, потерявших родителей эвакуированных детей и подростков — последний этап славной истории.

В соответствии с Постановлением Совнаркома УзССР Наркомпрос республики перемещает бывший Центральный детский эвакопункт с вокзала — в его пребывании там нужды больше нет — на улицу Жуковского, 70. Директором нового пункта назначается Анастасия Ильинична Авдеева. Практическим руководством во всей

его деятельности становится Положение, одобренное и утвержденное Совнаркомом Узбекской ССР:

О ПОРЯДКЕ ОТПРАВКИ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ К РОДНЫМ

1. Выезд детей к родителям или родственникам в другие республики производить только через Центральный пункт по приему и отправке детей Наркомпроса УзССР.

2. До Ташкента ребенка должен сопровождать специально выделенный воспитатель, который при сдаче ребенка на Центральный пункт должен получить соответствующую расписку и предъявить ее в детдом, где она и хранится в личном деле возвращаемого родителям ребенка...

3. При выдаче ребенка на руки отцу или матери необходимо требовать от них расписку по установленной форме. При возвращении ребенка родственникам или доверенному лицу для отправки через них к родителям необходимо требовать доверенность.

4. Детский дом обязан выдать воспитаннику, передаваемому родным:

а) свидетельство о рождении, а если такового нет — справку медицинского эксперта об установлении возрасте;

б) табель успеваемости;

в) справку о состоянии здоровья;

г) педагогическую характеристику за последнюю четверть;

д) справку о снятии с питания.

5. Детский дом обязан одеть ребенка по сезону и в зависимости от того, куда ребенок выезжает. Если ребенок выезжает в северные районы, зимнюю одежду выдавать обязательно во все времена года.

Детям фронтовиков, которые возвращаются к родителям или родственникам, выдавать две смены закрепленного за ними обмундирования...

6. Детский дом обязан обеспечить воспитанника рейсовой карточкой и продуктами питания не менее чем на 10—30 дней, в зависимости от длительности пути следования.

И хлынула обратная волна.

Узнав через Центральный детский адресный стол, что потерянный в начале войны ребенок жив и здоров, что он находится в таком-то детдоме, колхозе, училище, на заводе, на воспитании у добрых людей, родители или родственники — кто остался в живых — слали письма и телеграммы со словами горячей благодарности, с нетерпеливыми просьбами — скорее, скорей! — прислать им ребенка.

И это были не единичные случаи. Вот лишь несколько записей из книги приказов Наркомпроса республики.

НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ ДЕТСКИХ ДОМОВ НАРКОМПРОСА УзССР

РАПОРТ

Мною получен пропуск для ребенка Сапожникова Вовы, находящегося в настоящее время на излечении в больнице по поводу коклюша. Сапожникова Вову мы

должны отправить в Москву к дедушке Сапожникову С. Т., проживающему в г. Москва-41, Большая Переяславская, 47, квартира 2, от которого имеется заявление. Прошу для сопровождения ребенка Сапожникова Вовы по указанному адресу разрешить командировать сотрудницу Наркомпроса Татарову А. Д.

Начальник Центрального пункта по приему и отправке детей. А. АВДЕЕВА

Следствием этого рапорта явился приказ Наркомпроса № 478 от **19 мая 1944 года: «Для сопровождения ребенка Сапожникова Вовы, 6 лет, по месту жительства в Москву к дедушке командировать в качестве сопровождающего сотрудницу школы № 129 Татарову А. Д.».**

И подобных приказов множество.

№ 493 от 23 мая 1944 года: «Для сопровождения ребенка Гурари Марка, 6 лет, к дедушке Плисецкому в город Иваново командировать в качестве сопровождающего инспектора по детским домам Добрынину И. Н.»

№ 689 от 13 июля 1944 года: «Для сопровождения ребенка Соколовой, 12 лет, к матери в город Лысьва, командировать в качестве сопровождающей воспитательницу детдома № 2 Фальшину М. А.»

№ 927 от 5 сентября 1944 года: «Для сопровождения ребенка Рамазановой Люды, 13 лет, к родителям в город Саратов командировать в качестве сопровождающего воспитательницу детдома № 2 Булатову».

Возвращались отдельные воспитанники детских домов и взятые на воспитание дети. Возвращались полным составом целые детдома.

Приказ № 729 от 6 августа 1945 года: «В соответствии с телеграфным ходатайством Наркомпроса Крымской АССР о реэвакуации из г. Ташкента детского дома № 7 в г. Симферополь приказываю: Зав. Ташгороно т. Таджиевой реэвакуировать детдом № 7 г. Ташкента в Крым. АССР, г. Симферополь, обеспечив полностью обмундированием, продуктами питания из расчета на месяц в пути следования и средствами на оплату вагонов и ведение расходов в пути».

Приказом № 632 от 14 июля 1945 года из Узбекистана реэвакуируются сразу 11 украинских детских домов: 5— из Андижанской области, 2 — из Кашкадарьинской, 2 — из Наманганской, 1 — из Самаркандской, 1 — из Ферганской.

Но не распиской, по которой ребенок передавался родителям, родственникам или доверенному лицу, не актом о приеме и сдаче по списку целого детского дома закрывается обычно архивное дело. Содержание последних листов совершенно иное — сгусток горячих, взволнованных чувств.

«Душевно благодарны, Марик Гурари доставлен благополучно. Плисецкие».

«... Много нами пережито в войну. Наконец настал светлый день возвращения домой. Спасибо за вашу заботу, тепло и любовь. Спасибо за жизнь. Воспитанники симферопольского детского дома № 7».

«Тысячи детей, которых вы вернули в семью, будут вечно вспоминать вас добрым словом и желать вам великой мерой вами заслуженного счастья. Бывшие узбеки, снова ставшие латышами».

Письмо с далекого Севера, от инвалида Отечественной войны инженера Рогинского в ташкентский детдом № 14:

«Дорогие, незнакомые мне советские люди! Два года назад к Вам из голодного блокированного Ленинграда прибыли мои дети — Миша и Кира, больные, голодные, раздетые, разутые. Вы вылечили их, накормили, одели, обласкали. Вы сохранили мне моих детей. На протяжении двух лет вы заменяли им отца и мать. Сейчас мы все вместе. Всегда мы будем хранить в душе своей благодарность работникам Вашего детского дома, всему народу Узбекской республики».

Так писали, так чувствовали спасенные дети, их родные и близкие «по горячим следам». Но время — суровый ледник и, охлаждая следы, охлаждает и чувства. Впрочем, нет — не всегда. Если это и правило, то со многими счастливыми исключениями.

В 1949 году Соня Делико — студентка Хабаровского транспортного института — писала в ташкентский детдом № 18, где росла, воспитывалась в годы войны:

«Дорогая Айша Хамидовна! Пять лет прошло с тех пор, как я уехала из Ташкента, но я с любовью и благодарностью помню Вас, Машруфу Ходжаевну, всех своих воспитателей, наш чудесный детдом. Я очень, очень Вам благодарна за воспитание, которое Вы мне дали. Детский дом сыграл в моей жизни огромную роль: он дал мне путевку в жизнь, привил любовь к труду, к своему народу, к нашей любимой Родине. Я никогда не забуду тепло и материнскую ласку, которыми Вы нас окружили...»

Еще три года спустя Соня писала из Ленинграда:

«Здравствуйте, дорогая Айша Хамидовна! Поздравьте меня: я закончила институт, теперь я инженер-электрик и работаю в проектном институте Министерства речного флота. Работой довольна, и все остальное тоже у меня хорошо.

Я всегда с теплом вспоминаю наш детдом, и не только потому, что он приютил меня в тяжелые годы войны (это само собой), а потому, что он вошел в мою жизнь как что-то очень родное и определил ее в главном...»

Прошло еще четырнадцать лет. 27 апреля 1966 года, на следующий день после катастрофического ташкентского землетрясения, на имя бывшей старшей воспитательницы детдома № 8 Машруфы Ходжаевой пришла телеграмма:

«Разделяю большое несчастье постигшее ваш город тчк надеюсь ваше благополучие зпт беспокоюсь Соня».

Таких телеграмм, взволнованных писем, телефонных звонков в те дни были сотни и тысячи.

«Ваш город постигла беда. Наверно, у вас сейчас большая проблема с детьми. Ведь люди живут в палатках, а к зиме город не построить. Очевидно, разрушены также школы и детсады. Мы бы могли взять к себе ребенка. Что мы можем ему предложить? У нас двухкомнатная квартира со всеми удобствами. Пусть живет у нас до тех, пор пока его семье не дадут квартиры. Никаких особых требований у нас нет. Пусть ребенок будет узбек, русский, украинец, казах.

Причина нашего побуждения? Война, которая тяжело пересекла наше детство. Тогда люди помогали нам, теперь, видимо, наш черед.

г. Харьков. *Юлий Викторович Ланда-Луницкий».*

Аналогичное письмо из Таганрога:

«... В войну Ташкент предоставил мне кров. И теперь я готов на любые условия, готов работать в любом качестве. Прошу чрезвычайно и убедительно. К вам, конечно, приходит масса писем, но обратите внимание на мое: предоставьте рабочее место.

В. Гусев».

Олег Кожемякин — ленинградский строитель,— ступив на ташкентский вокзал, заявил:

— В Ташкенте я не чужой. Узбекистан — моя вторая родина. В самые трудные годы я получил здесь воспитание, жил и трудился. Беда, настигшая моих ташкентских друзей, для меня не чужая. Совесть и долг братства позвали меня в дорогу.

Да, критическая ситуация обостряет и с новой силой оживляет людскую память и чувства, дает им случай проявиться во всей полноте. Но разве не той же, не охлажденной годами, памятью, той же свежестью чувств к своим бывшим спасителям, названым матерям и отцам, духовным наставникам дышат письма из будней?

«Я никогда не забуду, что обязан вам всем, даже собственным именем,— пишет в самаркандский детдом № 3 один из бывших его воспитанников, ныне токарь-инструментальщик высокой квалификации.— Потом, уже повзрослев, я слыхал, что, когда меня, голодного, страшного, привели в детский дом, кто-то спросил: «А как его звать?» В бумажке, которую при мне обнаружили, было записано: Рэкс Комсомольский. Странное имя. Откуда оно? «Ну,— пояснили другие,— просто бездомный, вроде щенок. А Комсомольский, так это оттого, что у Комсомольского озера его обнаружили. По месту жительства, значит». В тот день меня переименовали в Григория. Так и зовусь посейчас».

А другой Григорий — Херсонский — недавно прислал в детдом телеграмму: *«Самарканд детдом № 3 Аванесовой тчк Слушайте радио пятницу 19.15 мой концерт тчк Он посвящается вам».*

Вопреки остужающему действию времени память и чувства живут. Они возвращаются к тем, кто в далекие годы проявил такую заботу и ласку, такую любовь к обездоленным детям войны. Но заметьте — это не менее важно — тепло и сердечность, на которых взрастали и духовно формировались они, это тепло и сердечность, они как наследство сохранили в себе навсегда и теперь, люди зрелого возраста, сами уже обильно и щедро их излучают на тех, кто вокруг. Цепная реакция чувств.

«Малым ребенком вывезенный из Киева в первое лето войны, я, если выжил, то единственно благодаря заботам и ласке Узбекистана... Передайте всем, кто принимал участие в нашем спасении, что мы никогда не растратим тех чувств, которым обязаны жизнью, и как самое лучшее передадим их нашим детям и внукам»,— пишет из Ростова-на-Дону инженер-технолог «Опытного завода» Григорий Михайлович Шорохов.

Из доброго зерна — добрый колос. Нина Николаевна Пидкова, в юную пору — воспитанница киевского детского дома, эвакуированного в кишлак Кампыр-Рават, Андижанской области, а ныне моторист завода «Стройдеталь» в городе Украинске, Донецкой области, сообщает в коротком письме:

«Мой муж — Михаил Иванович — проходчик на шахте. У нас растет сын, которого мы взяли из Дома ребенка. Когда-то добрые люди сделали это для меня. Теперь моя очередь».

И еще два письма, пришедших уже после выхода первой части этого повествования:

Из Ленинграда, от журналиста Бориса Александровича Толчинского:

«... Я воевал и поэтому не знал в подробностях того, о чем Вы нам рассказали. Об этом великом акте гуманности должен знать весь наш народ. И дело не в том, награждены ли эти труженики с легендарной доброты сердцами (их запомнили тысячи, которые рассказали о них детям и внукам), но хорошо бы в центре Ташкента поставить монумент в память спасенных детей и их спасителей. С радостью пришлю свою долю в фонд строительства этого памятника доброте советских людей».

Из Одессы:

«Я преклоняю свою седую голову перед народом Узбекистана, своей добротой и благородством спасшим в годы войны целое поколение советских детей. Моя мать и сестра с малолетними детьми, вывезенные из Одессы, вместе с тысячами других были приняты там как родные. Мы просим увековечить в бронзе или граните величие, доброту и душевную щедрость этого народа-интернационалиста.

Мочулко Даниил Семенович,
участник Великой Отечественной войны».

НЕСКОЛЬКО СЛОВ В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Повесть окончена. За годы работы над книгой я душевно сроднился с невыдуманными своими героями; и теперь — вы поймете меня — расставаться мне с ними совсем нелегко, а честно сказать — даже грустно.

Но прежде, чем распрощаться, я должен выразить глубокую свою благодарность всем тем, кто ввел меня в мир тех давних и скорбных событий, мир, озаренный ярким светом добра, благородства, гуманности и интернационализма. Много прекрасных поводырей вело меня за руку по кругам этого мира.

Я должен также принести свои извинения героям той эпопеи, кого не назвал, хотя по месту и замечательной роли, что сыграли они в описанных мною событиях, их имена справедливости ради должны быть упомянуты в книге.

Я приношу свои извинения тем, чьи имена не названы мной по неведенью — Неизвестным солдатам глубокого тыла. Их много, очень много, безымянных, неназванных, кто в час народной беды отдавал обездоленным сиротам последний ломоть пайкового хлеба, свой кров и рубашку последнюю — сердце свое отдавал.

Но есть утешение: труды их и жертвы не пропали напрасно — дети, спасенные ими такою ценой, выросли людьми настоящими — высокими в помыслах, благородными в чувствах своих и поступках. Эти люди — их сотни и тысячи,— достойно несущие дальше, приумножающие на нашей земле все то, что некогда было заложено в них доброй рукой и сердцем спасителей.

И еще одно утешение нахожу я себе при мысли о многих не названных мною, оставшихся неизвестными героях: песня без имени автора — народная песня, подвиг, свершенный безымянными героями,— подвиг народный.

1980 г.

P. S. Памятник величию и щедрости материнского сердца Узбекистана, тысячам и тысячам его жителей, ценой неимоверных усилий, а случалось и собственной жизни, спасших для Родины целое поколение советских людей, памятник, о котором в те дни, когда автор писал эту книгу, еще только мечталось,— сегодня воздвигнут.

Он стоит на просторной площади Дружбы народов в самом сердце Ташкента — знак народной любви, народного преклонения перед бессмертным подвигом гуманизма и интернационализма, свершенного Узбекской республикой в годы Великой Отечественной войны.

1987 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Григорий Иосифович
Марьяновский

Книга судеб

Документальное повествование

Переиздание

Редактор *А. Липкина*
Художественный редактор *А. Бобров*
Технический редактор *Т. Смирнова*
Корректоры *Т. Красильникова* и *К. Байходжаев*

ИБ № 3526

Сдано в набор 09.01.87. Подписано в печать 18.12.87. Формат 60×90¹/16. Бумага № 1. Литературная гарнитура. Печать офсетная. Усл. печ. л. 18,0. Усл. кр.-оттисков 35,0. Уч.-изд. л 21,19. Тираж 30000. Заказ № 1048. Цена 1 р. 60 к. В переплете № 4 цена 2 р. Договор № 112—86.

Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма 700129, Ташкент, ул. Навои, 30.

ГП ТППО «Матбуот» Государственного комитета УзССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Ташкент — 700129, ул. Навои, 30.

1 р. 60 к.